This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

SlaV 4350.4.390

Harvard College
Library

VE RI TAS

BOUGHT FROM THE
GIFT OF
Charles Richard Crane
OF NEW YORK
1938

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

съ

АЛЕКСАНДРОМЪ СЕРГѢЕВИЧЕМЪ

ПУШКИНЫМЪ.

ИЗБРАННЫЯ

стихотворенія и отрывки изъ сказокъ, поэмъ, повѣстей и драмъ.

съ біографіей, портретами, поясненіями и иллюстраціями

составилъ

ВИКТОРЪ ОСТРОГОРСКІЙ.

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ ТИПОГРАФІИ М. М. СТАСЮЛЕВИЧА.

С.-Петербургъ, Вас. Остр., 5 лин., 28.

1901

Slav 4350.4.390

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE GIFT OF
CHARLES RICHARD CRANE
APRIL 29, 1938

2986

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 18 декабря 1899 г.

5621A
40-49
19

ОГЛАВЛЕНІЕ.

стр.

Вмѣсто предисловія IX
Къ читателямъ. XI
Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ.—*В. П. Острогорскаго* XV

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ:

Преданья старины глубокой.

Сказочная Русь.—*В. О.* 3
I. Изъ поэмы «Русланъ и Людмила» 4
II. Сказка о царѣ Салтанѣ 50
III. Сказка о Мертвой царевнѣ и о семи богатыряхъ 78
IV. Сказка о Рыбакѣ и рыбкѣ 94
V. Сказка о Медвѣдихѣ 101
VI. Синичка. Пѣсня, записанная Пушкинымъ со словъ няни . . . 104
VII. Русалки.—Отрывокъ 105

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ:

Дѣла давно минувшихъ дней.

Древне-русскій Князь.—*В. О.* 109
I. Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ 110
О Грозномъ царѣ и Борисѣ Годуновѣ.—*В. О.* 114
I. Изъ «Бориса Годунова»:
1.—Ночь. Келья въ Чудовомъ монастырѣ 119
2.—Корчма на Литовской границѣ. 125
3.—Царскія палаты 130
4.—Царскія палаты 132
5.—Царская Дума. 133
6.—Завѣты царя Бориса сыну 137

ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ:

Россія—съ Петра Великаго.

стр.

Вѣкъ Петра Великаго.—*В. О.* 145
I. Изъ поэмы «Полтава». 154
II. Изъ поэмы «Мѣдный Всадникъ» 179
III. Изъ разсказа: «Арапъ Петра Великаго» 181
IV. Пиръ Петра Великаго 200
V. Стансы 201
VI. Памятникъ Петру Великому. 202

ОТДѢЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ:

Вѣкъ Екатерины Великой.

Внѣшнія дѣла и Пугачевскій бунтъ.—*В. О.* 207
I. Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ. 209
II. Отрокъ 211
III. Изъ повѣсти: «Капитанская дочь» 212

ОТДѢЛЪ ПЯТЫЙ:

Девятнадцатый вѣкъ.

Отечественная война.—*В. О.* 273
I. Наполеонъ 283
II. Наполеонъ на Эльбѣ 286
III. Изъ воспоминаній въ Царскомъ Селѣ: 1812-ый годъ 288
IV. Полководецъ 291
V. Могила Кутузова. 292
VI. На возвращеніе императора Александра I изъ Парижа въ 1815 г. 293

ОТДѢЛЪ ШЕСТОЙ:

Русская природа и жизнь.

I. **Природа:**

1. Гонимы вешними лучами (299).—2. Только что на проталинкахъ весеннихъ (299).—3. Румяной зарею (300).—4. Осеннее утро (300).—5. Осень (301).—6. Ужъ небо осенью дышало (303).—7. Зимняя дорога (305).—8. Бѣсы (306). 9. Въ полѣ чистомъ серебрится (307).—10. Какъ быстро въ полѣ (308).—11. Зимнее утро (308).—12. Зимній вечеръ (309).

II. **Помѣщичья жизнь:**

1. Зима. Что дѣлать намъ въ деревнѣ (311).—2. Пора, пора, рога трубятъ (312).—3. Изъ романа «Евгеній Онѣгинъ» (313).—4. Домовому (327).

III. **Крестьянская жизнь:**

1. «Шалость» (328).—2. Люблю песчаный косогоръ (328).—3. Утро (329).—4. Деревня (329).—5. Пѣсня дѣвушекъ (331).—6. Свадебная пѣсня (332).—7. Мамушка (332).—8. Разсказъ няни (333).—9. Утопленникъ (334).

ОТДѢЛЪ СЕДЬМОЙ:

Петербургъ—Москва и Южная Россія.

I. **Петербургъ:**

1. Утро (341).—2. Люблю тебя, Петра творенье (341).—3. Наводненіе (343).—4. Видѣніе, изъ поэмы «Мѣдный Всадникъ» (346).

II. **Москва:**

1. Изъ посланія къ Н. В. Всеволожскому (351).—2. Изъ романа «Евгеній Онѣгинъ» (351).

III. **Южная Россія:**

1. Донъ (353).—2. Цыганы въ Бессарабіи (354).—3. Въ Крыму (355).—4. На Кавказѣ (359).—5. Обвалъ (360).—6. Галубъ (368).

ОТДѢЛЪ ВОСЬМОЙ:

Вѣнокъ изъ поэзіи Пушкина.

1. Птичка (379).—2. Шотландская пѣсня (380).—3. Эхо (380).—4. Золото и булатъ (381).—5. Узникъ (381).—6. Анчаръ (382).—7. Туча (383).—8. Къ морю (383).—9. Земля и море (385).—10.—Аквилонъ (386).—11. Овидій (387).—12. Пѣвецъ (388).—13. Если жизнь тебя обманетъ (388).—14. Послѣдніе цвѣты (389).—15. Цвѣтокъ (389).—16. Въ альбомъ (390).—17. Къ портрету Жуковскаго (390).—18. Ив. Ив. Пущину (391).—19. Молитва (391).—20. Возрожденіе (392).—21. Предчувствіе (392).—22. Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье (393).—23. Изъ посланія князю А. М. Горчакову (393).—24. Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ (394).—25. Когда за городомъ задумчивъ я брожу (395).—26. Три ключа (396).—27. Телѣга жизни (396).—28. Девятнадцатое октября 1831 г. (397).—29. Девятнадцатое октября 1836 г. (398).—30. Къ друзьямъ (400).—31. Къ женѣ (401).—32. Я пережилъ свои желанья (401).—33. Соловей (402).—34. Вурдалакъ (403).—35. Женихъ (403).—36. Конь (408).—37. Пророкъ (409)—38.—«Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный; къ нему не заростетъ народная тропа» (410—411).

ИЛЛЮСТРАЦІИ:

1. Пушкинъ-отрокъ (VII стр.). — 2. Церковь при Лицеѣ въ Царскомъ Селѣ (VIII стр.). — 3. Пушкинъ въ с. Михайловскомъ (XIX стр.).—4. Домъ Пушкина въ с. Михайловскомъ (XXVII стр.).—5. Гипсовый снимокъ съ лица А. С. Пушкина (LI стр.).- 6. Могила Пушкина въ Святогорскомъ монастырѣ (LIII стр.) — 7. Памятникъ А. С. Пушкину въ Москвѣ (LV стр.).—8. Портретъ А. С. Пушкина и факсимиле его письма къ А. О. Ишимовой (къ стр. 1).—9. Императоръ Петръ Великій (141 стр.).—10. Домикъ Петра Великаго (142 стр)—11. Могила убіенныхъ подъ Полтавою (159 стр.).—12. Памятникъ Полтавской битвы (160 стр.).—13. Императрица Екатерина Великая (205 стр.). — 14. Императоръ Александръ I (271 стр.). — 15. Наполеонъ I импер. французовъ (281 стр.).—16. Площадь Казанскаго собора съ памятниками Кутузова и Барклая-де-Толли (296 стр.). — 17. Видъ Петербурга (337 стр.).—18. Петръ Великій на берегу Невы (347 стр.).—19. Памятникъ Петру Великому (348 стр.).—20. Гурзуфъ, съ дороги въ Ялту (357 стр.).—21. На Кавказѣ (358 стр.).

Пушкинъ-отрокъ.
1810—1812 г.

Церковь при Лицеѣ
въ Царскомъ Селѣ.

ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ.

Предлагаемая книга была составлена въ 1899 г. по порученію С.-Петербургской Думской Городской Комиссіи по Народному Образованію для безплатной раздачи въ память столѣтія А. С. Пушкина 26 мая 1899 г. окончившимъ курсъ ученія въ Начальныхъ Народныхъ Училищахъ города С.-Петербурга. По израсходованіи напечатанныхъ на счетъ Думы экземпляровъ мнѣ предоставлено право слѣдующаго изданія, которое, тщательно мною просмотрѣнное, и предлагается подъ заглавіемъ: «Первое знакомство съ А. С. Пушкинымъ». Такъ названа книга потому, что составитель имѣлъ въ виду семью, гдѣ бы эта книга могла послужить первымъ подаркомъ, знакомящимъ съ поэтомъ грамотныхъ подростковъ лѣтъ 10—12, поскольку Пушкинъ можетъ быть доступенъ ихъ пониманію, а затѣмъ, и вообще учащихся въ младшихъ классахъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, и народныя читальни. Представить Пушкина какъ величайшаго поэта народнаго, изобразителя русской прошлой и современной жизни, въ выборѣ изъ лучшихъ произведеній;

положить основаніе воспитанію вкуса къ изящному и добрыхъ гуманныхъ чувствъ:—вотъ задача, которую составитель преслѣдовалъ. Кромѣ біографіи, нѣсколько измѣненной, онъ позволилъ себѣ оставить и обращеніе къ читателямъ, разъясняющее значеніе какъ юбилея Пушкина, такъ и вообще значеніе великаго поэта.

В. О.

КЪ ЧИТАТЕЛЯМЪ.

---

26 мая 1899 года, исполнилось сто лѣтъ со дня рожденія нашего величайшаго поэта Александра Сергѣевича Пушкина. Въ этотъ день повсемѣстно въ Россіи праздновался его «юбилей»—день радости. Такъ называютъ праздники въ память какихъ-нибудь особенно радостныхъ событій. Юбилеи устанавливаются въ день истеченія какого-нибудь числа лѣтъ: двадцати-пяти, пятидесяти, ста лѣтъ, протекшихъ со времени того или другого событія.

Юбилеи бываютъ семейные: напримѣръ, день серебряной или золотой свадьбы, т.-е. по истеченіи двадцати-пяти и пятидесяти лѣтъ со дня вѣнчанія; служебные, напр., у чиновниковъ четверть, или полъ-вѣка службы; наконецъ, общественные, всенародные, т.-е. такіе всеобщіе торжественные праздники, которыми чтитъ благодарная страна дни рожденія своихъ великихъ людей. А великимъ считается такой человѣкъ, который принесъ своей родинѣ особенно много пользы, добра. Такую пользу и добро приносятъ: великіе государи, какъ Петръ I, основатель Петербурга; какъ императоръ Александръ II, освободившій, 19 февраля 1861 года, крестьянъ отъ крѣпостной зависимости; ученые, какъ первый нашъ рус-

скій ученый, сынъ простого холмогорскаго рыбака, Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ, и, наконецъ, такіе поэты, какимъ былъ Пушкинъ. Поэтами встарину называли особо одаренныхъ талантомъ пѣвцовъ, которые своими пѣснями увеселяли и вмѣстѣ поучали народъ. У грековъ, такіе поэты пѣли пѣсни, сопровождая пѣніе струннымъ инструментомъ—лирой, и народъ думалъ, что даръ свой получали они отъ особой богини пѣсенъ, Музы. Поэтому и самое искусство такого пѣнія, или поэзію, называли часто: лира или муза. Такъ называлъ лирой и музой свои пѣсни, стихи—самъ Пушкинъ *). Нынѣ поэтами называютъ уже не пѣвцовъ, а писателей, сочинителей, которые отъ природы получили такой же особый даръ, талантъ, геній—слагать красивые для слуха, звучные стихи, или писать обыкновенной рѣчью сказки, повѣсти, разсказы—такъ хорошо, что все, что такіе поэты ни разскажутъ, ни опишутъ, природу ли, или человѣка, — все это тотчасъ легко себѣ представить, точно оно на картинѣ нарисовано. Поэты обладаютъ и даромъ передавать другимъ всѣ свои чувства: и горе, и радость, и веселье, и любовь, и негодованіе,—такъ что, читая ихъ, и смѣешься съ ними вмѣстѣ, и плачешь, какъ будто съ тобой самимъ все то самое случилось, что они написали въ своихъ книжкахъ. Сочиненія такихъ поэтовъ, ихъ стихи и разсказы—великое благо и счастье для цѣлой страны, и не только при ихъ жизни, но и черезъ много лѣтъ, и даже вѣковъ по смерти. Сочиненія великихъ поэтовъ всѣмъ ихъ соотечественникамъ доставляютъ и величайшее удовольствіе, наслажденіе, уже самымъ мастерствомъ рѣчи, языка, а вмѣстѣ съ тѣмъ и приносятъ великую пользу.

*) См. стихотвореніе: „Памятникъ“, которое заключаетъ послѣдній отдѣлъ этой книги: „Вѣнокъ изъ стихотвореній Пушкина“.

В. О.

Изъ сочиненій такихъ поэтовъ мы узнаемъ, какова у насъ природа, какъ жили люди встарину и какъ живутъ теперь, что́ думали они и что́ чувствовали, и много добрыхъ, хорошихъ чувствъ и мыслей внушаютъ людямъ поэты: они заставляютъ насъ своими разсказами любить и человѣчество, и свою милую родину, и природу, дѣлаютъ насъ умнѣе и добрѣе. Поэтому-то поэты и считаются лучшими нашими учителями, наставниками, — и не только въ школѣ, но и во всю дальнѣйшую нашу жизнь, до самой смерти.

Такимъ величайшимъ у насъ народнымъ поэтомъ и былъ Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ, день рожденія котораго празднуетъ 26 мая, какъ свой величайшій свѣтлый праздникъ, вся Россія, и дѣти, и взрослые: ни одинъ еще русскій поэтъ не писалъ такихъ звучныхъ стиховъ-пѣсенъ, не любилъ такъ Россіи и русскаго народа, не желалъ имъ столько добра, какъ нашъ Александръ Сергѣевичъ. Никто изъ поэтовъ не представлялъ еще у насъ такъ ярко и нашей исторіи, и жизни современной, никто не возбуждалъ своими сочиненіями столько добрыхъ чувствъ и благородныхъ, хорошихъ мыслей. Пушкинъ имѣлъ вліяніе и на Лермонтова, и на Кольцова, и на Гоголя, и на позднѣйшихъ писателей-художниковъ; но никто еще Пушкина не превзошелъ. Вотъ почему и славимъ мы нынѣ всенародно нашего Пушкина, съ благодарностію почитая, всѣ, отъ мала до велика, его громадныя заслуги для нашего русскаго просвѣщенія.

Изъ этой книги вы узнаете, по жизнеописанію (біографіи) Пушкина, кто такой онъ былъ, какъ жилъ и много учился, чтобы усовершенствовать свой геній, а затѣмъ познакомитесь и съ избранными для васъ его сочиненіями. Сначала помѣщены здѣсь, въ первомъ отдѣлѣ,

«Преданья старины глубокой» — сказки; потомъ— подъ именемъ «Дѣла давно минувшихъ дней»—идутъ разсказы изъ русской древней нашей исторіи до Петра Великаго, при чемъ передъ каждой отдѣльной эпохой, т.-е. изображаемымъ временемъ, нами составлена особая статья, изъ которой вы ознакомитесь съ главнѣйшими событіями, о которыхъ разсказываетъ Пушкинъ. Далѣе, идетъ вѣкъ Петра Великаго, Екатерины II-й—и 1812 годъ, какъ изобразилъ ихъ нашъ поэтъ. За этой частью, исторической, слѣдуетъ—общая. Въ ней изъ сочиненій Пушкина взяты нѣкоторыя, гдѣ онъ представляетъ русскую природу, жизнь крестьянскую, помѣщичью, югъ Россіи, Кавказъ, Крымъ и пр.; помѣщены также описанія и нашихъ обѣихъ столицъ, Петербурга и Москвы. Заключается книга выборомъ лучшихъ стиховъ поэта, подъ общимъ заглавіемъ: «Вѣнокъ изъ стихотвореній Пушкина».

Да будетъ же книга эта первымъ знакомствомъ съ нашимъ величайшимъ русскимъ поэтомъ, Александромъ Сергѣевичемъ Пушкинымъ. Да послужитъ же она дорогимъ воспоминаніемъ о его первомъ столѣтнемъ юбилеѣ. Читайте эту книгу, и, гордясь, что у вашей родины, Россіи, есть также великій поэтъ, который по громадному генію своему не уступитъ никакимъ поэтамъ другихъ народовъ, учитесь у Пушкина добрымъ мыслямъ и чувствамъ, которыя пробуждалъ онъ въ людяхъ своей лирой, т.-е. поэзіей. Всегда съ благодарностью вспоминайте нашего Пушкина за все прекрасное, чему онъ учитъ своими сочиненіями, за все то наслажденіе, какое онъ доставляетъ всякому, кто его читаетъ, а больше всего вспоминайте поэта добромъ—за великую его любовь къ родинѣ, къ Россіи, къ ея славѣ и къ народу, ее населяющему!..

Александръ Сергѣевичъ

ПУШКИНЪ.

За сто лѣтъ передъ симъ въ Москвѣ, на Молчановкѣ, въ господскомъ домѣ проживалъ отставной офицеръ, помѣщикъ Сергѣй Львовичъ Пушкинъ, съ своей женой Надеждой Осиповной. Это были богатые люди. У нихъ было нѣсколько деревень, но, любя жить открыто и весело, они всегда нуждались въ деньгахъ. И мужъ, и жена, — то сами бывали въ гостяхъ, то принимали гостей у себя, а хозяйствомъ не занимались. Воспитаніе они, по обычаю того зажиточнаго времени, получили французское, и французскій языкъ слышался въ ихъ домѣ наравнѣ съ русскимъ. Была у нихъ и богатая библіотека изъ французскихъ же, по большей части, книгъ, хотя и Сергѣй Львовичъ, и его братъ Василій, любили и русскую литературу. Они сами писали стишки и принимали у себя въ домѣ писателей—Карамзина, Батюшкова, Дмитріева, Жуковскаго.

Въ такой-то полу-французской, полу-русской семьѣ и родился, 26 мая 1799 г., въ четвергъ, въ Вознесеніе, великій нашъ поэтъ— Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ.

Родился онъ совсѣмъ непохожимъ ни на красавицу-мать, ни на отца, — а весь вышелъ лицомъ въ своего предка по матери, извѣстнаго арапа Петра Великаго — Ганнибала, о которомъ впослѣдствіи разсказалъ самъ Пушкинъ въ повѣсти: „Арапъ Петра

Великаго". Ребенкомъ, лѣтъ до 7—8, онъ былъ несообщительнымъ, неповоротливымъ, капризнымъ, и родители мало любили его и не обращали на него почти никакого вниманія; предоставивъ его воспитаніе старой бабушкѣ по матери, Марьѣ Алексѣевнѣ Ганнибалъ, и крѣпостной пожилой нянюшкѣ, Аринѣ Родіоновнѣ. Эти-то двѣ добрыя женщины и воспитали его, какъ умѣли, живя съ нимъ въ селѣ его родителей, въ сорока верстахъ отъ Москвы, въ Захаровѣ, о которомъ такъ вспоминалъ Пушкинъ-мальчикъ:

Мнѣ видится мое селенье,
Мое Захарово; оно,
Съ заборами, въ рѣкѣ волнистой,
Съ мостомъ и рощею тѣнистой,
Зерцаломъ водъ отражено.
На холмѣ домикъ мой; съ балкона
Могу сойти въ веселый садъ...
Гдѣ старыхъ кленовъ темный рядъ
Возносится до небосклона,
И глухо тополи шумятъ...

Здѣсь-то въ деревнѣ и познакомился близко Пушкинъ съ небогатой нашей природой, хорошо узналъ крестьянскую жизнь и полюбилъ русскаго мужика, къ которому всю жизнь относился онъ такъ участливо. Но всего важнѣе было для Пушкина, какъ писателя, то, что онъ съ дѣтства хорошо узналъ богатый простонародный русскій языкъ, съ его присловьями, пословицами, поговорками, сказками и пѣснями.

Это-то знаніе языка вмѣстѣ съ интересомъ ко всему народному, главнымъ образомъ, дала поэту няня, которую Пушкинъ любилъ и вспоминалъ всю жизнь.

Арина Родіоновна, крѣпостная женщина его бабушки, Марьи Алексѣевны Ганнибалъ, была приставлена няней сначала къ сестрѣ поэта, Ольгѣ, родившейся годомъ его раньше. При продажѣ бабушкинаго имѣнія она получила отпускную, но, привязавшись, какъ родная, къ семьѣ Пушкиныхъ, никакъ не хотѣла воспользоваться вольною, говоря: „крестьянкой я была, крестьянкой и останусь, на что мнѣ вольная?" Это была женщина отъ природы умная, смѣтливая, дѣловитая, хозяйственная,—такъ что въ деревнѣ на ея отвѣтственности была вся дворня и чуть не все хозяйство. Добродушная чрезвычайно, она только по виду была строга, и нѣжно любя дѣтей, умѣла занять ихъ играми,

розсказнями, побасенками. Но особенная мастерица была она пѣть пѣсни и сказывать сказки, которыхъ знала множество.

Вотъ какъ вспоминаетъ Пушкинъ о нянѣ въ своихъ стихотвореніяхъ:

Наперсница волшебной старины,
Другъ вымысловъ игривыхъ и печальныхъ—
Тебя я зналъ во дни моей весны,
Во дни утѣхъ и сновъ первоначальныхъ!
Я ждалъ тебя. Въ вечерней тишинѣ
Являлась ты веселою старушкой,
И надо мной сидѣла въ шушунѣ;
Въ большихъ очкахъ и съ рѣзвою гремушкой.
Ты, дѣтскую качая колыбель,
Мой юный слухъ напѣвами плѣнила,
И межъ пеленъ оставила свирѣль,
Которую сама заворожила!...

Сердечно говоритъ Пушкинъ о нянѣ и въ другомъ стихотвореніи, „Сонъ", написанномъ еще въ 1816 г.:

Ахъ, умолчу-ль о мамушкѣ моей,
О прелести таинственныхъ ночей,
Когда въ чепцѣ, въ старинномъ одѣяньѣ,
Она, духовъ молитвой уклоня,
Съ усердіемъ перекреститъ меня,
И шопотомъ разсказывать мнѣ станетъ
О мертвецахъ, о подвигахъ Бовы.
Отъ ужаса не шелохнусь бывало;
Едва дыша, прижмусь подъ одѣяло,
Не чувствуя ни ногъ, ни головы.
Подъ образомъ, простой ночникъ изъ глины
Чуть освѣщалъ глубокія морщины,
Драгой антикъ, прабабушкинъ чепецъ,
И длинный ротъ, гдѣ зуба два стучало—
Все въ душу страхъ невольный поселяло;
Я трепеталъ и тихо, наконецъ,
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой съ лазурной высоты,
На ложе розъ крылатыя мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сонъ обворожали;
Терялся я въ порывѣ сладкихъ думъ;
Въ глуши лѣсной, средь Муромскихъ пустыней,
Встрѣчалъ лихихъ Полкановъ и Добрыней—
И въ вымыслахъ носился юный умъ.

А вотъ одно изъ писемъ, которыя няня послала своему воспитаннику, уже славному поэту:

„Любезный мой другъ, Александръ Сергѣевичъ! Я получила письмо и деньги, которыя вы мнѣ прислали. За всѣ ваши милости я вамъ всѣмъ сердцемъ благодарна; вы у меня безпрестанно въ сердцѣ и на умѣ, и только когда засну, забуду васъ. Пріѣзжай, мой ангелъ, къ намъ въ Михайловское—всѣхъ лошадей на дорогу выставлю. Я васъ буду ожидать и молить Бога, чтобъ Онъ далъ намъ свидѣться. Прощай, мой батюшка Александръ Сергѣевичъ! За ваше здоровье я просвиру вынула и молебенъ отслужила. Поживи, дружочекъ, хорошенько—самому слюбится. Я, слава Богу, здорова; цалую ваши ручки и остаюсь васъ многолюбящая няня ваша—Арина Родіоновна“.

Растроганный до глубины души этою простодушною заботливостью няни о томъ, чтобы питомецъ ея „жилъ хорошенько“, и ея умилительною любовью,—Пушкинъ пишетъ:

Подруга дней моихъ суровыхъ,
Голубка дряхлая моя!
Одна въ глуши лѣсовъ сосновыхъ
Давно, давно ты ждешь меня!..
Ты подъ окномъ своей свѣтлицы
Горюешь будто на часахъ,
И медлятъ поминутно спицы
Въ твоихъ наморщенныхъ рукахъ.
Глядишь въ забытыя вороты
На черный отдаленный путь;
Тоска, предчувствіе, заботы
Тѣснятъ твою всечасно грудь...

Эти-то сказки и пѣсни, слышанныя отъ няни съ дѣтства поэтомъ, а потомъ и записываемыя имъ за няней, а также и отъ крестьянъ и всякихъ простыхъ людей на деревенскихъ базарахъ и ярмаркахъ, гдѣ поэтъ нерѣдко бывалъ, и дали Пушкину богатый запасъ народныхъ словъ, выраженій и сказаній о „преданьяхъ старины глубокой“. Если няня знакомила мальчика съ народными сказками и пѣснями, то отъ бабушки своей, Марьи Алексѣевны, наслушался Пушкинъ не мало семейныхъ преданій и разсказовъ о Петрѣ Великомъ, Екатеринѣ II и придворной жизни русскихъ вельможъ и помѣщиковъ. Бабушка его, женщина бывалая, много видала на своемъ вѣку и прекрасно разсказывала.

Пушкинъ въ с. Михайловскомъ Съ картины Н. Ге.
читаетъ И. И. Пущину рукописную комедію Грибоѣдова «Горе отъ ума»;
няня Арина Родіоновна слушаетъ его.

Много преданій слышалъ Пушкинъ въ раннемъ дѣтствѣ и про царя Бориса Годунова, село котораго, Вяземо, находилось въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Захарова. Тамъ еще живо сохранилась память о царѣ Борисѣ и указывались вырытые по его повелѣнію пруды и построенная имъ колокольня. Туда возили Пушкина къ обѣднѣ и на прогулки, и мальчикъ слушалъ разсказы и о „смутномъ времени", и объ убіенномъ царевичѣ Дмитріи, и о самозванцѣ. Если ко всѣмъ этимъ разсказамъ бабушки, вяземскимъ преданіямъ, пѣснямъ и сказкамъ няни присоединить еще пѣсни и пляски крестьянъ въ зажиточномъ селѣ Захаровѣ, то легко себѣ представить, что, какъ бы забытый родителями, мальчикъ рано ознакомился и съ крестьянской жизнью, и съ русской стариной. Лѣтъ до 7—8 росъ онъ на свободѣ, не учась ничему, и только выучился у бабушки русской грамотѣ.—Но съ этого возраста произошла въ мальчикѣ великая перемѣна. Какъ-то вдругъ изъ неповоротливаго и неуклюжаго ребенка, обратился онъ въ живого, шаловливаго мальчика, и сразу обратилъ на себя вниманіе родителей необыкновенными способностями и памятью. Тогда только и принялись родители воспитывать его по-своему: приставили къ нему гувернеровъ и гувернантокъ, которые стали обучать его французскому языку, и языкъ этотъ дался ему такъ легко, что онъ скоро могъ уже не только свободно на немъ говорить, но и писать не хуже, чѣмъ по-русски. А выучившись языку, съ жадностью набросился мальчикъ на чтеніе книгъ изъ богатой библіотеки отца и за три года прочиталъ столько французскихъ и русскихъ книгъ, сколько другой не прочитаетъ и за десять лѣтъ. Одаренный необыкновенною памятью, онъ легко усвоивалъ себѣ прочитанное, многое запоминалъ наизусть и даже сталъ самъ писать французскіе стишки, которыми приводилъ въ восторгъ родителей. Они хвастались необыкновеннымъ ребенкомъ передъ гостями, и Пушкинъ лѣтъ съ восьми уже былъ настоящимъ членомъ свѣтскаго общества, собиравшагося у его родителей, которые стали подолгу заживаться въ Москвѣ. Въ числѣ этихъ гостей, какъ сказано раньше, бывали и писатели—Карамзинъ, Дмитріевъ, Жуковскій и не мало другихъ людей умныхъ, любившихъ литературу, и мальчикъ внимательно вслушивался въ разговоры и разсказы взрослыхъ, мечтая и самъ сдѣлаться писателемъ. Надивиться не могли гости необыкновенному уму,

остроумію, и памяти мальчика, его живости и бойкости. Отецъ и дядя поощряли въ немъ охоту къ чтенію и писанію стиховъ и смотрѣли на маленькаго „арапченка“, какъ на будущаго генія. Но никакого, сколько-нибудь правильнаго воспитанія, никакихъ прочныхъ знаній не вынесъ мальчикъ изъ отцовскаго дома: учили его тутъ плохіе учителя, не пріучая къ серьезному труду. Не видалъ онъ добрыхъ примѣровъ, не было у него и ни одного дѣльнаго воспитателя, кто бы обратилъ на него серьезное вниманіе. Росъ онъ, какъ и въ раннемъ дѣтствѣ у няни съ бабушкой, одиноко, предоставленный самъ себѣ, и его шалости, и выходки подчасъ приводили родителей въ отчаяніе,—что-то изъ этого мальчика выйдетъ? И порѣшили, наконецъ, родители, когда Пушкину исполнилось 11 лѣтъ, отдать его въ какое-нибудь учебное заведеніе.

Въ 1811 г. задумалъ Императоръ Александръ I Благословенный устроить закрытое учебное заведеніе для дѣтей знатныхъ дворянъ, гдѣ бы они могли получать хорошее воспитаніе, чтобы потомъ занимать высшія государственныя должности. Это заведеніе назвали не гимназіей, не университетомъ, а „Лицеемъ“. Лицеями назывались у древнихъ грековъ колоннады въ городѣ Аѳинахъ, гдѣ греческіе учителя-философы учили въ живыхъ бесѣдахъ своихъ учениковъ. Для русскаго Лицея былъ отведенъ флигель въ Царскосельскомъ дворцѣ; число учениковъ было ограничено тридцатью, и каждому изъ нихъ отведена была особая комнатка. Въ число этихъ-то тридцати и поступилъ въ 1811 г. двѣнадцатилѣтній Пушкинъ, котораго опредѣлилъ туда и привезъ родственникъ мальчика, Александръ Ивановичъ Тургеневъ [1]). Это учебное заведеніе имѣло огромное вліяніе на всю послѣдующую жизнь поэта. Хотя учили тамъ хорошіе учителя, какъ, напр., Куницынъ, Галичъ и др., но ученье почти все время шло неудовлетворительно, такъ какъ ученики, особенно Пушкинъ, были слишкомъ юны и слишкомъ мало подготовлены къ тому, чтобы хорошенько понять и усвоить себѣ науку. Да и очень уже большая

---

[1]) А. И. Тургеневъ,—род. 1784 г., † 1845 г.,—писатель-историкъ, былъ членомъ комиссіи составленія законовъ.

была предоставлена ученикамъ воля. Не было за ними внимательнаго присмотра, не было и серьезнаго руководителя, кромѣ директора Энгельгардта, поступившаго только за два года до окончанія Пушкинымъ курса, хотя и много слышали ученики отъ своихъ учителей хорошихъ мыслей. Росли ученики и развивались сами по себѣ, и воспитывала лицеистовъ не столько наука, сколько сама лицейская жизнь. А жизнь эта была совсѣмъ особенная и во многихъ отношеніяхъ имѣла на воспріимчиваго Пушкина вліяніе хорошее.

Въ Лицеѣ была богатая библіотека, и Пушкинъ, если и не слишкомъ хорошо учился, зато перечиталъ за шесть лѣтъ многое множество книгъ, а онъ удивлялъ своею начитанностью еще и при поступленіи въ Лицей. Учениковъ допускали свободно гулять по великолѣпному Царскосельскому парку, гдѣ такъ много памятниковъ военнымъ героямъ славнаго царствованія Екатерины II, столько статуй, красивыхъ прудовъ и павильоновъ,—и Пушкинъ, любившій уединенныя прогулки, весь отдавался мыслямъ о прошлой Россіи, вспоминалъ разсказы, слышанные въ родительскомъ домѣ. Не мало разсказовъ слыхалъ онъ и здѣсь отъ товарищей, родители и родные которыхъ занимали государственныя должности при Петрѣ I, императрицѣ Екатеринѣ II и Павлѣ I. Лицеистовъ часто приглашали и на блестящіе придворные праздники, и юноши могли видѣть и самого государя Александра I, а также императрицъ Елизавету Алексѣевну, супругу и Марію Ѳеодоровну, мать государя, не говоря уже о вельможахъ. Все это рисовало Пушкину въ самомъ привлекательномъ видѣ блестящую свѣтскую жизнь, которой такъ сильно предавался онъ и потомъ. Съ пребываніемъ Пушкина въ Лицеѣ совпала война съ Наполеономъ. У многихъ лицеистовъ были родные и знакомые офицеры, увлекавшіе ихъ разсказами о подвигахъ и бѣдствіяхъ русскихъ войскъ; войска проходили на войну и возвращались съ войны побѣдителями чрезъ Царское Село, и все это не прошло для Пушкина безслѣдно, возбуждая и поддерживая въ немъ любовь къ родинѣ. Все это отразилось впослѣдствіи въ его прекрасныхъ стихотвореніяхъ о „двѣнадцатомъ годѣ“, Наполеонѣ, Барклаѣ-де-Толли и Кутузовѣ.

Но знакомство съ молодыми офицерами и частое пребываніе среди богатыхъ людей имѣло на Пушкина и дурное вліяніе. Участвуя

нерѣдко, уже будучи въ старшихъ классахъ, въ кутежахъ молодежи, онъ пріучился къ роскоши, къ жизни не по средствамъ, и только великій умъ и талантъ не допустили его сдѣлаться ничтожнымъ человѣкомъ.

Самое же важное и свѣтлое во всей этой шестилѣтней лицейской жизни поэта было его товарищество. Оно-то больше всего и повліяло благотворно на Пушкина, согрѣло одинокаго и въ Лицеѣ заброшеннаго родителями юношу. Здѣсь же, въ кругу товарищей, блестяще проявился его поэтическій даръ, и товарищи же первые привѣтствовали его первые успѣхи.

Въ замкнутой жизни Лицея, какъ мы сказали раньше, юношамъ предоставлена была полная свобода и самостоятельность. Никакихъ унизительныхъ наказаній также не было, и въ юношахъ старались пробудить человѣческое достоинство, чувство чести, благородство и любовь ко всему прекрасному и возвышенному. И вотъ, съ самыхъ же первыхъ дней по поступленіи въ Лицей, товарищи близко сошлись между собой, и связь ихъ съ каждымъ годомъ становилась тѣснѣй и тѣснѣй, но Пушкина полюбили и оцѣнили не вдругъ. Мальчикъ съ рѣдкимъ добрымъ сердцемъ, но неровный по характеру, вспыльчивый, самолюбивый, любившій своими насмѣшками бѣсить и злить другихъ, на первыхъ порахъ сошелся съ однимъ И. И. Пущинымъ, съ которымъ у него комната была рядомъ, да съ поэтомъ Дельвигомъ. Пушкинъ былъ всегда раздражителенъ, а неумѣстными шутками и колкостями долго не умѣлъ себя поставить въ добрыя отношенія съ прочими товарищами, отчего больше всего страдалъ самъ.

Но когда узнали Пушкина товарищи поближе, они увидѣли, что это былъ чудный юноша, рѣдкій товарищъ и другъ. Всѣмъ служилъ онъ, чѣмъ только могъ, и совѣтомъ, и помощью въ писаніи сочиненій. Всѣ шли къ нему со своими горестями и радостями; въ каждомъ принималъ онъ доброе участіе; былъ коноводомъ и въ играхъ, и въ шалостяхъ, въ которыхъ часто попадался, между тѣмъ какъ другіе умѣли ловко вывернуться; нерѣдко всю вину принималъ онъ на себя одного, отвѣчая одинъ за всѣхъ.

И сталъ Пушкинъ общимъ любимцемъ, а за талантъ свой и общей лицейской гордостью. Съ 14 лѣтъ начинаетъ онъ писать и русскіе стихи, тогда какъ прежде и дома, и въ Лицеѣ писалъ

только французскіе, — и первое стихотвореніе Пушкина: „Къ другу стихотворцу“, появилось въ іюлѣ 1814 года въ журналѣ, основанномъ Карамзинымъ еще въ 1802 г., въ „Вѣстникѣ Европы“, издававшемся тогда въ Москвѣ; Пушкинъ осмѣиваетъ въ этомъ стихотвореніи плохихъ поэтовъ, убѣждаетъ одного изъ нихъ, своего друга Ариста, отказаться отъ кропанія стиховъ, и заключаетъ такъ:

Теперь, любезный другъ, я дамъ тебѣ совѣтъ,
Оставишь ли свирѣль, умолкнешь, или нѣтъ,—
Подумай обо всемъ и выбери любое:
Быть славнымъ—хорошо; спокойнымъ—лучше вдвое!

Пушкину было въ то время 15 лѣтъ отроду.

Съ этого уже времени около Пушкина образуется литературный кружокъ товарищей, человѣкъ изъ двѣнадцати; въ томъ числѣ были: поэтъ Дельвигъ, Илличевскій и Кюхельбекеръ. Они вмѣстѣ читаютъ, обсуждаютъ читанное и даже издаютъ собственные лицейскіе журналы, гдѣ помѣщаютъ свои стихи, и больше и лучше всѣхъ, конечно, Пушкинъ; въ немъ принимаетъ самое сердечное участіе особенно полюбившій и оцѣнившій Пушкина, знаменитый того времени поэтъ В. А. Жуковскій. Онъ, живя въ Царскомъ Селѣ, часто приходитъ въ Лицей и цѣлые вечера проводитъ съ Пушкинымъ, слушая его стихи и руководя, и наставляя юнаго поэта, въ которомъ онъ провидѣлъ будущую славу Россіи.

Если первымъ руководителемъ поэта былъ Жуковскій, то настоящимъ крестнымъ отцомъ Пушкина былъ сходившій уже въ могилу другой знаменитый поэтъ—Державинъ, который одобрилъ его стихотвореніе: „Воспоминаніе въ Царскомъ Селѣ“, прочитанное Пушкинымъ на актѣ. Вотъ какъ разсказываетъ объ этомъ самъ Пушкинъ:

„Державина видѣлъ я только разъ въ жизни, но никогда того не забуду. Это было въ 1815 году, на публичномъ экзаменѣ въ Лицеѣ. Какъ узнали мы, что Державинъ будетъ къ намъ, всѣ мы взволновались. Дельвигъ вышелъ на лѣстницу, чтобъ дождаться его и поцѣловать руку, — руку, написавшую „Водопадъ“. Державинъ пріѣхалъ... Онъ былъ очень старъ... Экзаменъ нашъ очень его утомилъ: онъ сидѣлъ поджавъ голову рукою; глаза его были мутны, губы отвисли. Онъ дремалъ до тѣхъ поръ, пока не начался экзаменъ русской словесности. Державинъ оживился: глаза

заблистали, онъ преобразился весь. Разумѣется, читаны были его стихи; поминутно хвалили его стихи. Онъ слушалъ съ живостью необыкновенною. Наконецъ, вызвали меня. Я прочелъ мои „Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ“, стоя въ двухъ шагахъ отъ Державина. Я не въ силахъ описать состояніе души моей: когда я дошелъ до стиха, гдѣ упоминаю имя Державина, голосъ мой отроческій зазвенѣлъ, а сердце забилось съ упоительнымъ восторгомъ. Не помню, какъ я кончилъ свое чтеніе; не помню, куда убѣжалъ. Державинъ былъ въ восхищеніи: онъ меня требовалъ, хотѣлъ меня обнять... Меня искали, но не нашли“...

„Читалъ Пушкинъ, — разсказываетъ любимый товарищъ его Пущинъ,—съ необыкновеннымъ оживленіемъ. Пока я слушалъ знакомые стихи, морозъ пробѣгалъ у меня по кожѣ; когда же семидесятилѣтній старецъ, самъ знаменитый поэтъ нашъ Державинъ, со слезами на глазахъ бросился цѣловать юношу со словами: „Я не умеръ!“... Пушкина уже не было, онъ убѣжалъ“.

Послѣ экзамена, на обѣдѣ, графъ Разумовскій, бывшій въ то время министромъ народнаго просвѣщенія, поздравляя отца Пушкина, Сергѣя Львовича, съ успѣхами сына, прибавилъ: „Однакоже, я желалъ бы обратить вашего сына къ прозѣ“.

— Оставьте его поэтомъ! —съ необыкновеннымъ жаромъ сказалъ Державинъ.

Объ этихъ отношеніяхъ своихъ къ Державину Пушкинъ упоминаетъ и въ поэмѣ „Евгеній Онѣгинъ“, гдѣ разсказываетъ судьбу своей Музы (то-есть, своего поэтическаго дарованія):

И свѣтъ ее (Музу) съ улыбкой встрѣтилъ,
Успѣхъ нашъ первый окрылилъ:
Старикъ Державинъ насъ замѣтилъ
И, въ гробъ сходя, благословилъ...

Это стихотвореніе—„Воспоминаніе въ Царскомъ Селѣ“—окончательно рѣшило судьбу поэта, о талантѣ котораго заговорили всюду. Подъ стихами здѣсь въ первый разъ было напечатано полностью: Александръ Пушкинъ [1]), при чемъ издатель выражаетъ благодарность дядѣ поэта, В. Пушкину, за доставленіе стихотворенія молодого поэта, „талантъ котораго такъ много обѣщаетъ“.

---

[1]) Подъ первымъ стихотвореніемъ была надпись: „Александръ Н.и.к.ш.п“ (читать слѣдуетъ наоборотъ).

Итакъ, еще въ Лицеѣ, въ юношѣ ярко обнаружился невиданный дотолѣ въ Россіи талантъ, признанный и гордившимися имъ товарищами поэта, и учителями, и родными, и обществомъ, и даже такими писателями, какъ Державинъ, Жуковскій, Батюшковъ, Карамзинъ и кн. Вяземскій. Но и въ Лицеѣ, какъ и въ домѣ родительскомъ, не было у Пушкина ни одного руководителя, кто указалъ бы юношѣ всю важность такого таланта, который требуетъ отъ поэта основательнаго образованія и серьезной мысли. Пушкинъ прочиталъ много книгъ, но въ разбродъ, безъ выбора; рядомъ съ книгами хорошими прочиталъ не мало и пустыхъ. Красивые стихи давались ему легко, за нихъ его превозносили— и онъ пѣлъ въ Лицеѣ, какъ птица небесная, потому что не могъ не пѣть.

Удачныя подражанія Державину, Батюшкову, Жуковскому, стихи на случаи, шуточные стишки (эпиграммы), гдѣ мѣтко осмѣивались тѣ или другія лица — вотъ почти и все, что́ писалъ Пушкинъ въ Лицеѣ. Не нашлось ни одного человѣка, который сказалъ бы Пушкину: „Тебѣ данъ отъ Бога величайшій даръ, какой дается въ цѣлыя столѣтія одному изъ милліоновъ людей, а потому не трать этого дара попустому; только наука, образованіе, упорный, вдумчивый трудъ надъ собой могутъ сдѣлать тебя вполнѣ достойнымъ этого дара...“ Впрочемъ, самъ Пушкинъ въ своемъ романѣ: „Евгеній Онѣгинъ“, посмѣялся надъ своимъ воспитаніемъ:

Вотъ, мой Онѣгинъ на свободѣ,
Остриженъ по послѣдней модѣ,
Какъ дэнди (франтъ) лондонскій одѣтъ,
И, наконецъ, увидѣлъ свѣтъ.
Онъ по-французски совершенно
Могъ изъясняться и писать;
Легко мазурку танцовалъ
И кланялся непринужденно:
Чего-жъ вамъ больше? Свѣтъ рѣшилъ,
Что онъ уменъ и очень милъ.
Мы всѣ учились понемногу,
Чему-нибудь и какъ-нибудь,
Такъ воспитаньемъ, слава Богу,
У насъ немудрено блеснуть...

Быстро приближалось время окончанія лицейскаго курса, и 9 іюня 1817 г. состоялся торжественный выпускъ учениковъ. Съ

Рис. Г. Кондратенко.

Домъ Пушкина въ с. Михайловскомъ.

грустью разставались другъ съ другомъ товарищи, такъ тѣсно связанные шестилѣтнею совмѣстною жизнью, и вотъ какими стихотвореніями простился съ товарищами Пушкинъ:

Къ товарищамъ.

Промчались годы заточенья:
Недолго, милые друзья,
Намъ видѣть кровъ уединенья
И царскосельскія поля.
Разлука ждетъ насъ у порогу,
Зоветъ насъ свѣта дальній шумъ,
И каждый смотритъ на дорогу
Съ волненьемъ юныхъ, пылкихъ думъ.
Иной, подъ киверъ спрятавъ умъ,
Уже въ воинственномъ нарядѣ
Гусарской саблею махнулъ;
Въ крещенской, утренней прохладѣ,
Красиво мерзнетъ на парадѣ,
А грѣться ѣдетъ въ караулъ.
Лишь я, судьбѣ своей послушный,
Счастливой нѣги вѣрный сынъ,
Всегда безпечный, равнодушный,
Въ постели задремалъ одинъ.
Равны мнѣ писари, уланы,
Равны мнѣ каски, кивера;
Не рвусь я грудью въ капитаны
И не ползу въ ассесора.
Друзья, немного снисхожденья!
Оставьте мирный мнѣ колпакъ,
Пока его за прегрѣшенья
Не промѣнялъ я на шишакъ;
Пока лѣнивому возможно,
Не опасаясь грозныхъ бѣдъ,
Еще рукой неосторожной
Въ іюлѣ распахнуть жилетъ.

Въ альбомъ И. И. Пущину.

Взглянувъ когда-нибудь на тайный сей листокъ,
Исписанный когда-то мною,
На время улети въ лицейскій уголокъ
Всесильной, сладостной мечтою.
Ты вспомни быстрыя минуты первыхъ дней,

Неволю мирную, шесть лѣтъ соединенья,
Печали, радости, мечты души твоей,
Размолвки дружества и сладость примиренья,
Что было и не будетъ вновь...

Изъ стихотворенія „Разлука“ (В. К. Кюхельбекеру — товарищу Пушкина по Лицею):

Прости! Гдѣ-бъ ни былъ я: въ огнѣ ли смертной битвы,
При мирныхъ ли брегахъ родимаго ручья,
Святому братству вѣренъ я.
И пусть (услышитъ ли судьба мои молитвы?),
Пусть будутъ счастливы всѣ, всѣ мои друзья!

Разставаясь при выпускѣ, лицеисты положили собираться ежегодно въ день основанія Лицея, 19 октября, а Пушкинъ обѣщалъ каждый разъ писать къ этому дню стихотворенія.

Распростившись съ Лицеемъ, Пушкинъ тотчасъ же поѣхалъ въ Псковскую губернію, въ сельцо Михайловское, принадлежащее его родителямъ, которые пріѣзжали туда на лѣто.

Быстро и весело прошло для Пушкина это лѣто 1817 года, благодаря милому семейству сосѣдки, вдовы-помѣщицы, Прасковьи Александровны Осиповой, владѣлицы красиваго, верстахъ въ трехъ отъ Михайловскаго, имѣнія Тригорское, на берегу живописной рѣки Сороти, извивающейся между двухъ озеръ, подъ Михайловскимъ. Она была близкой пріятельницей семьи Пушкина и знала поэта съ самаго его дѣтства. Жила она въ своей деревнѣ съ сыномъ Алексѣемъ и дочерьми отъ перваго брака, барышнями Анной и Евпраксіей Николаевнами Вульфъ, и двумя дочерьми младшими, отъ второго брака, Марьей и Екатериной Ивановнами Осиповыми, тогда еще маленькими дѣвочками. На лѣто съѣзжались гостить сюда и другія родственницы и знакомые, и въ этомъ-то молодомъ обществѣ, въ прогулкахъ, катаньяхъ въ лодкѣ, въ охотѣ, въ шуткахъ и играхъ, и прошло это лѣто для Пушкина, написавшаго на прощанье хозяйкѣ Тригорскаго слѣдующее стихотвореніе:

Простите, милыя дубравы!
Прости, безпечный миръ полей,
И легкокрылыя забавы
Столь быстро улетѣвшихъ дней!
Прости, Тригорское, гдѣ радость
Меня встрѣчала столько разъ!
На то-ль узналъ я вашу сладость,
Чтобъ навсегда покинуть васъ?
Отъ васъ беру воспоминанье,
А сердце оставляю вамъ.
Быть можетъ (сладкое мечтанье!),
Я къ вашимъ возвращусь полямъ,
Приду подъ липовые своды,
На скатъ Тригорскаго холма,
Поклонникъ дружеской свободы!

Цѣлыхъ три лѣта подъ рядъ пріѣзжалъ Пушкинъ въ село Михайловское, чуть не каждый день бывая у сосѣдокъ. Здѣсь же, въ 1819 г., написаны имъ и стихотворенія: „Деревня“ и „Домовому“, гдѣ съ такой любовью относится онъ и къ природѣ, и къ всегда любимому имъ простому народу.

За эти три года, съ 1817 до 1820 г., эти наѣзды въ деревню были для Пушкина освѣжительнымъ отдыхомъ отъ шумной свѣтской жизни въ Петербургѣ, которой онъ предался съ такимъ увлеченіемъ, что только крѣпкая, выносливая его натура помогла ему перенести тяжелую болѣзнь, грозившую поэту смертью. Безсонныя ночи, препровожденіе времени съ богатой молодежью не давали ему никакой возможности ни дополнить своего скуднаго образованія, ни создать что-нибудь достойное его великаго генія. За всѣ эти три года, за исключеніемъ нѣсколькихъ стихотвореній, онъ написалъ одну только красивую поэму: „Русланъ и Людмила“, приведшую въ восторгъ расположенныхъ къ юношѣ писателей, особенно Жуковскаго и Батюшкова. При такой разсѣянной жизни, можетъ быть, такъ бы и погибъ великій геній Пушкина, но, по повелѣнію императора Александра I, въ 1820 г. поэтъ былъ переведенъ на службу на югъ, гдѣ провелъ онъ цѣлыхъ четыре года. Это обстоятельство, оторвавъ его надолго отъ столичной суеты, заставило его задуматься надъ жизнью, позаботиться о своемъ образованіи, безъ котораго еще мало значитъ и великій талантъ, а главное — познакомило Пушкина съ Россіей, которую зналъ онъ только по своимъ деревнямъ. На службу въ

городъ Екатеринославль поступилъ Пушкинъ подъ начальство добрѣйшаго и образованнаго стараго генерала Инзова. Генералъ принялъ его ласково, службой не утруждалъ, — да и очень ужъ плохимъ чиновникомъ оказался Пушкинъ, къ тому же еще почти съ пріѣзда опять заболѣвшій. Въ это какъ разъ время ѣхалъ черезъ Екатеринославль лечиться отъ ранъ на Кавказъ старый знакомый Пушкина, герой Бородинскаго сраженія, генералъ Раевскій. Ѣхалъ онъ съ своимъ младшимъ сыномъ, близкимъ пріятелемъ Пушкина съ дѣтскихъ лѣтъ, съ двумя младшими дочерьми и англичанкой-гувернанткой. Раевскій выхлопоталъ у Инзова Пушкину отпускъ, подъ видомъ леченья, и для поэта представился случай повидать Кавказъ, произведшій на поэта такое сильное впечатлѣніе своей величественной природой и нравами горцевъ, что онъ тамъ же написалъ стихотворный разсказъ: „Кавказскій плѣнникъ". Но особенно полезно было для поэта общество очень образованной и серьезной семьи Раевскихъ. Здѣсь-то, на Кавказѣ, и особенно позже, въ Крыму, въ бесѣдахъ съ этой семьей сталъ выясняться Пушкину весь недостатокъ его образованія и легкомысленное дотолѣ отношеніе къ жизни. Здѣсь же, подъ руководствомъ младшаго сына генерала, образованнаго Николая Николаевича Раевскаго, въ Гурзуфѣ, началъ онъ серьезно заниматься англійскимъ языкомъ и знакомиться съ знаменитымъ англійскимъ поэтомъ Байрономъ, произведшимъ на поэта глубокое впечатлѣніе и заставившимъ его задуматься серьезно надъ своимъ геніемъ. А между тѣмъ какъ Пушкинъ лечился на Кавказѣ, канцелярія Инзова была переведена изъ Екатеринославля въ Бессарабію, въ городъ Кишиневъ, и поэтъ, выздоровѣвъ, долженъ былъ ѣхать туда, намѣреваясь по пути посмотрѣть и Крымъ, гдѣ на южномъ берегу, въ Гурзуфѣ, жили остальные члены семейства Раевскаго, старшій сынъ Александръ, человѣкъ серьезный и образованный, съ которымъ Пушкинъ сошелся очень близко, и двѣ старшія дочери, изъ коихъ старшая, Екатерина Николаевна, была одной изъ умнѣйшихъ и образованнѣйшихъ въ то время въ Россіи женщинъ. Вся семья Раевскаго чрезвычайно полюбила Пушкина за открытый, веселый характеръ, умъ и необычайный геній, и пребываніе на Кавказѣ и въ Крыму оставило въ поэтѣ самыя лучшія воспоминанія. Описывая съ восторгомъ эту семью своему брату, Пушкинъ пишетъ: „Суди, былъ ли я счастливъ:

свободная, безпечная жизнь въ кругу милаго семейства; жизнь, которую я такъ люблю и которой никогда не насладишься; счастливое, полуденное небо, прелестный край, горы, сады, море"... „Какъ любилъ я, — пишетъ поэтъ въ другомъ письмѣ, къ Дельвигу,—проснувшись ночью, слушать шумъ моря, и заслушивался цѣлые часы. Въ двухъ шагахъ отъ дома росъ кипарисъ; каждое утро я посѣщалъ его и къ нему привязался чувствомъ, исполненнымъ дружбы". Кипарисъ этотъ живъ еще и теперь, черезъ 80 лѣтъ послѣ того, какъ Пушкинъ былъ въ Крыму, и до сихъ поръ указывается въ Гурзуфѣ путешественникамъ. Изъ Гурзуфа съѣздилъ поэтъ и въ живописную столицу крымскихъ хановъ, Бахчисарай, память о которомъ сохранилъ въ своей новой стихотворной повѣсти (поэмѣ): „Бахчисарайскій фонтанъ". Продолжая пользоваться отпускомъ, который былъ данъ на нѣсколько мѣсяцевъ, отправился поэтъ съ Раевскими же въ ихъ богатое кіевское имѣніе, Каменка, гдѣ нашелъ богатую библіотеку. Все это вмѣстѣ, и природа, и общество Раевскихъ, и Байронъ, чрезвычайно хорошо повліяло на поэта. Онъ и окрѣпъ здоровьемъ, отдохнувъ отъ своей петербургской жизни, и при своемъ собственномъ, необыкновенномъ умѣ чрезвычайно быстро выросъ и ободрился духомъ, сталъ серьезнѣе смотрѣть на свой талантъ и пользу, какую долженъ принести своей родинѣ поэтъ, какъ изобразитель нашей жизни и наставникъ всему доброму и прекрасному. До этого времени Пушкинъ писалъ почти только одни красивые стихи, писалъ бо̀льшею частью случайно, между прочимъ; теперь, мало-по-малу, въ его головѣ уже зарождаются планы будущихъ великихъ твореній, и изъ геніальнаго юноши, подававшаго только надежды, начинаетъ все болѣе и болѣе вырабатываться великій народный поэтъ, основательно работающій надъ своимъ образованіемъ и внимательно обдумывающій свои произведенія. Но нужно было пройти еще тремъ годамъ, чтобы Пушкинъ выказалъ себя во всемъ блескѣ своего генія.

По окончаніи отпуска поэтъ поѣхалъ на службу въ Бессарабію, въ Кишиневъ, гдѣ и поселился у добраго своего начальника Инзова, попрежнему не обременявшаго поэта службой и предоставлявшаго ему почти полную свободу. Кишиневъ въ это время былъ городъ шумный и наполненъ самымъ разнообразнымъ народомъ: сюда наѣзжали и богатые молдаване, съ цѣлью погулять,

и русскіе помѣщики, купцы, военные; встрѣчались здѣсь и греки, и турки, и евреи, итальянцы и цыгане, и жилось здѣсь весело и привольно. Пушкинъ, прожившій въ Кишиневѣ около трехъ лѣтъ, наглядѣлся на людей и русскихъ, и иностранцевъ, самыхъ разнообразныхъ, и набрался не мало впечатлѣній, давшихъ ему впослѣдствіи много матеріаловъ для будущихъ сочиненій. Страсть къ шумнымъ удовольствіямъ, такъ увлекшая поэта въ Петербургѣ, охватила было его опять и здѣсь и приводила въ истинное отчаяніе его добраго начальника. Вспыльчивый, неукротимый характеръ Пушкина, не получившаго своевременно хорошаго воспитанія, безпрестанно подавалъ поводъ къ ссорамъ, а его неудержимое остроуміе, и особенно насмѣшки и стихи, осмѣивавшіе иногда очень извѣстныхъ въ городѣ лицъ, вредили доброму мнѣнію о поэтѣ и создали ему много враговъ. Не мало ходило о немъ въ Кишиневѣ и всякихъ преувеличенныхъ сплетенъ и разсказовъ, прямо выдуманныхъ, но Пушкинъ и самъ подавалъ къ нимъ поводъ. Такъ, напримѣръ, посланный Инзовымъ въ какую-то командировку, онъ присталъ въ Бессарабскихъ степяхъ къ цыганскому табору и кочевалъ съ нимъ цѣлыхъ двѣ недѣли, воспользовавшись потомъ наблюденіями надъ цыганской жизнью въ новой своей поэмѣ: „Цыгане“. Повидимому, на первый взглядъ, Пушкинъ снова предался разсѣянной жизни, но на самомъ дѣлѣ это было не совсѣмъ такъ. Среди всѣхъ увеселеній и увлеченій этотъ удивительный человѣкъ какъ-то находилъ время много читать и учиться, обдумывать и набрасывать планы новыхъ сочиненій, да и въ самыхъ увлеченіяхъ являлся всегда человѣкомъ благороднымъ, не унизившимъ себя ни однимъ дурнымъ проступкомъ и никого серьезно не обидѣвшимъ. И тутъ, какъ и раньше въ Лицеѣ, онъ за все отвѣчалъ самъ, великодушно прощая обиды, и готовый притти на помощь всякому, кто въ немъ нуждался и отдать неимущему послѣднюю копейку. Кому же случалось въ это время съ нимъ сблизиться и серьезно поговорить, тотъ не могъ не поражаться его глубокимъ умомъ и даже разнообразными знаніями; какъ человѣкъ при всѣхъ своихъ недостаткахъ и чудачествахъ, онъ очаровывалъ всѣхъ добрымъ сердцемъ, простотой, деликатностью и доброжелательствомъ. Словомъ, жилъ въ это время Пушкинъ какою-то двойною жизнью. Однимъ человѣкомъ слылъ онъ въ городѣ и точно хвастался своей репутаціей; совсѣмъ дру-

гимъ человѣкомъ, серьезнымъ, работающимъ надъ собой и своимъ образованіемъ, становился онъ на самомъ дѣлѣ; по письмамъ изъ Кишинева видно, что онъ очень серьезно продолжалъ заниматься своимъ образованіемъ. Часто проситъ онъ присылать ему серьезныя иностранныя и русскія книги, журналы, разсуждаетъ о писателяхъ и т. п. Не малую пользу принесли Пушкину и частыя поѣздки въ Одессу, куда стекалось не мало образованныхъ людей. Не прошли безслѣдно и поѣздки его къ знакомымъ въ Малороссію, гдѣ, кажется, пришла ему первая мысль написать поэму изъ старинной малороссійской жизни, что онъ и сдѣлалъ, хотя уже много лѣтъ спустя, создавъ стихотворную повѣсть о Мазепѣ и Маріи—„Полтаву", гдѣ такъ чудно описана малороссійская природа.

Между тѣмъ, въ концѣ мая 1823 года, Инзовъ сдалъ свою должность новороссійскаго генералъ-губернатора новому начальнику, М. С. Воронцову, жившему въ Одессѣ, гдѣ было сосредоточено въ его канцеляріи все управленіе всѣмъ южнымъ Крымомъ и Бессарабіей, и куда переѣхалъ чиновникомъ къ Воронцову и Пушкинъ.

Воронцовъ, такъ много сдѣлавшій впослѣдствіи для Крыма, гдѣ онъ провелъ прекрасныя дороги и завелъ винодѣліе, былъ уже не то, что добрый старичекъ Инзовъ. Очень умный, образованный, холодный, весьма богатый аристократъ, Воронцовъ окружилъ себя блестящимъ и обширнымъ штатомъ чиновниковъ, отъ которыхъ требовалъ безусловнаго повиновенія, аккуратности и строгой исполнительности, а главное — упорнаго канцелярскаго труда. Пушкина, о которомъ шла изъ Кишинева особая слава, встрѣтилъ онъ покровительственно и холодно. Зная Пушкина только по слухамъ, онъ мало придавалъ значенія тому, что онъ до сихъ поръ писалъ, и былъ недоволенъ имъ, какъ чиновникомъ. Съ перваго же свиданія избалованный и друзьями, и Инзовымъ, Пушкинъ произвелъ на своего начальника впечатлѣніе высокомѣрнаго юноши. Онъ, однако, подтянулся, сталъ вести жизнь, какъ будто, поскромнѣе, попробовалъ даже начать служить; но себя передѣлать не могъ. Онъ сталъ пренебрегать службой, и наконецъ мѣра терпѣнія Воронцова переполнилась, и 23 марта 1824 г. Воронцовъ послалъ въ Петербургъ бумагу, гдѣ просилъ взять Пушкина изъ Одессы, совѣтуя перевести молодого человѣка на службу куда-нибудь во внутреннія губерніи.

Пушкинъ долженъ былъ оставить службу и переѣхать на жительство въ Псковскую губернію, въ родное сельцо Михайловское, куда онъ и выѣхалъ 30 іюня вечеромъ изъ Одессы, простившись съ южнымъ краемъ вообще и съ Чернымъ моремъ чуднымъ стихотвореніемъ: „Къ морю", а 9-го августа былъ уже въ селѣ Михайловскомъ.

Когда Пушкинъ пріѣхалъ въ Михайловское, тамъ жило все его семейство: отецъ съ матерью, братомъ поэта и сестрой. Пушкинъ разошелся съ отцомъ, и вся семья уѣхала въ Петербургъ, оставивъ его одного съ няней, Ариной Родіоновной.

Усадьба Михайловское стояла одиноко. Это былъ одноэтажный деревянный домъ съ двумя домиками—службами по бокамъ и съ цвѣтникомъ передъ домомъ. Задняя сторона дома обращена къ рѣкѣ Сороти, извивающейся между двумя озерами. Отъ цвѣтника въ гору шла дорога въ Тригорское, къ Осиповымъ, а на границѣ Михайловскихъ владѣній стояли три сосны, одна поодаль, двѣ другія—другъ къ дружкѣ близко.

Помѣщичій домъ былъ запущенъ, обветшалъ и угрюмъ. Пушкинъ выбралъ себѣ одну боковую небольшую комнату въ три окна. Въ ней стояла простая деревянная кровать. Некрашеный столъ, два стула, да полка съ книгами — вотъ и все убранство этой дорогой для всякаго русскаго человѣка комнатки, гдѣ за эти два года столько было написано Пушкинымъ прекрасныхъ произведеній, и большая часть романа „Евгеній Онѣгинъ", и „Борисъ Годуновъ", и „Цыгане", и „Графъ Нулинъ" и много другихъ стихотвореній.

Однообразно потекли день за днемъ для поэта. Вставалъ онъ очень рано и сейчасъ же налегкѣ отправлялся къ бѣгущей внизу обрыва рѣчкѣ купаться, а зимой садился передъ завтракомъ въ ванну со льдомъ; осенью же, когда онъ всегда особенно охотно и много писалъ, оставался въ постели и до обѣда. Очень любилъ Пушкинъ гулять пѣшкомъ, и верхомъ, и часто предпринималъ дальнія прогулки. Какъ онъ самъ говорилъ, на этихъ прогулкахъ приходили ему въ голову новые стихи, и онъ, бродя надъ озеромъ, громко ихъ читалъ, спугивая дикихъ утокъ. Или онъ выходилъ въ пустую билліардную и игралъ самъ съ собою двумя шарами.

Но особенно скучно ему бывало зимой, длинными вечерами, когда на дворѣ бушевали метель и вьюга. Въ такіе-то вечера позоветъ онъ, бывало, къ себѣ свою старушку-нянюшку, велитъ ей достать изъ погреба бутылочку винца, да и скоротаютъ они вдвоемъ вечеръ. Она поетъ своему любимцу пѣсни, или сказываетъ сказки, а тотъ за ней ихъ записываетъ, или и самъ прочитываетъ ей свои стихи. Нужды нѣтъ, что не все пойметъ старушка:—все-таки хоть кто-нибудь ихъ слушаетъ. Вотъ какъ описалъ Пушкинъ одинъ изъ такихъ вечеровъ въ стихотвореніи— „Зимній вечеръ".

Буря мглою небо кроетъ,
Вихри снѣжные крутя:
То, какъ звѣрь, она завоетъ,
То заплачетъ, какъ дитя;
То по кровлѣ обветшалой
Вдругъ соломой зашумитъ,
То, какъ путникъ запоздалый,
Къ намъ въ окошко застучитъ.

Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна.
Что же ты, моя старушка,
Пріумолкла у окна?
Или бури завываньемъ
Ты, мой другъ, утомлена,
Или дремлешь подъ жужжаньемъ
Своего веретена?

Выпьемъ, добрая подружка
Бѣдной юности моей,
Выпьемъ съ горя; гдѣ же кружка?
Сердцу будетъ веселѣй.
Спой мнѣ пѣсню, какъ синица
Тихо за моремъ жила;
Спой мнѣ пѣсню, какъ дѣвица
За водой поутру шла.

Буря мглою небо кроетъ,
Вихри снѣжные крутя:
То, какъ звѣрь, она завоетъ,
То заплачетъ, какъ дитя,
Выпьемъ, добрая подружка
Бѣдной юности моей,
Выпьемъ съ горя; гдѣ же кружка?
Сердцу будетъ веселѣй!

Эти пѣсни и сказки няни особенно нравились Пушкину. Въ одномъ изъ писемъ, на вопросъ: что-то подѣлываетъ онъ въ Михайловскомъ, Пушкинъ отвѣчаетъ: „Слушаю по вечерамъ сказки своей няни, и тѣмъ вознаграждаю недостатки своего воспитанія". Къ пѣснямъ, сказкамъ, поговоркамъ и пословицамъ прислушивался Пушкинъ всю жизнь и внимательно ихъ записывалъ. Особенно много записалъ онъ ихъ именно въ эти два года (1824—1826),—и не только отъ няни [1]). Бродилъ онъ часто по окрестнымъ деревнямъ, и ласковый, привѣтливый, необыкновенно простой, веселый, „михайловскій баринъ", любимый народомъ и самъ его любившій, былъ всюду желаннымъ гостемъ: и на свадьбахъ, и въ хороводахъ, и на зимнихъ посидѣлкахъ, и мужики, и бабы много пѣли ему пѣсенъ и сказывали сказокъ и прибаутокъ. Очень любили Пушкина и въ Святогорскомъ монастырѣ, куда онъ часто хаживалъ и гдѣ собиралось по праздникамъ не мало всякихъ странниковъ, странницъ и слѣпыхъ-нищихъ, особенно въ большую ярмарку, въ девятую пятницу послѣ Пасхи. Здѣсь знали Александра Сергѣевича всѣ, и пользовался онъ великою любовью народа. Одѣвался онъ по-крестьянски: бѣлая рубаха съ красными ластовками, порты мужицкіе съ бахромой, на ногахъ берестовые поршни, въ родѣ глубокихъ калошъ; поясъ—красная лента, и большая съ широкими полями соломенная шляпа. Въ такомъ-то нарядѣ, по разсказамъ знававшихъ его стариковъ, появлялся онъ на ярмаркахъ, пивалъ сбитень, угощался у калачницъ, заманивавшихъ тороватаго барина, и ходилъ по Колесному-ряду, гдѣ слушалъ присказки и пѣсни. А съ нищими-слѣпцами особенно любилъ водиться, и самъ пѣвалъ съ ними стихи про Лазаря и Алексѣя Божія-человѣка; даже принималъ отъ богомольцевъ заказы на пѣніе, кому что спѣть: одному—про Лазаря, другому—про Алексѣя. Запоютъ слѣпцы, а онъ и управляетъ самъ хоромъ, размахивая желѣзной дубинкой съ бубенчиками; и собираются около „михайловскаго барина" цѣлыя толпы — ни пройти, ни проѣхать [2]).

Отъ няни-то, отъ народа по деревнямъ, отъ слѣпцовъ и вся-

---

[1]) Разныя преданія записывалъ Пушкинъ и раньше, на югѣ Россіи.

[2]) Подобные разсказы слышалъ въ Святыхъ горахъ и я самъ и другіе посѣтители этихъ мѣстъ. *В. О.*

кихъ бродячихъ людей по ярмаркамъ и узналъ Пушкинъ хорошо русскую народную рѣчь, отчего такъ и хороши его сказки и разсказы, да не мало словъ и выраженій народныхъ вошло и въ драму „Борисъ Годуновъ“, которую всю, въ нѣсколько мѣсяцевъ, написалъ онъ въ 1825 г. въ Михайловскомъ.

Но для писателя еще мало знать одинъ народный живой языкъ и жизнь. Много ему нужно еще и читать всякихъ книгъ, и учиться. Какъ говорили мы раньше, серьезно работать надъ своимъ образованіемъ началъ Пушкинъ еще на Кавказѣ и въ Крыму, но въ Михайловскомъ своемъ уединеніи онъ особенно много читалъ и подготавливался къ своимъ будущимъ и настоящимъ работамъ. Безпрестанно высылали ему книги изъ Петербурга и Москвы и чуть не всю богатую библіотеку перечиталъ онъ у Осиповой, въ Тригорскомъ. И еслибъ кто-нибудь сравнилъ, какимъ легкомысленнымъ юношей былъ Пушкинъ четыре-пять лѣтъ передъ тѣмъ, и какимъ серьезнымъ писателемъ и широко образованнымъ человѣкомъ сталъ онъ теперь, къ концу 1826 года,—онъ не узналъ бы Пушкина, въ которомъ таился великій геній и прежде, но ждалъ только серьезнаго труда и образованія, чтобы развернуться въ полномъ блескѣ. Онъ и самъ еще раньше, въ 1819 г., предсказалъ свое будущее возрожденіе, въ стихотвореніи подъ этимъ же заглавіемъ, гдѣ сравнилъ себя съ картиной, въ которой—

Краски чуждыя съ лѣтами
Спадаютъ ветхой чешуей;
Созданье генія предъ нами
Выходитъ съ прежней красотой.
Такъ исчезаютъ заблужденья
Съ измученной души моей,
И возникаютъ въ ней видѣнья
Первоначальныхъ, чистыхъ дней...

А сколько хорошихъ книгъ прочиталъ Пушкинъ за это время: и лѣтописи, и исторію Карамзина, и англійскаго драматическаго писателя Шекспира, и римскаго историка Тацита, и многое еще и другое. Но какъ ни много читалъ и писалъ въ Михайловскомъ Пушкинъ, какъ ни старался развлекаться прогулками и посѣщеніями сосѣдокъ въ Тригорскомъ, — его томила подчасъ страшная тоска одиночества. Онъ такъ привыкъ быть въ обществѣ, такъ любилъ и брата, о которомъ всегда заботился и помогалъ ему

деньгами, и особенно лицейскихъ товарищей: Дельвига, Пущина, и близкихъ людей, напримѣръ, Жуковскаго, Плетнева, Вяземскаго, — и со всѣми ими онъ былъ разлученъ. Пушкинъ велъ съ ними переписку, звалъ то одного, то другого къ себѣ въ гости, но никто не пріѣзжалъ...

Но вотъ вдругъ, въ 8 ч. утра, 11 января 1825 г., проснувшійся Пушкинъ слышитъ издали колокольчикъ... И не успѣлъ онъ подняться съ постели, какъ во дворъ влетѣла въ притворенныя ворота разбѣжавшаяся тройка, и засѣла въ снѣгу на нерасчищенномъ дворѣ. Какъ былъ, босикомъ, въ одной рубашкѣ, выскочилъ Пушкинъ на крыльцо; — смотритъ: — самый любимый, дорогой его товарищъ — Иванъ Ивановичъ Пущинъ! Пущинъ схватилъ товарища въ охабку и втащилъ въ комнату. Прибѣжала старушка-няня и расплакалась. Расплакались на радостяхъ и друзья, и не могли вдоволь наговориться. Пущинъ привезъ съ собой свѣжую новинку,—рукопись знаменитой, только что появившейся, комедіи Грибоѣдова „Горе отъ ума", которую Пушкинъ тутъ же и принялся читать вслухъ... Няня приготовила закуску и обѣдъ, за которымъ роспили всѣ вмѣстѣ привезенное желаннымъ гостемъ вино... Хотѣлось друзьямъ поговорить еще и о петербургскихъ пріятеляхъ; хотѣлось и Пушкину подробнѣе ознакомить друга съ своими работами; но Пущинъ пріѣхалъ только на день, и послѣ ужина, за полночь, уже пришлось и разставаться. „Ямщикъ запрягъ лошадей,—вспоминаетъ Пущинъ:—колокольчикъ брякалъ у крыльца, на часахъ ударило три. Мы еще чокнулись стаканами, но пилось грустно, какъ будто чувствовалось, что въ послѣдній разъ пьемъ, и пьемъ на вѣчную разлуку! Молча набросилъ я на плечи шубу и убѣжалъ въ сани. Пушкинъ еще что-то говорилъ мнѣ вслѣдъ; ничего не слыша, я глядѣлъ на него; онъ остановился на крыльцѣ со свѣчей въ рукахъ. Кони рванулись подъ гору. Послышалось: „Прощай, другъ!" Ворота скрипнули за мной, и я уѣхалъ".

Въ бумагахъ Пушкина сохранился по поводу посѣщенія Пущина слѣдующій набросокъ:

Стрекотунья-бѣлобока
Подъ калиткою моей
Скачетъ пестрая сорока,
И пророчитъ мнѣ гостей.

Колокольчикъ небывалый
У меня звенитъ въ ушахъ...
Лучъ зари сіяетъ алый...
Серебрится снѣжный прахъ...

Кромѣ Пущина, посѣтили Пушкина въ этотъ же 1825-й годъ еще и другіе два лицейскіе товарища, Горчаковъ и поэтъ Дельвигъ, проживший у него часть лѣта съ апрѣля, и къ осени Пушкинъ опять остался одинъ.

Особенно было грустно ему 19 октября 1825 года, когда въ ненастный вечеръ, сидя одинъ въ деревнѣ, вспомнилъ онъ, какъ въ этотъ день былъ открытъ Лицей, и какъ при выпускѣ въ 1817 году положили всѣ первые лицеисты-товарищи въ этотъ день собираться; вспомнилъ онъ, что всѣ они, кто только въ Петербургѣ, теперь пируютъ, а онъ, Пушкинъ, ихъ любимый товарищъ и поэтъ, сидитъ одинъ въ своей ветхой лачужкѣ. И вылилось у него изъ души одно изъ самыхъ сердечныхъ его стихотвореній „19-ое октября 1825 года“:

Роняетъ лѣсъ багряный свой уборъ;
Сребритъ морозъ увянувшее поле;
Проглянетъ день, какъ будто поневолѣ,
И скроется за край окружныхъ горъ.
Пылай, каминъ, въ моей пустынной кельѣ;
А ты, вино, осенней стужи другъ,
Пролей мнѣ въ грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горькихъ мукъ.

Печаленъ я: со мною друга нѣтъ,
Съ кѣмъ долгую запилъ бы я разлуку,
Кому бы могъ пожать отъ сердца руку
И пожелать веселыхъ много лѣтъ.
Я пью одинъ; вотще воображенье
Вокругъ меня товарищей зоветъ;
Знакомое не слышно приближенье,
И милаго душа моя не ждетъ.

Я пью одинъ, и на брегахъ Невы
Меня друзья сегодня именуютъ...
Но многіе-ль и тамъ изъ васъ пируютъ?
Еще кого не досчитались вы?
Кто измѣнилъ плѣнительной привычкѣ?
Кого отъ васъ увлекъ холодный свѣтъ?
Чей гласъ умолкъ на братской перекличкѣ?
Кто не пришелъ? Кого межъ вами нѣтъ?

И вотъ, вспоминаетъ поэтъ о лицейскомъ товарищѣ Корсаковѣ, умершемъ въ Италіи; о Матюшкинѣ, морскомъ офицерѣ, подавшемъ впослѣдствіи мысль воздвигнуть памятникъ Пушкину именно въ Москвѣ, гдѣ поэтъ родился, и, обращаясь ко всѣмъ товарищамъ, онъ говоритъ:

Друзья мои, прекрасенъ нашъ союзъ!
Онъ, какъ душа, нераздѣлимъ и вѣченъ —
Неколебимъ, свободенъ и безпеченъ;
Сростался онъ подъ сѣнью дружныхъ музъ.
Куда бы насъ ни бросила судьбина,
И счастіе куда бъ ни повело,
Все тѣ же мы: намъ цѣлый міръ — чужбина,
Отечество намъ—Царское Село.

Вспоминаетъ поэтъ и недавній пріѣздъ въ Михайловское товарищей: Горчакова, Дельвига, и прежде всѣхъ—Пущина:

И нынѣ здѣсь, въ забытой сей глуши,
Въ обители пустынныхъ вьюгъ и хлада,
Мнѣ сладкая готовилась отрада:
Троихъ изъ васъ, друзей моей души,
Здѣсь обнялъ я. Поэта домъ опальный,
О, Пущинъ мой! ты первый посѣтилъ,
Ты усладилъ изгнанья день печальный,
Ты въ день его Лицея превратилъ.

Вспомнивъ о дорогихъ гостяхъ, въ заключеніе, Пушкинъ снова обращается къ товарищамъ, и надѣясь, что ему удастся какъ-нибудь вырваться на свободу и опять со всѣми увидѣться, говоритъ:

Пируйте, о, друзья!
Предчувствую отрадное свиданье;
Запомните-жъ поэта предсказанье:
Промчится годъ—и съ вами снова я!
Исполнится завѣтъ моихъ мечтаній;
Промчится годъ—и я явлюся къ вамъ!
О, сколько слезъ и сколько восклицаній,
И сколько чашъ, подъятыхъ къ небесамъ!

И первую полнѣй, друзья, полнѣй!
И всю до дна, въ честь нашего союза!
Благослови, ликующая муза,
Благослови: да здравствуетъ Лицей!
Наставникамъ, хранившимъ юность нашу,
Всѣмъ честію, и мертвымъ и живымъ,

Къ устамъ подъявъ признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадимъ.

Пируйте же, пока еще мы тутъ!
Увы, нашъ кругъ часъ отъ часу рѣдѣетъ;
Кто въ гробѣ спитъ, кто дальный сиротѣетъ;
Судьба глядитъ, мы вянемъ; дни бѣгутъ;
Невидимо склоняясь и хладѣя,
Мы близимся къ началу своему...
Кому-жъ изъ насъ подъ старость день Лицея
Торжествовать придется одному?

Несчастный другъ! средь новыхъ поколѣній
Докучный гость, и лишній, и чужой,
Онъ вспомнитъ насъ и дни соединеній,
Закрывъ глаза дрожащею рукой...
Пускай же онъ съ отрадой хоть печальной
Тогда сей день за чашей проведетъ,
Какъ нынѣ я, затворникъ вашъ опальный,
Его провелъ безъ горя и заботъ.

Единственными сосѣдями Пушкина въ Михайловскомъ, которыхъ часто посѣщалъ поэтъ въ эти два года, была его старинная добрая знакомая П. А. Осипова, жившая попрежнему съ своими четырьмя дочерьми въ селѣ Тригорскомъ, куда наѣзжалъ и сынъ ея офицеръ А. Н. Вульфъ. Съѣзжалось туда по временамъ не мало и другой молодежи. И вотъ, здѣсь-то, въ веселомъ обществѣ такъ любившихъ Пушкина людей, находилъ Александръ Сергѣевичъ радушный привѣтъ и отдыхъ отъ своихъ трудовъ. Особенно весело прошло лѣто 1826 года, когда въ Тригорское пріѣхалъ погостить товарищъ А. Н. Вульфа, талантливый поэтъ, студентъ дерптскаго университета, Николай Михайловичъ Языковъ. Трое молодыхъ людей чуть не каждый день проводили вмѣстѣ. То пріѣзжалъ въ Тригорское Пушкинъ, то Вульфъ съ Языковымъ гостили въ Михайловскомъ, и весело пировали тогда друзья въ Пушкинскомъ домикѣ съ непремѣнной хозяйкой и собесѣдницей, старушкой-няней Ариной Родіоновной.

Вотъ какъ вспоминалъ впослѣдствіи Языковъ эти веселые вечера и радушную старушку:

Свѣтъ-Родіоновна, забуду ли тебя?..
Всегда привѣтами сердечной доброты
Встрѣчала ты меня, мнѣ здравствовала ты,
Когда чрезъ длинный рядъ полей, подъ зноемъ лѣта,

Ходилъ я навѣщать изгнанника-поэта
И мнѣ сопутствовалъ пріятель давній твой,
Ареевыхъ наукъ питомецъ молодой [1]).
Какъ сладостно твое святое хлѣбосольство
Нашъ баловало вкусъ и жажды своевольство!
Съ какимъ радушіемъ, красою древнихъ лѣтъ,
Ты набирала намъ затѣйливый обѣдъ!
Сама и водку намъ, и брашна подавала,
И соты, и плоды, и вина уставляла
На милой тѣснотѣ стариннаго стола!
Ты занимала насъ — добра и весела —
Про стародавнихъ баръ плѣнительнымъ разсказомъ.
Мы удивлялися почтеннымъ ихъ проказамъ,
Мы вѣрили тебѣ,—и смѣхъ не прерывалъ
Твоихъ безхитростныхъ сужденій и похвалъ;
Свободно говорилъ языкъ словоохотный —
И легкіе часы летѣли беззаботно!

Вспомнилъ Языковъ старушку и послѣ ея смерти въ 1828 г. въ домѣ сестры Пушкина, Ольги Сергѣевны, и вотъ онъ написалъ стихи „На смерть няни А. С. Пушкина“:

Я отыщу тотъ крестъ смиренный,
Подъ коимъ, межъ чужихъ гробовъ,
Твой прахъ улегся изнуренный
Трудомъ и бременемъ годовъ.
Ты не умрешь въ воспоминаньяхъ
О свѣтлой юности моей,
И въ поучительныхъ преданьяхъ
Про жизнь поэтовъ нашихъ дней.
Тамъ, гдѣ на долъ съ горы отлогой
Разнообразно сходитъ боръ —
Въ виду рѣки и двухъ озеръ
И нивъ съ извилистой дорогой:
Гдѣ древнимъ садомъ окруженъ,
Господскій домъ уединенный
Дряхлѣетъ, памятникъ почтенный
Елисаветинскихъ временъ, —
Насъ, полныхъ юности и вольныхъ,
Тамъ было трое: два пѣвца,
И онъ [2]), краса ночей застольныхъ,
Кипѣвшій силами бойца,

---

[1]) Арей, или Марсъ—греческій богъ войны; Ареевы науки — военная наука. Говорится про А. Н. Вульфа, бывшаго тогда офицеромъ.

[2]) Т.-е. Вульфъ.

Онъ, послѣ кинувшій забавы,
Себѣ избравшій ратный путь
И освѣтившій въ полѣ славы
Свою студенческую грудь.
Вонъ тамъ—обоями худыми
Кой-гдѣ прикрытая стѣна,
Полъ нечиненный, два окна
И дверь стеклянная межъ ними;
Диванъ подъ образомъ въ углу,
Да пара стульевъ; столъ украшенъ
Богатствомъ винъ и сельскихъ брашенъ,
И ты, пришедшая къ столу —
Мы пировали. Не дичилась
Ты нашей доли — и порой
Къ своей веснѣ переносилась
Разгоряченною мечтой;
Любила слушать наши хоры,
Живые звуки чуждыхъ странъ,
Рѣчей напоры и отпоры
И звонъ стакана объ стаканъ.
Ужъ гаситъ ночь свои свѣтила,
Зарей алѣетъ небосклонъ;
Я помню, что-то намъ про сонъ
Давнымъ-давно ты говорила.
Напрасно! Взялъ свое токай [1]),
Шумнѣй удалая пирушка:
Садись-ка, добрая старушка,
И съ нами бражничать давай! —
Ты разскажи намъ: въ дни былые,
Не правда-ль? не на эту стать
Твои бояре молодые
Любили ночи коротать?
Не такъ бывало! Слава Богу,
Земля вертится, у людей
Все коловратно; понемногу
Все мудренѣй и мудренѣй.
И мы... Какъ дѣтство шаловлива,
Какъ наша молодость, вольна,
Какъ полнолѣтіе, умна,
И, какъ вино, краснорѣчива,
Со мной бесѣдовала ты,
Влекла мое воображенье.
И вотъ тебѣ поминовенье, —

---

[1]) Т.-е. токайское вино.

XLV

На гробъ твой свѣжіе цвѣты!
Я отыщу тотъ крестъ смиренный,
Подъ коимъ межъ чужихъ гробовъ
Твой прахъ улегся, изнуренный
Трудомъ и бременемъ годовъ.
Предъ нимъ печальной головою
Склонюся; много вспомню я—
И умиленною мечтою
Душа разнѣжится моя!

Въ сентябрѣ 1826 г., благодаря хлопотамъ близкихъ къ царскому двору знакомыхъ и друзей Пушкина, молодой императоръ Николай Павловичъ, вступившій на престолъ послѣ смерти Александра I, позволилъ Пушкину проживать въ Москвѣ и Петербургѣ. Пушкинъ былъ привезенъ изъ Михайловскаго прямо въ Москву во дворецъ, и государь удостоилъ его милостивой бесѣдой наединѣ и обласкалъ его. Но такая высокая милость возбудила зависть, и съ самаго возвращенія изъ Михайловскаго начинаются для Пушкина непріятности, несмотря на общее поклоненіе передъ его талантомъ. Болѣе четырехъ лѣтъ проходитъ у Пушкина въ безпрестанныхъ скитаніяхъ. Онъ живетъ то въ Петербургѣ, то въ Москвѣ, то ѣдетъ на Кавказъ и добирается до города Арзерума. То опять увлекается Пушкинъ шумной свѣтской жизнью, то уѣзжаетъ въ деревню, въ уединеніе, гдѣ много работаетъ; то поражаетъ беззаботной веселостью, то въ мрачномъ настроеніи ждетъ всего дурного (стихотвореніе „Предчувствіе“) и даже думаетъ о смерти („Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ“). Съ грустью вспоминаетъ онъ о своей легкомысленной юности; не видитъ ничего хорошаго въ настоящемъ, да ничего лучшаго и въ будущемъ, утѣшаясь только надеждой на свой талантъ, который поможетъ ему создать еще много прекрасныхъ сочиненій („Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье“).

Въ февралѣ 1831 г. Пушкинъ женится на московской красавицѣ Натальѣ Николаевнѣ Гончаровой и переселяется на постоянное житье въ Петербургъ. Съ женитьбой значительно увеличиваются расходы на жизнь, такъ какъ жена его, привыкшая къ

роскоши, любила наряжаться, выѣзжать въ свѣтъ и принимать гостей у себя. Пушкину приходилось работать очень много. Вмѣсто того, чтобы уединиться въ деревню, и спокойно, не спѣша заняться созданіемъ сочиненій по душѣ, задуманныхъ еще до женитьбы или новыхъ, онъ часто принужденъ былъ браться за работу для денегъ, и это сильно раздражало его; уже въ самый годъ женитьбы, въ стихотвореніи „19-ое октября 1831 г.", онъ, вспоминая умершаго друга Дельвига, точно предчувствуетъ и свою близкую кончину и говоритъ:

И мнится, очередь за мной...
Зоветъ меня мой Дельвигъ милый!

Дурное расположеніе духа, съ самаго возвращенія изъ Михайловскаго, все чаще и чаще овладѣвавшее поэтомъ, неблагопріятно отражается и на его творчествѣ. Талантъ его былъ въ полной силѣ; въ это время онъ собиралъ матеріалы для исторіи Петра Великаго и посѣщалъ архивы. За четыре года онъ пишетъ большой стихотворный романъ „Евгеній Онѣгинъ", да создаетъ поэму (повѣсть въ стихахъ) „Полтаву", „Скупого рыцаря" и „Арапа Петра Великаго"; за шесть же лѣтъ семейной жизни написалъ еще сказки, повѣсть „Капитанская дочка", поэму „Мѣдный Всадникъ" и нѣсколько произведеній неоконченныхъ, какъ „Русалка" и „Дубровскій", кромѣ другихъ.

Въ августѣ 1835 г. Пушкинъ для того, чтобы отдаться творчеству, взялъ продолжительный отпускъ по придворной службѣ (онъ былъ камеръ-юнкеромъ) и уѣхалъ въ свое милое Михайловское, гдѣ разсчитывалъ прожить нѣсколько мѣсяцевъ на свободѣ, одинъ; но болѣзнь матери раньше окончанія отпуска вызвала его въ Петербургъ. Какъ печально было состояніе духа поэта, видно изъ его прекраснаго стихотворенія „Опять на родинѣ", написаннаго въ Михайловскомъ 26 октября 1835 г. Это стихотвореніе— послѣднее изъ посвященныхъ дорогому „уголку", гдѣ было столько написано и пережито. Въ немъ вспоминаетъ онъ и свою, уже покойную, няню, и свои два года пребыванія въ Михайловскомъ, съ поѣздками въ Тригорское, и свою молодость:

...Вновь я посѣтилъ
Тотъ уголокъ земли, гдѣ я провелъ
Отшельникомъ два года незамѣтныхъ.

XLVII

Ужъ десять лѣтъ ушло съ тѣхъ поръ, и много
Перемѣнилось въ жизни для меня,
И самъ, покорный общему закону,
Перемѣнился я; но здѣсь опять
Минувшее меня объемлетъ живо—
И кажется, вчера еще бродилъ
Я въ этихъ рощахъ.
Вотъ опальный домикъ,
Гдѣ жилъ я съ бѣдной нянею моей.
Уже старушки нѣтъ, ужъ за стѣною
Не слышу я шаговъ ея тяжелыхъ,
Ни утреннихъ ея доворовъ...
А вечеромъ, при завываньи бури,
Ея разсказовъ, мною затверженныхъ
Отъ малыхъ лѣтъ, но никогда не скучныхъ...
Вотъ холмъ лѣсистый, надъ которымъ часто
Я сиживалъ недвижимъ и глядѣлъ
На озеро, воспоминая съ грустью
Иные берега, иныя волны...
Межъ нивъ златыхъ и пажитей зеленыхъ
Оно, синѣя, стелется широко:
Черезъ его невѣдомыя воды
Плыветъ рыбакъ и тянетъ за собой
Убогій неводъ. По брегамъ отлогимъ
Разсѣяны деревни; тамъ за ними
Скривилась мельница, насилу крылья
Ворочая при вѣтрѣ...
На границѣ
Владѣній дѣдовскихъ, на мѣстѣ томъ,
Гдѣ въ гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоятъ: одна поодаль, двѣ другія
Другъ къ дружкѣ близко. Здѣсь, когда ихъ мимо
Я проѣзжалъ верхомъ при свѣтѣ лунной ночи,
Знакомымъ шумомъ шорохъ ихъ вершинъ
Меня привѣтствовалъ. По той дорогѣ
Теперь поѣхалъ я, и предъ собою
Увидѣлъ ихъ опять; онѣ все тѣ же,
Все тотъ же ихъ знакомый слуху шорохъ.
Но около корней ихъ устарѣлыхъ,
Гдѣ нѣкогда все было пусто, голо,
Теперь младая роща разрослась;
Зеленая семья кругомъ тѣснится
Подъ сѣнью ихъ, какъ дѣти. А вдали
Стоитъ одинъ угрюмый ихъ товарищъ,

Какъ старый холостякъ, и вкругъ него
Попрежнему все пусто.
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучій, поздній возрастъ,
Когда переростешь моихъ знакомцевъ
И старую главу ихъ заслонишь
Отъ глазъ прохожаго. Но пусть мой внукъ
Услышитъ вашъ привѣтный шумъ, когда,
Съ пріятельской бесѣды возвращаясь,
Веселыхъ и пріятныхъ мыслей полнъ,
Пройдетъ онъ мимо васъ во мракѣ ночи
И обо мнѣ вспомянетъ...
Въ разны годы
Подъ вашу сѣнь, Михайловскія рощи,
Являлся я. Когда вы въ первый разъ
Увидѣли меня, тогда я былъ
Веселымъ юношей. Безпечно, жадно
Я приступалъ лишь только къ жизни. Годы
Промчалися, и вы во мнѣ пріяли
Усталаго пришельца.

Еще разъ, и уже въ послѣдній, передъ смертью, привелось Пушкину побывать въ Михайловскомъ. Въ апрѣлѣ слѣдующаго, 1836 г., онъ пріѣхалъ съ тѣломъ своей умершей матери хоронить ее въ Святогорскомъ монастырѣ. Александръ Сергѣевичъ былъ привязанъ къ матери чрезвычайно. Когда она была больна нѣсколько мѣсяцевъ, въ послѣдній годъ своей жизни, онъ ухаживалъ за ней съ нѣжностью. Очень разстроенный похоронами, онъ, точно предчувствуя и свою собственную, близкую кончину, тогда же купилъ и себѣ могилу подлѣ покойной.

Съ этихъ похоронъ предчувствія близкой смерти уже не оставляютъ Пушкина. Часто молится онъ Богу, и лѣтомъ 1836 года перелагаетъ въ стихи великопостную молитву „Господи и Владыко живота моего“: „Отцы пустынники и жены непорочны“; бродитъ по кладбищамъ и пишетъ стихотвореніе „Когда за городомъ задумчивъ я брожу“. Наступило 19 октября, и по обычаю, лицейскіе товарищи собрались отпраздновать этотъ день основанія Лицея вмѣстѣ. Пришелъ на праздникъ и Пушкинъ, извиняясь, что не успѣлъ окончить къ этому дню стихотворенія. Помолчавъ немного, онъ вынулъ листъ бумаги и началъ:

Была пора: нашъ праздникъ молодой
Сіялъ, шумѣлъ и розами вѣнчался...

Но голосъ его задрожалъ, и слезы показались на глазахъ. Онъ положилъ бумагу на столъ, ушелъ въ уголъ комнаты и сидѣлъ тамъ молча. Одинъ изъ товарищей прочиталъ, вмѣсто него, его послѣднюю лицейскую годовщину.

По временамъ находило на Пушкина страстное желаніе работать; но разсѣянная жизнь въ Петербургѣ, безпрестанные выѣзды съ женой на балы и гости дома — не давали ему нужнаго покоя. Его неудержимо тянетъ въ деревню, и онъ проситъ любимую Тригорскую сосѣдку, старушку П. А. Осипову, присмотрѣть ему недорогую усадьбу гдѣ-нибудь поблизости къ Тригорскому. Зоветъ онъ настоятельно въ деревню и жену, указывая на необходимость, и для работы, и для здоровья, бросить городъ, требующій страшныхъ расходовъ, и обращается къ женѣ съ стихотвореніемъ: „Пора, мой другъ,—покоя сердце проситъ“...

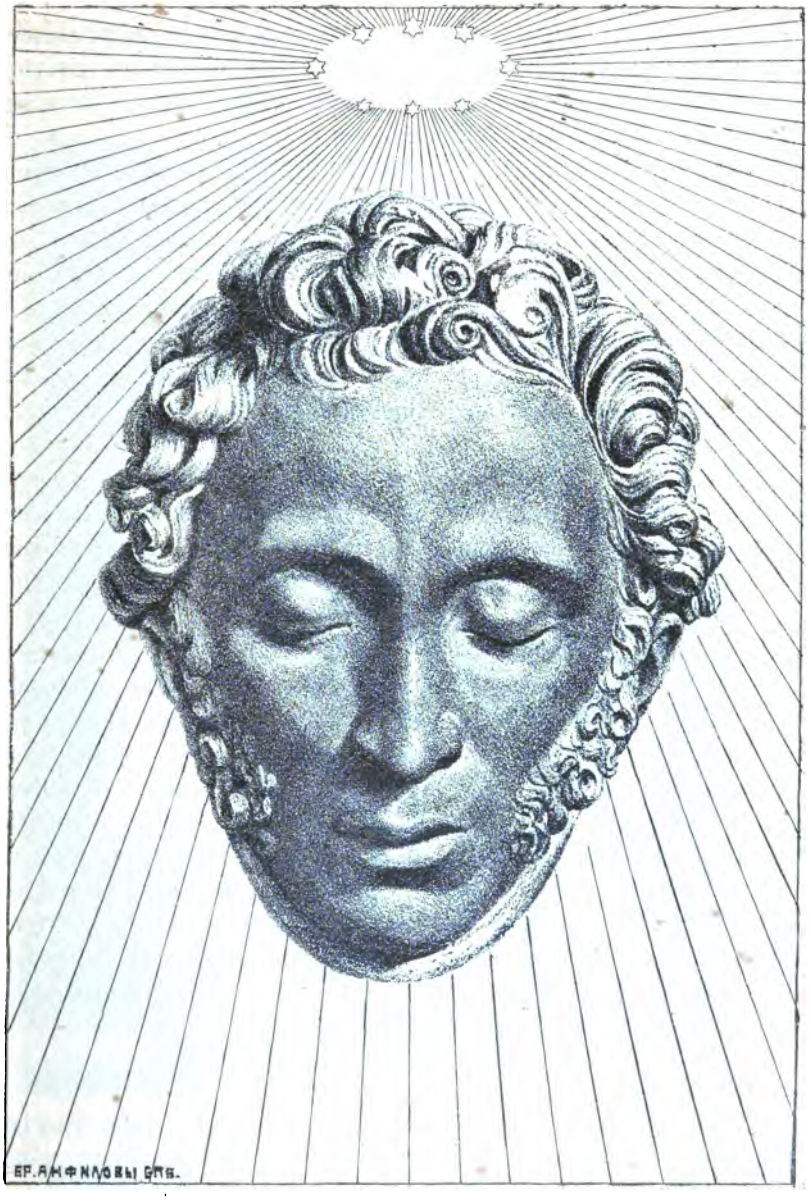
Между тѣмъ, особенное вниманіе къ Пушкину самого государя Николая Павловича, который принималъ въ немъ близкое участіе и даже помогалъ ему деньгами, все болѣе и болѣе увеличивало число завистниковъ и враговъ, и Пушкинъ съ своимъ вспыльчивымъ и нетерпѣливымъ характеромъ, къ тому же еще крайне раздражительный, палъ жертвой злыхъ толковъ, которые уже давно ходили о немъ и еще болѣе отравляли ему жизнь. Презрѣнная клевета, кѣмъ-то пущенная по городу насчетъ горячо любимой имъ жены, раздражила Пушкина, и онъ сказалъ дерзость голландскому посланнику, барону Гекерну, котораго подозрѣвалъ въ сочиненіи этой клеветы. Сынъ Гекерна, молодой офицеръ Дантесъ, вызвалъ Пушкина на дуэль. Поединокъ произошелъ въ Петербургѣ, на пустырѣ между Новой-Деревней и Черной-рѣчкой, 27-го января 1837 года, и Пушкинъ, смертельно раненый, былъ привезенъ въ свою квартиру на Мойкѣ, у Пѣвческаго моста, въ домѣ князя Волконскаго. Государь прислалъ своихъ докторовъ, требуя отъ нихъ спасенія поэта, присылалъ справляться о его здоровьѣ, даже прислалъ съ Жуковскимъ собственноручное письмо... Доктора сдѣлали все, чтобы спасти Александра Сергѣевича, но послѣдніе дни его были сочтены, и въ страшныхъ мученіяхъ, которыя онъ переносилъ съ удивительною твердостью, 29-го января 1837 года Пушкинъ скончался, причастившись Св. Таинъ, нѣжно

простившись съ любимой женой и благословивъ своихъ малолѣтнихъ дѣтей.

Вся Россія была поражена этой неожиданной смертью своего поэта, погибшаго такъ рано, въ полномъ блескѣ великаго таланта. Незнакомые люди всѣхъ званій и состояній толпились въ его квартирѣ, спѣша поклониться дорогому праху. Тѣло стояло въ домѣ два дня, а въ ночь съ 30 на 31 января было перевезено въ придворную конюшенную церковь. 1-го февраля совершилось отпѣваніе, а такъ какъ покойный желалъ быть похороненъ въ Святогорскомъ монастырѣ, то гробъ послѣ отпѣванія поставили въ склепъ церкви, а ночью, въ закрытомъ наглухо ящикѣ, на почтовыхъ, повезли въ Псковскую губернію въ Святогорскій монастырь. За гробомъ поѣхалъ родственникъ поэта, Александръ Ивановичъ Тургеневъ, тотъ самый, который 26 лѣтъ тому назадъ содѣйствовалъ опредѣленію Пушкина въ Лицей.

Но прежде чѣмъ найти покой въ могилѣ, Пушкину пришлось, уже послѣ смерти какъ бы посѣтить еще разъ милое Тригорское, гдѣ его такъ любили, и проѣхать черезъ Михайловское. Въ Тригорскомъ въ это время жила Прасковья Александровна Осипова уже только съ одной старшей дочерью отъ перваго брака, Анной Николаевной Вульфъ, и двумя младшими, отъ второго брака, Маріей и Екатериной Ивановнами, также любимицами Пушкина. Маріи Ивановнѣ, умершей не такъ давно, было тогда, въ 1837 г., лѣтъ восемнадцать, а Екатеринѣ Ивановнѣ — тринадцать. Екатерина Ивановна, нынѣ вдова Фокъ, семидесятипятилѣтняя почтенная старушка, и по сейчасъ живетъ верстахъ въ пяти отъ Тригорскаго, въ своемъ имѣніи Лысая-Гора. Она въ настоящее время единственная изъ оставшихся въ живыхъ обитательницъ Тригорскаго и отлично помнитъ Александра Сергѣевича. Вотъ, что разсказала она намъ въ іюлѣ 1898 года о провозѣ тѣла и погребеніи Пушкина:

— „Когда произошла эта несчастная дуэль, — говорила намъ Екатерина Ивановна,—я съ матушкой и сестрой Машей была въ Тригорскомъ, а старшая сестра Анна въ Петербургѣ. О дуэли мы уже слышали, но ничего путемъ не знали, даже, кажется, не знали и о смерти. Въ ту зиму морозы стояли страшные. Такой же морозъ былъ и 5 февраля 1837 года. Матушкѣ нездоровилось, и послѣ обѣда, часу въ третьемъ, она прилегла отдохнуть. Вдругъ



Гипсовый снимокъ
съ лица А. С. Пушкина въ день его смерти
29 января 1837 г.

видимъ въ окно: ѣдетъ къ намъ возокъ съ какими-то двумя людьми, а за нимъ длинныя сани съ ямщикомъ. Мы разбудили матушку и вышли на встрѣчу гостямъ: видимъ, старый нашъ знакомый Александръ Ивановичъ Тургеневъ. Онъ разсказалъ матушкѣ, что пріѣхали они (онъ и полицейскій офицеръ) съ тѣломъ Пушкина, но, не зная хорошенько дороги въ монастырь и перезябши вмѣстѣ съ везшимъ гробъ ямщикомъ, пріѣхали къ намъ. Какой вѣдь странный случай! Точно Александръ Сергѣевичъ не могъ лечь въ могилу безъ того, чтобы не проститься съ Тригорскимъ и съ нами! Матушка оставила гостей ночевать, а тѣло распорядилась везти теперь же въ Святыя-Горы вмѣстѣ съ мужиками изъ Тригорскаго и Михайловскаго, которыхъ отрядили копать могилу.

„Но копать ее не пришлось: земля вся промерзла — ломомъ пробивали ледъ, чтобы дать мѣсто ящику съ гробомъ, который потомъ и закидали снѣгомъ. Наутро, чѣмъ свѣтъ, поѣхали наши гости хоронить Пушкина, а съ ними и мы обѣ — сестра Маша и я, чтобы, какъ говорила матушка, присутствовалъ при погребеніи хоть кто-нибудь изъ близкихъ. Рано утромъ внесли ящикъ въ церковь, и послѣ заупокойной обѣдни всѣмъ монастырскимъ клиромъ съ настоятелемъ, архимандритомъ, столѣтнимъ старикомъ Геннадіемъ во главѣ, похоронили Александра Сергѣевича въ присутствіи Тургенева и насъ двухъ барышень. Уже весной, когда стало таять, распорядился Геннадій вынуть ящикъ и закопать его въ землю уже окончательно. Склепъ и все прочее устраивала моя мать, столь любившая Пушкина, Прасковья Александровна“...

Долго надъ могилой великаго нашего поэта стоялъ убогій черный крестъ съ однословною надписью: „Пушкинъ“. Впослѣдствіи былъ поставленъ женою поэта скромный мраморный памятникъ, который стоитъ и до сихъ поръ: на немъ — имя, отчество, фамилія, годъ рожденія и смерти...

Когда прошло со смерти Пушкина сорокъ три года, 6-го іюня 1880 года, въ Москвѣ, при громадномъ стеченіи народа, торжественно былъ открытъ на Тверскомъ бульварѣ, противъ Страстного монастыря, Пушкину памятникъ, сооруженный по всероссійской подпискѣ.

Викторъ Острогорскій.

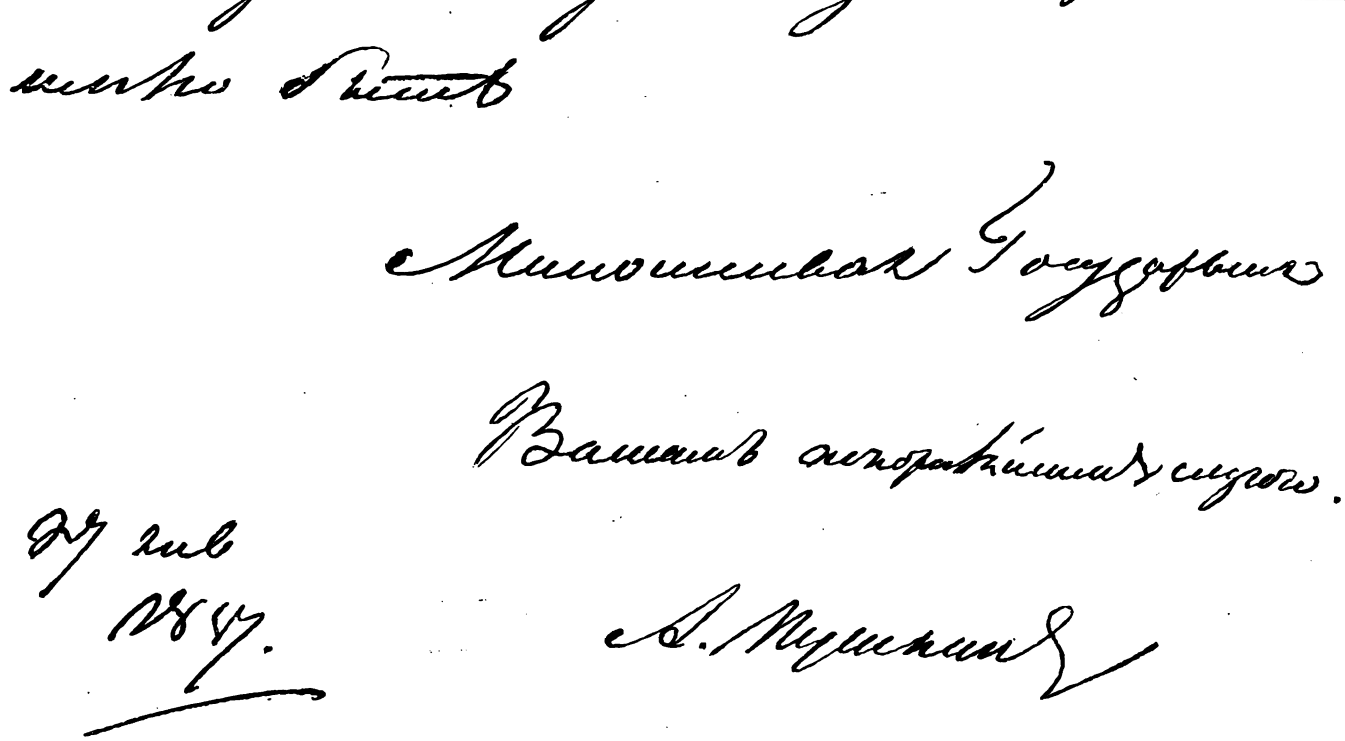
Рис. Г. Кондратенко.

Могила А. С. Пушкина въ Святогорскомъ монастырѣ.

ПАМЯТНИКЪ
Александру Сергѣевичу Пушкину
въ Москвѣ.

A Bywater

ФАКСИМИЛЕ



Письмо А. С. Пушкина къ А. О. Ишимовой.

Отдѣлъ первый.

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ.

Отдѣлъ первый.

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ.

СКАЗОЧНАЯ РУСЬ.

Въ стародавнія времена, лѣтъ за тысячу до насъ, глухая и темная была сторона Русь. Люди, населявшіе ее и разбросанные малыми кучками на громадныхъ пространствахъ среди дремучихъ лѣсовъ, были язычники и боялись природы, и грозъ, и бурь, и волнъ морскихъ, и дикихъ звѣрей, и справляться съ этой природой не умѣли. Поклонялись они не единому Богу, а многимъ богамъ; боялись больше всего бога грома—Перуна. Всякую рѣку представляли они себѣ въ видѣ бога, и вѣрили, что живутъ въ водахъ русалки съ зелеными волосами, водяныя дѣвы, заманивающія къ себѣ въ холодную глубь водъ бѣдныхъ путниковъ. Всякое звѣрьё, и котъ, и медвѣдь, и пѣтухъ, и синичка, казалось имъ, думаетъ и чувствуетъ, какъ человѣкъ. Всего-то боялись темные люди и всему кланялись. Самыми умными людьми считали они колдуновъ-кудесниковъ, да знахарей, которые, будто бы, могли подчинить себѣ и самую природу. Отъ этихъ-то стародавнихъ временъ и дошли до насъ разсказы, сказки и пѣсни—о богатырѣ Русланѣ, колдунѣ Черноморѣ, царѣ Салтанѣ, чудной Золотой рыбкѣ, Мертвой царевнѣ и русалкахъ. Пѣли ихъ на древнихъ свадьбахъ и пирахъ особые пѣвцы-баяны,—а теперь разсказываютъ ихъ дѣтямъ няни.

Память объ этихъ стародавнихъ языческихъ временахъ сохранилась и до сихъ поръ въ гаданьяхъ дѣвушекъ на святкахъ.

Нашъ великій поэтъ воспользовался многими изъ этихъ преданій и воспроизвелъ ихъ въ своихъ безсмертныхъ произведеніяхъ. — **В. О.**

I.

ИЗЪ ПОЭМЫ

РУСЛАНЪ и ЛЮДМИЛА.

(1817—20 гг.)

У лукоморья дубъ зеленый,
Златая цѣпь на дубѣ томъ:
И днемъ, и ночью котъ ученый
Все ходитъ по цѣпи кругомъ;
Идетъ направо—пѣснь заводитъ,
Налѣво—сказку говоритъ.
Тамъ чудеса: тамъ лѣшій бродитъ,
Русалка на вѣтвяхъ сидитъ;
Тамъ на невѣдомыхъ дорожкахъ
Слѣды невиданныхъ звѣрей;
Избушка тамъ на курьихъ ножкахъ
Стоитъ безъ оконъ безъ дверей;
Тамъ лѣсъ и долъ видѣній полны;
Тамъ о зарѣ прихлынутъ волны
На брегъ песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасныхъ
Чредой изъ водъ выходятъ ясныхъ,
И съ ними дядька ихъ морской;
Тамъ королевичъ мимоходомъ
Плѣняетъ грознаго царя;
Тамъ въ облакахъ, передъ народомъ,
Черезъ лѣса, черезъ моря,
Колдунъ несетъ богатыря;

Въ темницѣ тамъ царевна тужитъ,
А бурый волкъ ей вѣрно служитъ;
Тамъ ступа съ Бабою-Ягой
Идетъ-бредетъ сама собой;
Тамъ царь Кощей надъ златомъ чахнетъ;
Тамъ русскій духъ... тамъ Русью пахнетъ;
И тамъ я былъ, и медъ я пилъ,
У моря видѣлъ дубъ зеленый,
Подъ нимъ сидѣлъ, и котъ ученый
Свои мнѣ сказки говорилъ.
Одну я помню—сказку эту
Повѣдаю теперь я свѣту...

Дѣла давно минувшихъ дней,
Преданья старины глубокой!..

Въ толпѣ могучихъ сыновей,
Съ друзьями, въ гридницѣ [1]) высокой
Владиміръ-солнце пировалъ;
Меньшую дочь онъ выдавалъ
За князя храбраго, Руслана,
И медъ изъ тяжкаго стакана
За ихъ здоровье выпивалъ.
Не скоро ѣли предки наши,
Не скоро двигались кругомъ
Ковши, серебряныя чаши
Съ кипящимъ пивомъ и виномъ.
Они веселье въ сердце лили,
Шипѣла пѣна по краямъ,
Ихъ важно чашники носили
И низко кланялись гостямъ.
Слилися рѣчи въ шумъ невнятный;
Жужжитъ гостей веселый кругъ;
Но вдругъ раздался гласъ пріятный

---

[1]) Гридница—княжеская комната.

И звонкихъ гуслей бѣглый звукъ.
Всѣ смолкли, слушаютъ баяна:
И славитъ сладостный пѣвецъ
Людмилу-прелесть и Руслана,
И Лелемъ [1]) свитый имъ вѣнецъ...

Въ уныньи, съ пасмурнымъ челомъ,
За шумнымъ свадебнымъ столомъ
Сидятъ три витязя младые;
Безмолвны, за ковшомъ пустымъ,
Забыли кубки круговые,
И брашна [2]) непріятны имъ;
Не слышатъ вѣщаго баяна,
Потупили смущенный взглядъ —
То три соперника Руслана:
Въ душѣ несчастные таятъ
Любви и ненависти ядъ.
Одинъ—Рогдай, воитель смѣлый,
Мечемъ раздвинувшій предѣлы
Богатыхъ кіевскихъ полей;
Другой—Фарлафъ, крикунъ надменный,
Въ пирахъ никѣмъ не побѣжденный,
Но воинъ скромный средь мечей;
Послѣдній, полный страстной думы,
Младой хазарскій ханъ Ратмиръ.
Всѣ трое блѣдны и угрюмы,
И пиръ веселый имъ не въ пиръ.

Вотъ конченъ онъ; встаютъ рядами,
Смѣшались шумными толпами,
И всѣ глядятъ на молодыхъ:
Невѣста очи опустила,
Какъ будто сердцемъ пріуныла,
И свѣтелъ радостный женихъ.

---

[1]) Лель—славянскій языческій богъ радости, весны и сновъ.
[2]) Брашна—кушанья.

Но тѣнь объемлетъ всю природу,
Ужъ близко къ полночи глухой...
Вдругъ
Громъ грянулъ, свѣтъ блеснулъ въ туманѣ,
Лампада гаснетъ, дымъ бѣжитъ,
Кругомъ все смерклось, все дрожитъ,
И замерла душа въ Русланѣ...
Все смолкло. Въ грозной тишинѣ
Раздался дважды голосъ странный,
И кто-то въ дымной глубинѣ
Взвился чернѣе мглы туманной...
И снова теремъ пустъ и тихъ.
Встаетъ испуганный женихъ;
Съ лица катится потъ остылый;
Трепеща, хладною рукой
Онъ вопрошаетъ мракъ нѣмой...
О горе! нѣтъ подруги милой!
Хватаетъ воздухъ онъ пустой —
Людмилы нѣтъ во тьмѣ густой,
Похищена безвѣстной силой!..
Но что сказалъ великій князь?
Сраженный вдругъ молвой ужасной,
На зятя гнѣвомъ распалясь,
Его и дворъ онъ созываетъ:
„Гдѣ, гдѣ Людмила?“ — вопрошаетъ
Съ ужаснымъ, пламеннымъ челомъ.
Русланъ не слышитъ. — „Дѣти, други!
Я помню прежнія заслуги:
О, сжальтесь вы надъ старикомъ!
Скажите, кто изъ васъ согласенъ
Скакать за дочерью моей?
Чей подвигъ будетъ не напрасенъ.
Тому — терзайся, плачь, злодѣй!
Не могъ сберечь жены своей! —
Тому я дамъ ее въ супруги
Съ полцарствомъ прадѣдовъ моихъ
Кто-жъ вызовется, дѣти, други?“...
— Я! — молвилъ горестный женихъ.

„Я! я!“—воскликнули съ Рогдаемъ
Фарлафъ и радостный Ратмиръ:
„Сейчасъ коней своихъ сѣдлаемъ,
Мы рады весь изъѣздить міръ;
Отецъ нашъ, не продлимъ разлуки;
Не бойся, ѣдемъ за княжной!“
И съ благодарностью нѣмой
Въ слезахъ къ нимъ простираетъ руки
Старикъ, измученный тоской.
Всѣ четверо выходятъ вмѣстѣ,
Русланъ унынъемъ какъ убитъ,
Мысль о потерянной невѣстѣ
Его терзаетъ и мертвитъ.
Садятся на коней ретивыхъ;
Вдоль береговъ Днѣпра счастливыхъ
Летятъ въ клубящейся пыли;
Уже скрываются вдали;
Ужъ всадниковъ не видно болѣ...
Но долго все еще глядитъ
Великій князь въ пустое поле
И думой имъ вослѣдъ летитъ...

Соперники одной дорогой
Всѣ вмѣстѣ ѣдутъ цѣлый день.
Днѣпра сталъ теменъ брегъ отлогій;
Съ востока льется ночи тѣнь;
Туманы надъ Днѣпромъ глубокимъ;
Пора конямъ ихъ отдохнуть.
Вотъ подъ горой путемъ широкимъ
Широкій пересѣкся путь.
„Разъѣдемся, пора!“—сказали,—
„Безвѣстной ввѣримся судьбѣ.“
И каждый конь, не чуя стали,
По волѣ путь избралъ себѣ.

Что дѣлаешь, Русланъ несчастный,
Одинъ въ пустынной тишинѣ?
Людмилу, свадьбы день ужасный,

Все, мнится, видѣлъ ты во снѣ!
На брови мѣдный шлемъ надвинувъ,
Изъ мощныхъ рукъ узду покинувъ,
Ты шагомъ ѣдешь межъ полей,
И медленно въ душѣ твоей
Надежда гибнетъ, гаснетъ вѣра.

Но вдругъ предъ витяземъ пещера;
Въ пещерѣ свѣтъ... Онъ прямо къ ней
Идетъ подъ дремлющіе своды,
Ровесники самой природы.
Вошелъ съ уныньемъ; что же зритъ?
Въ пещерѣ старецъ: ясный видъ,
Спокойный взоръ, брада сѣдая;
Лампада передъ нимъ горитъ;
За древней книгой онъ сидитъ,
Ее внимательно читая.
„Добро пожаловать, мой сынъ!“
Сказалъ съ улыбкой онъ Руслану:
„Ужъ двадцать лѣтъ я здѣсь одинъ
Во мракѣ старой жизни вяну;
Но наконецъ дождался дня,
Давно предвидѣннаго мною.
Мы вмѣстѣ сведены судьбою;
Садись и выслушай меня.
Русланъ, лишился ты Людмилы;
Твой твердый духъ теряетъ силы;
Но зла промчится быстрый мигъ:
На время рокъ тебя постигъ.
Съ надеждой, вѣрою веселой
Иди на все, не унывай!
Впередъ! мечемъ и грудью смѣлой
Свой путь на полночь пробивай.

„Узнай, Русланъ, твой оскорбитель —
Волшебникъ, страшный Черноморъ,
Красавицъ давній похититель,
Полнощныхъ обладатель горъ.

Еще ничей въ его обитель
Не проникалъ донынѣ взоръ;
Но ты, злыхъ козней истребитель,
Въ нее ты вступишь, и злодѣй
Погибнетъ отъ руки твоей!
Тебѣ сказать не долженъ болѣ.
Судьба твоихъ грядущихъ дней,
Мой сынъ, въ твоей отнынѣ волѣ...
Но, добрый витязь, день проходитъ.
А нуженъ для тебя покой...“

Русланъ на мягкій мохъ ложится
Предъ умирающимъ огнемъ;
Онъ ищетъ позабыться сномъ,
Вздыхаетъ, медленно вертится...
Напрасно! Витязь наконецъ:
„Не спится что-то, мой отецъ!
Что дѣлать! боленъ я душою,
И сонъ не въ сонъ, какъ тошно жить!
Позволь мнѣ сердце освѣжить
Твоей бесѣдою святою.
Прости мнѣ дерзостный вопросъ,
Откройся! кто ты, благодатный,
Судьбы наперсникъ непонятный?
Въ пустыню кто тебя занесъ?“

Вздохнувъ съ улыбкою печальной,
Старикъ въ отвѣтъ: „Любезный сынъ,
Ужъ я забылъ отчизны дальной
Угрюмый край. Природный Финнъ,
Въ долинахъ, намъ однимъ извѣстныхъ,
Гоняя стадо селъ окрестныхъ,
Въ безпечной юности я зналъ
Однѣ дремучія дубравы,
Ручьи, пещеры нашихъ скалъ,
Да дикой бѣдности забавы.
Но жить въ отрадной тишинѣ
Дано не долго было мнѣ.

„Тогда близъ нашего селенья,
Какъ милый цвѣтъ уединенья,
Жила Наина. Межъ подругъ
Она гремѣла красотою.
Однажды, утренней порою,
Свои стада на темный лугъ
Я гналъ, волынку надувая;
Передо мной шумѣлъ потокъ.
Одна красавица младая
На берегу плела вѣнокъ.
Меня влекла моя судьбина...

„Ахъ, витязь, то была Наина!...
Но слушай: въ родинѣ моей,
Между пустынныхъ рыбарей,
Наука дивная таится.
Подъ кровомъ вѣчной тишины,
Среди лѣсовъ, въ глуши далекой,
Живутъ сѣдые колдуны;
Къ предметамъ мудрости высокой
Всѣ мысли ихъ устремлены;
Все слышитъ голосъ ихъ ужасный,
Что было и что будетъ вновь,
И грозной волѣ ихъ подвластны
И гробъ, и самая любовь.

„И я, любви искатель жадный,
Рѣшился въ грусти безотрадной
Наину чарами привлечь,
И въ гордомъ сердцѣ дѣвы хладной
Любовь волшебствами зажечь.
Спѣшилъ въ объятія свободы,
Въ уединенный мракъ лѣсовъ;
И тамъ, въ ученьи колдуновъ,
Провелъ невидимые годы.
Насталъ давно желанный мигъ,
И тайну страшную природы
Я свѣтлой мыслію постигъ:

Узналъ я силу заклинаньямъ;
Вѣнецъ любви, вѣнецъ желаньямъ!....

„Въ мечтахъ надежды молодой,
Въ восторгѣ пылкаго желанья,
Творю поспѣшно заклинанья,
Зову духовъ—и въ тьмѣ лѣсной
Стрѣла промчалась громовая,
Волшебный вихорь поднялъ вой,
Земля вздрогнула подъ ногой...
И вдругъ сидитъ передо мной
Старушка дряхлая, сѣдая,
Глазами впалыми сверкая,
Съ горбомъ, съ трясучей головой,—
Печальной ветхости картина.
Ахъ, витязь, то была Наина!...
Я ужаснулся и молчалъ,
Глазами страшный призракъ мѣрилъ,
Въ сомнѣньи все еще не вѣрилъ,
И вдругъ заплакалъ, закричалъ:
—Возможно-ль! ахъ, Наина, ты ли!
Наина, гдѣ твоя краса?
Скажи, ужели небеса
Тебя такъ страшно измѣнили?
Скажи, давно-ль, оставя свѣтъ,
Разстался я съ душой и съ милой?
Давно ли?..—„Ровно сорокъ лѣтъ!“
Былъ дѣвы роковой отвѣтъ;
„Сегодня семьдесятъ мнѣ било.
Что дѣлать!—мнѣ пищитъ она:—
Толпою годы пролетѣли,
Прошла моя, твоя весна—
Мы оба постарѣть успѣли.
Но, другъ, послушай: не бѣда
Невѣрной младости утрата.
Конечно, я теперь сѣда,
Немножко, можетъ быть, горбата,
Не то, что встарину была,

Не такъ жива, не такъ мила;
Зато [прибавила болтунья]
Открою тайну: я—колдунья!“

„И было въ самомъ дѣлѣ такъ.
Нѣмой, недвижный передъ нею,
Я совершенный былъ дуракъ
Со всей премудростью моею“...

Друзья мои, а наша дѣва?
Несчастная! когда злодѣй,
Рукою мощною своей
Тебя сорвавъ съ постели брачной,
Взвился какъ вихорь къ облакамъ
Сквозь тяжкій дымъ и воздухъ мрачный,
И вдругъ умчалъ къ своимъ горамъ—
Ты чувствъ и памяти лишилась,
И въ страшномъ замкѣ колдуна,
Безмолвна, трепетна, блѣдна,
Въ одно мгновенье очутилась...

До утра юная княжна
Лежала, тягостнымъ забвеньемъ,
Какъ будто страшнымъ сновидѣньемъ,
Объята; наконецъ, она
Очнулась.....
Глядитъ съ боязнію вокругъ...
Людмила, гдѣ твоя свѣтлица?
Лежитъ несчастная дѣвица
Среди подушекъ пуховыхъ,
Подъ гордой сѣнью балдахина;
Завѣсы, пышная перина
Въ кистяхъ, въ узорахъ дорогихъ;
Повсюду ткани парчевыя;
Играютъ яхонты, какъ жаръ;
Кругомъ курильницы златыя
Подъемлютъ ароматный паръ....

Три дѣвы красоты чудесной,
Въ одеждѣ легкой и прелестной,
Княжнѣ явились, подошли
И поклонились до земли.
Тогда неслышными шагами
Одна поближе подошла.
Княжнѣ воздушными перстами
Златую косу заплела
Съ искусствомъ, въ наши дни не новымъ,
И обвила вѣнцомъ перловымъ
Окружность блѣднаго чела.
За нею, скромно взоръ склоняя,
Потомъ приблизилась другая—
Лазурный, пышный сарафанъ
Одѣлъ Людмилы стройный станъ;
Покрылись кудри золотыя,
И грудь, и плечи молодыя
Фатой, прозрачной какъ туманъ....
Княжнѣ послѣдняя дѣвица
Жемчужный поясъ подаетъ;
Межъ тѣмъ незримая пѣвица
Веселы пѣсни ей поетъ.
Увы, ни камни ожерелья,
Ни сарафанъ, ни перловъ рядъ,
Ни пѣсни лести и веселья
Ея души не веселятъ;
Напрасно зеркало рисуетъ
Ея красы, ея нарядъ,—
Потупя неподвижный взглядъ,
Она молчитъ, она тоскуетъ....

Но вотъ, Людмила вновь одна.
Не зная, что начать, она
Къ окну рѣшетчату подходитъ,
И взоръ ея печально бродитъ
Въ пространствѣ пасмурной дали.
Все мертво. Снѣжныя равнины
Коврами яркими легли;

Стоятъ угрюмыхъ горъ вершины
Въ однообразной бѣлизнѣ,
И дремлютъ въ вѣчной тишинѣ;
Кругомъ не видно дымной кровли,
Не видно путника въ снѣгахъ,
И звонкій рогъ веселой ловли
Въ пустынныхъ не трубитъ горахъ;
Лишь изрѣдка съ унылымъ свистомъ
Бунтуетъ вихорь въ полѣ чистомъ
И на краю сѣдыхъ небесъ
Качаетъ обнаженный лѣсъ.

Въ слезахъ отчаянья, Людмила
Отъ ужаса лицо закрыла.
Увы, что ждетъ ее теперь?
Бѣжитъ въ серебряную дверь;
Она съ музы́кой отворилась,
И наша дѣва очутилась
Въ саду...
Предъ нею зыблются, шумятъ
Великолѣпныя дубровы;
Аллеи пальмъ и лѣсъ лавровый,
И благовонныхъ миртовъ рядъ,
И кедровъ гордыя вершины,
И золотые апельсины
Зерцаломъ водъ отражены;
Пригорки, рощи, и долины
Весны огнемъ оживлены;
Съ прохладой вьется вѣтеръ майскій
Средь очарованныхъ полей,
И свищетъ соловей китайскій
Во мракѣ трепетныхъ вѣтвей;
Летятъ алмазные фонтаны
Съ веселымъ шумомъ къ облакамъ....
Подъ ними блещутъ истуканы;
Дробясь о мраморны преграды,
Жемчужной, огненной дугой
Валятся, плещутъ водопады;

И ручейки въ тѣни лѣсной
Чуть вьются сонною волной.
Пріютъ покоя и прохлады,
Сквозь вѣчну зелень, здѣсь и тамъ,
Мелькаютъ свѣтлыя бесѣдки;
Повсюду розъ живыя вѣтки
Цвѣтутъ и дышутъ по тропамъ....
Моя прекрасная Людмила,
По солнцу бѣгая съ утра,
Устала, слезы осушила,
Въ душѣ подумала:—пора!
На травку сѣла, оглянулась—
И вдругъ надъ нею сѣнь шатра,
Шумя, съ прохладой развернулась;
Обѣдъ роскошный передъ ней;
Приборъ изъ яркаго кристалла;
И въ тишинѣ изъ-за вѣтвей
Незрима арфа заиграла.
Дивится плѣнная княжна,
Но втайнѣ думаетъ она:
„Вдали отъ милаго, въ неволѣ,
Зачѣмъ мнѣ жить на свѣтѣ болѣ!
Мнѣ не страшна злодѣя власть:
Людмила умереть умѣетъ!
Не нужно мнѣ твоихъ шатровъ,
Ни скучныхъ пѣсенъ, ни пировъ—
Не стану ѣсть, не буду слушать,
Умру среди твоихъ садовъ!“
Подумала—и стала кушать.

Княжна встаетъ, и вмигъ шатеръ,
И пышной роскоши приборъ,
И звуки арфы... все пропало,
Попрежнему все тихо стало;
Людмила вновь одна въ садахъ
Скитается изъ рощи въ рощи;
Межъ тѣмъ въ лазурныхъ небесахъ
Плыветъ луна, царица нощи;

Находитъ мгла со всѣхъ сторонъ
И тихо на холмахъ почила;
Княжну невольно клонитъ сонъ,—
И вдругъ невѣдомая сила
Нѣжнѣй, чѣмъ вешній вѣтерокъ,
Ее на воздухъ поднимаетъ,
Несетъ по воздуху въ чертогъ
И осторожно опускаетъ
Сквозь ѳиміамъ [1]) вечернихъ розъ
На ложе грусти, ложе слезъ.
Три дѣвы вмигъ опять явились
И вкругъ нея засуетились,
Что бъ на ночь пышный снять уборъ.....
Со вздохомъ дѣвы поклонились,
Скорѣй какъ можно удалились
И тихо притворили дверь.
Что жъ наша плѣнница теперь?
Дрожитъ, какъ листъ, дохнуть не смѣетъ....
Не спитъ, удвоила вниманье,
Недвижно въ темноту глядитъ...
Все мрачно, мертвое молчанье!
Лишь сердца слышитъ трепетанье...
И мнится... шепчетъ тишина;
Идутъ—идутъ къ ея постели;
Въ подушки прячется княжна,
И вдругъ... о страхъ!.. и въ самомъ дѣлѣ
Раздался шумъ; озарена
Мгновеннымъ блескомъ тьма ночная,
Мгновенно дверь отворена...
Безмолвно, гордо выступая,
Нагими саблями сверкая,
Араповъ длинный рядъ идетъ
Попарно, чинно, сколь возможно,
И на подушкахъ осторожно
Сѣдую бороду несетъ;

---

[1]) Ѳиміамъ—ароматъ, запахъ.

И входитъ съ важностью за нею,
Подъявъ величественно шею,
Горбатый карликъ изъ дверей:
Его-то головѣ обритой,
Высокимъ колпакомъ покрытой,
Принадлежала борода.
Ужъ онъ приблизился; тогда
Княжна съ постели соскочила,
Сѣдого карлу за колпакъ
Рукою быстро ухватила,
Дрожащій занесла кулакъ,
И въ страхѣ завизжала такъ,
Что всѣхъ араповъ оглушила.
Трепеща, скорчился бѣднякъ,
Княжны испуганной блѣднѣе;
Зажавши уши, поскорѣе
Хотѣлъ бѣжать, но въ бородѣ
Запутался, упалъ и бьется;
Встаетъ, упалъ; въ такой бѣдѣ
Араповъ черный рой мятется;
Шумятъ, толкаются, бѣгутъ,
Хватаютъ колдуна въ охапку
И вонъ распутывать несутъ,
Оставя у Людмилы шапку...

Ужъ утро хладное сіяло
На темени полнощныхъ горъ;
Но въ дивномъ замкѣ все молчало.
Въ досадѣ скрытой, Черноморъ,
Безъ шапки, въ утреннемъ халатѣ,
Зѣвалъ сердито на кровати;
Вокругъ брады его сѣдой
Рабы толпились молчаливы,
И нѣжно гребень костяной
Расчесывалъ ея извивы.
Межъ тѣмъ, для пользы и красы,
На безконечные усы
Лились восточны ароматы,

И кудри хитрыя вились;
Какъ вдругъ, откуда ни возьмись,
Въ окно влетаетъ змій крылатый:
Гремя желѣзной чешуей,
Онъ въ кольца быстрыя согнулся
И вдругъ Наиной обернулся
Предъ изумленною толпой.
„Привѣтствую тебя“, — сказала: —
„Собратъ, издавна чтимый мной!
Досель я Черномора знала
Одною громкою молвой;
Но тайный рокъ соединяетъ
Теперь насъ общею враждой:
Тебѣ опасность угрожаетъ,
Нависла туча надъ тобой;
И голосъ оскорбленной чести
Меня къ отмщенію зоветъ.“

Со взоромъ, полнымъ хитрой лести,
Ей карла руку подаетъ,
Вѣщая: „Дивная Наина!
Мнѣ драгоцѣненъ твой союзъ.
Мы посрамимъ коварство Финна;
Но мрачныхъ козней не боюсь:
Противникъ слабый мнѣ не страшенъ;
Узнай чудесный жребій мой:
Сей благодатной бородой
Не даромъ Черноморъ украшенъ.
Доколь власовъ ея сѣдыхъ
Враждебный мечъ не перерубитъ,
Никто изъ витязей лихихъ,
Никто изъ смертныхъ не погубитъ
Малѣйшихъ замысловъ моихъ;
Моею будетъ вѣкъ Людмила,
Русланъ же гробу обреченъ!“
И мрачно вѣдьма повторила:
„Погибнетъ онъ! погибнетъ онъ!“
Потомъ три раза прошипѣла,

Три раза топнула ногой
И чернымъ зміемъ улетѣла.

Блистая въ ризѣ парчевой,
Колдунъ, колдуньей ободренный,
Развеселясь, рѣшился вновь
Нести къ ногамъ дѣвицы плѣнной
Усы, покорность и любовь.
Разряженъ карликъ бородатый,
Опять идетъ въ ея палаты;
Проходитъ длинный комнатъ рядъ:
Княжны въ нихъ нѣтъ. Онъ далѣ—въ садъ,
Въ лавровый лѣсъ къ рѣшеткѣ сада,
Вдоль озера, вкругъ водопада,
Подъ мостики, въ бесѣдки... нѣтъ!
Княжна ушла, пропалъ и слѣдъ!
Кто выразитъ его смущенье,
И ревъ, и трепетъ изступленья?
Съ досады дня не взвидѣлъ онъ.
Раздался карлы дикій стонъ:
„Сюда, невольники, бѣгите!
Сюда! надѣюсь я на васъ!
Сейчасъ Людмилу мнѣ сыщите!
Скорѣе, слышите-ль? сейчасъ!
Не то—шутите вы со мною—
Всѣхъ удавлю васъ бородою!“...

Навстрѣчу утреннимъ лучамъ
Постель оставила Людмила
И взоръ невольный обратила
Къ высокимъ, чистымъ зеркаламъ;
Невольно кудри золотыя
Съ лилейныхъ плечъ приподняла;
Невольно волосы густые
Рукой небрежной заплела;
Свои вчерашніе наряды
Нечаянно въ углу нашла;
Вздохнувъ, одѣлась, и съ досады

Тихоньво плакать начала;
Однако съ вѣрнаго стекла,
Вздыхая, не сводила взора,
И дѣвицѣ пришло на умъ,
Въ волненьи своенравныхъ думъ,
Примѣрить шапку Черномора.
Все тихо, никого здѣсь нѣтъ,
Никто на дѣвушку не взглянетъ...
А дѣвушкѣ въ семнадцать лѣтъ
Какая шапка не пристанетъ!
Рядиться никогда не лѣнь!
Людмила шапкой завертѣла;
На брови, прямо, на бекрень.
И задомъ напередъ надѣла.
И что-жъ? О, чудо старыхъ дней!
Людмила въ зеркалѣ пропала;
Перевернула—передъ ней
Людмила прежняя предстала;
Назадъ надѣла—снова нѣтъ;
Сняла—и въ зеркалѣ!—„Прекрасно!
Добро, колдунъ! добро, мой свѣтъ!
Теперь мнѣ здѣсь ужъ безопасно;
Теперь избавлюсь отъ хлопотъ!“
И шапку стараго злодѣя,
Княжна, отъ радости краснѣя,
Надѣла задомъ напередъ.

Но возвратимся же къ герою...
Проѣхалъ онъ дремучій лѣсъ;
Предъ нимъ открылся долъ широкій
При блескѣ утреннихъ небесъ.
Трепещетъ витязь поневолѣ:
Онъ видитъ старой битвы поле.
Вдали все пусто; здѣсь и тамъ
Желтѣютъ кости; по холмамъ
Разбросаны колчаны, латы:
Гдѣ сбруя, гдѣ заржавый щитъ,
Въ костяхъ руки здѣсь мечъ лежитъ,

Травой обросъ тамъ шлемъ косматый,
И старый черепъ тлѣетъ въ немъ;
Богатыря тамъ остовъ цѣлый
Съ его поверженнымъ конемъ
Лежитъ недвижный; копья, стрѣлы
Въ сырую землю вонзены,
И мирный плющъ ихъ обвиваетъ..
Ничто безмолвной тишины
Пустыни сей не возмущаетъ,
И солнце съ ясной вышины
Долину смерти озаряетъ.

Со вздохомъ витязь вкругъ себя
Взираетъ грустными очами.
„О, поле, поле! кто тебя
Усѣялъ мертвыми костями?
Чей борзый конь тебя топталъ
Въ послѣдній часъ кровавой битвы?
Кто на тебѣ со славой палъ?
Чьи небо слышало молитвы?
Зачѣмъ же, поле, смолкло ты
И поросло травой забвенья?...
Временъ отъ вѣчной темноты,
Быть можетъ, нѣтъ и мнѣ спасенья!
Быть можетъ, на холмѣ нѣмомъ
Поставятъ тихій гробъ Руслановъ,
И струны громкія баяновъ
Не будутъ говорить о немъ!“

Но вскорѣ вспомнилъ витязь мой,
Что добрый мечъ герою нуженъ
И даже панцырь: а герой
Съ послѣдней битвы безоруженъ.
Обходитъ поле онъ вокругъ:
Въ кустахъ, среди костей забвенныхъ,
Въ громадѣ тлѣющихъ кольчугъ,
Мечей и шлемовъ раздробленныхъ
Себѣ доспѣховъ ищетъ онъ.

Проснулись гулъ и степь нѣмая,
Поднялся въ полѣ трескъ и звонъ;
Онъ поднялъ щитъ, не выбирая,
Нашелъ и шлемъ, и звонкій рогъ,
Но лишь меча сыскать не могъ.
Долину брани объѣзжая,
Онъ видитъ множество мечей,
Но всѣ легки, да слишкомъ малы,
А князь красавецъ былъ не вялый, —
Не то, что витязь нашихъ дней.
Чтобъ чѣмъ-нибудь играть отъ скуки,
Копье стальное взялъ онъ въ руки,
Кольчугу онъ надѣлъ на грудь
И далѣе пустился въ путь

Ужъ поблѣднѣлъ закатъ румяный,
Надъ усыпленною землей
Дымятся синіе туманы,
И всходитъ мѣсяцъ золотой.
Померкла степь. Тропою темной,
Задумчивъ, ѣдетъ нашъ Русланъ,
И видитъ: сквозь ночной туманъ
Вдали чернѣетъ холмъ огромный,
И что-то страшное храпитъ.
Онъ ближе къ холму, ближе—слышитъ:
Чудесный холмъ какъ будто дышитъ.
Русланъ внимаетъ и глядитъ
Безтрепетно, съ покойнымъ духомъ;
Но, шевеля пугливымъ ухомъ,
Конь упирается, дрожитъ,
Трясетъ упрямой головою,
И грива дыбомъ поднялась.
Вдругъ холмъ, безоблачной луною
Въ туманѣ блѣдно озарясь,
Яснѣетъ. Смотритъ храбрый князь —
И чудо видитъ предъ собою.
Найду ли краски и слова? —
Предъ нимъ живая голова.

Огромны очи сномъ объяты;
Храпитъ, качая шлемъ пернатый:
И перья въ темной высотѣ
Какъ тѣни ходятъ, развѣваясь.
Въ своей ужасной красотѣ
Надъ мрачной степью возвышаясь,
Безмолвіемъ окружена,
Пустыни сторожъ безымянный,
Руслану предстоитъ она
Громадой грозной и туманной.
Въ недоумѣньи хочетъ онъ
Таинственный разрушить сонъ.
Вблизи осматривая диво,
Объѣхалъ голову кругомъ
И, ставъ предъ носомъ молчаливо,
Щекотитъ ноздри копіемъ.
И, сморщась, голова зѣвнула,
Глаза открыла и чихнула...
Поднялся вихорь, степь дрогнула,
Взвилася пыль; съ рѣсницъ, съ усовъ,
Съ бровей слетѣла стая совъ;
Проснулись рощи молчаливы,
Чихнуло эхо — конь ретивый
Заржалъ, запрыгалъ, отлетѣлъ,
Едва самъ витязь усидѣлъ;
И вслѣдъ раздался голосъ шумный:
„Куда ты, витязь неразумный?
Ступай назадъ; я не шучу!
Какъ разъ ахала проглочу!“
Русланъ съ презрѣньемъ оглянулся,
Браздами удержалъ коня,
И съ гордымъ видомъ усмѣхнулся.
„Чего ты хочешь отъ меня?“
Нахмурясь, голова вскричала:
„Вотъ, гостя мнѣ судьба послала!
Послушай, убирайся прочь!
Я спать хочу, теперь ужъ ночь,
Прощай!“ Но витязь знаменитый,

Услыша грубыя слова,
Воскликнулъ съ важностью сердитой:
„Молчи, пустая голова!
Слыхалъ я истину бывало:
Хоть лобъ широкъ, да мозгу мало!
Я ѣду, ѣду, не свищу,
А какъ наѣду, не спущу!“

Тогда, отъ ярости нѣмѣя,
Стѣсненной злобой пламенѣя,
Надулась голова; какъ жаръ,
Кровавы очи засверкали;
Напѣнясь, губы задрожали;
Изъ устъ, ушей—поднялся паръ;
И вдругъ она, что было мочи,
Навстрѣчу князю стала дуть...
Напрасно конь, зажмуря очи,
Склонивъ главу, натужа грудь,
Сквозь вихорь, дождь и сумракъ ночи
Невѣрный продолжаетъ путь;
Объятый страхомъ, ослѣпленный,
Онъ мчится вновь, изнеможенный,
Далече въ поле отдохнуть.
Вновь обратиться витязь хочетъ —
Вновь отраженъ, надежды нѣтъ!
А голова ему вослѣдъ,
Какъ сумасшедшая, хохочетъ,
Гремитъ: „Ай, витязь! ай, герой!
Куда ты? Тише, тише, стой!
Эй, витязь, шею сломишь даромъ;
Не трусь, наѣздникъ, и меня
Порадуй хоть однимъ ударомъ,
Пока не заморилъ коня.“
И между тѣмъ она героя
Дразнила страшнымъ языкомъ.
Русланъ, досаду въ сердцѣ кроя,
Грозитъ ей молча копіемъ,

Трясетъ его рукой свободной,
И, задрожавъ, булатъ холодный
Вонзился въ дерзостный языкъ.
И кровь изъ бѣшенаго зѣва
Рѣкою побѣжала вмигъ.
Отъ удивленья, боли, гнѣва,
Въ минуту дерзости лишась,
На князя голова глядѣла,
Желѣзо грызла и блѣднѣла....
Счастливымъ пользуясь мгновеньемъ,
Къ объятой головѣ смущеньемъ,
Какъ ястребъ, богатырь летитъ
Съ подъятой, грозною десницей,
И въ щеку тяжкой рукавицей
Съ размаха голову разитъ—
И степь ударомъ огласилась...
Кругомъ росистая трава
Кровавой пѣной обагрилась,
И, зашатавшись, голова
Перевернулась, покатилась,
И шлемъ чугунный застучалъ.
Тогда на мѣстѣ опустѣломъ
Мечъ богатырскій засверкалъ.
Нашъ витязь въ трепетѣ веселомъ
Его схватилъ, и къ головѣ
По окровавленной травѣ
Бѣжитъ съ намѣреньемъ жестокимъ—
Ей носъ и уши обрубить;
Уже Русланъ готовъ разить,
Уже взмахнулъ мечемъ широкимъ—
Вдругъ, изумленный, внемлетъ онъ
Главы молящей жалкій стонъ...
И тихо мечъ онъ опускаетъ;
Въ немъ гнѣвъ свирѣпый умираетъ,
И мщенье бурное падетъ
Въ душѣ, моленьемъ усмиренной;
Такъ на долинѣ таетъ ледъ,
Лучемъ полудня пораженный.

„Ты вразумилъ меня, герой!“
Со вздохомъ голова сказала:
„Твоя десница доказала,
Что я виновенъ предъ тобой.
Отнынѣ я тебѣ послушенъ;
Но, витязь, будь великодушенъ!
Достоинъ плача жребій мой:
И я былъ витязь удалой,
Въ кровавыхъ битвахъ супостата
Себѣ я равнаго не зрѣлъ!
Счастливъ, когда бы не имѣлъ
Соперникомъ меньшого брата!
Коварный, злобный Черноморъ,
Ты, ты всѣхъ бѣдъ моихъ виною!
Семейства нашего позоръ,
Рожденный карлой, съ бородою,
Мой дивный ростъ отъ юныхъ дней
Не могъ онъ безъ досады видѣть,
И сталъ за то въ душѣ своей
Меня, жестокій, ненавидѣть.
Я былъ всегда немного простъ,
Хотя высокъ; а сей несчастный,
Имѣя самый глупый ростъ,
Уменъ какъ бѣсъ—и золъ ужасно.
Притомъ же, знай, къ моей бѣдѣ,
Въ его чудесной бородѣ
Таится сила роковая,
И, все на свѣтѣ презирая—
Доколѣ борода цѣла,—
Измѣнникъ не страшится зла.
Вотъ онъ, однажды, съ видомъ дружбы,
—„Послушай, хитро мнѣ сказалъ,
Не откажись отъ важной службы:
Я въ черныхъ книгахъ отыскалъ,
Что за восточными горами,
На тихихъ моря берегахъ,
Въ глухомъ подвалѣ, подъ замками
Хранится мечъ—и что же? Страхъ!

Я разобралъ во тьмѣ волшебной,
Что волею судьбы враждебной
Сей мечъ извѣстенъ будетъ намъ;
Что насъ обоихъ онъ погубитъ:
Мнѣ бороду мою отрубитъ,
Тебѣ—главу; суди же самъ,
Сколь важно намъ пріобрѣтенье
Сего созданья злыхъ духовъ!"

— Ну, что же? гдѣ тутъ затрудненье?
Сказалъ я карлѣ:—Я готовъ;
Иду, хоть за предѣлы свѣта.—
И сосну на плечо взвалилъ,
А на другое, для совѣта,
Злодѣя-брата посадилъ;
Пустился въ дальнюю дорогу,
Шагалъ, шагалъ и, слава Богу,
Какъ бы пророчеству на зло,
Все счастливо сначала шло.
За отдаленными горами
Нашли мы роковой подвалъ;
Я разметалъ его руками
И потаенный мечъ досталъ.
Но нѣтъ! судьба того хотѣла:
Межъ нами ссора закипѣла—
И было, признаюсь, о чемъ!
Вопросъ: кому владѣть мечемъ?
Я спорилъ, карла горячился;
Бранились долго; наконецъ,
Уловку выдумалъ хитрецъ,
Притихъ и будто бы смягчился.
—„Оставимъ безполезный споръ,—
Сказалъ мнѣ важно Черноморъ:—
Мы тѣмъ союзъ нашъ обезславимъ;
Разсудокъ въ мирѣ жить велитъ;
Судьбѣ рѣшить мы предоставимъ,
Кому сей мечъ принадлежитъ.
Къ землѣ приникнемъ ухомъ оба,

(Чего не выдумаетъ злоба!)
И кто услышитъ первый звонъ,
Тотъ и владѣй мечемъ до гроба."
Сказалъ—и легъ на землю онъ.
Я сдуру также растянулся:
Лежу, не слышу ничего,
Смекая:—обману его!
Но самъ жестоко обманулся.
Злодѣй, въ глубокой тишинѣ,
Привставъ, на цыпочкахъ ко мнѣ
Подкрался сзади, размахнулся,
Какъ вихорь свистнулъ острый мечъ,
И прежде, чѣмъ я оглянулся,
Ужъ голова слетѣла съ плечъ—
И сверхъестественная сила
Въ ней жизни духъ остановила.
Мой остовъ терніемъ обросъ;
Вдали, въ странѣ, людьми забвенной,
Истлѣлъ мой прахъ непогребенный;
Но злобный карла перенесъ
Меня въ сей край уединенный,
Гдѣ вѣчно долженъ былъ стеречь
Тобой сегодня взятый мечъ.
О, витязь, ты хранимъ судьбою!
Возьми его, и Богъ съ тобою!
Быть можетъ, на своемъ пути
Ты карлу-чародѣя встрѣтишь—
Ахъ, если ты его замѣтишь,
Коварству, злобѣ отомсти!
И наконецъ, я счастливъ буду,
Спокойно міръ оставлю сей,
И въ благодарности моей
Твою пощечину забуду".....

— —

И дни бѣгутъ; желтѣютъ нивы,
Съ деревъ спадаетъ дряхлый листъ;
Въ лѣсахъ осенній вѣтра свистъ

Пѣвицъ пернатыхъ заглушаетъ;
Тяжелый, пасмурный туманъ
Нагіе холмы обвиваетъ.
Зима приблизилась—Русланъ
Свой путь отважно продолжаетъ
На дальній сѣверъ; съ каждымъ днемъ
Преграды новыя встрѣчаетъ:
То бьется онъ съ богатыремъ,
То съ вѣдьмою, то съ великаномъ,
То лунной ночью видитъ онъ,
Какъ будто сквозь волшебный сонъ,
Окружены сѣдымъ туманомъ,
Русалки, тихо на вѣтвяхъ
Качаясь, витязя младого
Съ улыбкой хитрой на устахъ
Манятъ, не говоря ни слова...
Но тайнымъ промысломъ хранимъ,
Безстрашный витязь невредимъ;
Въ его душѣ желанье дремлетъ;
Онъ ихъ не видитъ, имъ не внемлетъ—
Одна Людмила всюду съ нимъ.

Но между тѣмъ, никѣмъ не зрима,
Отъ нападеній колдуна
Волшебной шапкою хранима,
Что дѣлаетъ моя княжна,
Моя прекрасная Людмила?
Она, безмолвна и уныла,
Одна гуляетъ по садамъ,
О другѣ мыслитъ и вздыхаетъ,
Иль, волю давъ своимъ мечтамъ,
Къ родимымъ кіевскимъ полямъ
Въ забвеньи сердца улетаетъ,
Отца и братьевъ обнимаетъ,
Подружекъ видитъ молодыхъ
И старыхъ мамушекъ своихъ—
Забыты плѣнъ и разлученье!
Но вскорѣ бѣдная княжна

Свое теряетъ заблужденье—
И вновь уныла—и одна.
Рабы влюбленнаго злодѣя,
И день и ночь, сидѣть не смѣя,
Межъ тѣмъ по замку, по садамъ,
Прелестной плѣнницы искали,
Метались, громко призывали,
Однако, все по пустякамъ.
Людмила ими забавлялась:
Въ волшебныхъ рощахъ иногда
Безъ шапки вдругъ она являлась
И кликала:—сюда, сюда!
И всѣ бросались къ ней толпою;
Но въ сторону—незрима вдругъ—
Она неслышною стопою
Отъ хищныхъ убѣгала рукъ.
Вездѣ всечасно замѣчали
Ея минутные слѣды:
То позлащенные плоды
На шумныхъ вѣтвяхъ исчезали,
То капли ключевой воды
На лугъ измятый упадали:—
Тогда навѣрно въ замкѣ знали,
Что пьетъ, иль кушаетъ княжна.
На вѣтвяхъ кедра иль березы
Скрываясь по ночамъ, она
Минутнаго искала сна—
Но только проливала слезы,
Звала супруга и покой,
Томилась грустью и зѣвотой,
И рѣдко-рѣдко предъ зарей,
Склонясь ко древу головой,
Дремала тонкою дремотой.
Едва рѣдѣла ночи мгла,
Людмила къ водопаду шла
Умыться хладною струею:
Самъ карла утренней порою
Однажды видѣлъ изъ палатъ:

Какъ подъ невидимой рукою
Плескалъ и брызгалъ водопадъ.
Съ своей обычною тоскою
До новой ночи, здѣсь и тамъ,
Она бродила по садамъ;
Нерѣдко подъ вечеръ слыхали
Ея пріятный голосокъ;
Нерѣдко въ рощахъ поднимали
Иль ею брошенный вѣнокъ,
Или клочки персидской шали,
Или заплаканный платокъ....

Скучая, бѣдная княжна
Въ прохладѣ мраморной бесѣдки
Сидѣла тихо близъ окна
И сквозь колеблемыя вѣтки
Смотрѣла на цвѣтущій лугъ.
Вдругъ слышитъ—кличутъ: „Милый другъ!"
И видитъ вѣрнаго Руслана:
Его черты, походка, станъ;
Но блѣденъ онъ, въ очахъ туманъ,
И на бедрѣ живая рана...
Въ ней сердце дрогнуло.—„Русланъ!
Русланъ!.. онъ, точно!" И стрѣлою
Къ супругу плѣнница летитъ,
Въ слезахъ, трепеща, говоритъ:
„Ты здѣсь... ты раненъ... что съ тобою?"
Уже достигла, обняла...
О, ужасъ... призракъ исчезаетъ!
Княжна въ сѣтяхъ; съ ея чела
На землю шапка упадаетъ.
Хладѣя, слышитъ грозный крикъ:
„Она моя!"—и въ тотъ же мигъ
Зритъ колдуна передъ очами.
Раздался дѣвы жалкій стонъ,
Падетъ безъ чувствъ—и дивный сонъ
Объялъ несчастную крылами....

Чу... вдругъ раздался рога звонъ,
И кто-то карлу вызываетъ.
Въ смятеньи, блѣдный чародѣй
На дѣву шапку надѣваетъ;
Трубятъ опять; звучнѣй, звучнѣй!
И онъ летитъ къ безвѣстной встрѣчѣ,
Закинувъ бороду за плечи.

Но кто трубилъ? Кто чародѣя
На сѣчу грозну вызывалъ?
Кто колдуна перепугалъ?—
Русланъ!.. Онъ, местью пламенѣя,
Достигъ обители злодѣя.
Ужъ витязь подъ горой стоитъ,
Призывный рогъ, какъ буря, воетъ,
Нетерпѣливый конь кипитъ
И снѣгъ копытомъ мощнымъ роетъ.
Князь карлу ждетъ. Внезапно онъ
По шлему крѣпкому, стальному
Рукой незримой пораженъ—
Ударъ упалъ подобно грому;
Русланъ подъемлетъ мутный взоръ
И видитъ—прямо надъ главою—
Съ подъятой, страшной булавою
Летаетъ карла Черноморъ.
Щитомъ покрывшись, онъ нагнулся,
Мечемъ потрясъ и замахнулся;
Но тотъ взвился подъ облака,
На мигъ исчезъ—и свысока,
Шумя, летитъ на князя снова.
Проворный витязь отлетѣлъ,—
И въ снѣгъ съ размаха рокового
Колдунъ упалъ, да тамъ и сѣлъ.
Русланъ, не говоря ни слова,
Съ коня долой, къ нему спѣшитъ,
Поймалъ, за бороду хватаетъ;
Волшебникъ силится, кряхтитъ,

И вдругъ съ Русланомъ улетаетъ...
Ретивый конь вослѣдъ глядитъ.
Уже колдунъ подъ облаками;
На бородѣ герой виситъ;
Летятъ надъ мрачными лѣсами,
Летятъ надъ дикими горами,
Летятъ надъ бездною морской...
Отъ напряженья костенѣя,
Русланъ за бороду злодѣя
Упорно держится рукой.
Межъ тѣмъ, на воздухѣ слабѣя
И силѣ русской изумясь,
Волшебникъ гордому Руслану
Коварно молвитъ: „Слушай, князь!
Тебѣ вредить я перестану;
Младое мужество любя,
Забуду все, прощу тебя,
Спущусь, но только съ уговоромъ....“
—Молчи, коварный чародѣй!—
Прервалъ нашъ витязь:—съ Черноморомъ,
Съ мучителемъ жены своей,
Русланъ не знаетъ договора!
Сей грозный мечъ накажетъ вора:
Лети хоть до ночной звѣзды,
А быть тебѣ безъ бороды!—
Боязнь объемлетъ Черномора;
Въ досадѣ, въ горести нѣмой,
Напрасно длинной бородой
Усталый карла потрясаетъ:
Русланъ ея не выпускаетъ
И щиплетъ волосы порой.
Два дня колдунъ героя носитъ,
На третій онъ пощады проситъ:
„О, рыцарь! сжалься надо мной;
Едва дышу, нѣтъ мочи болѣ;
Оставь мнѣ жизнь, въ твоей я волѣ;
Скажи—спущусь, куда велишь...“
—Теперь ты нашъ; ага, дрожишь!

Смирись, покорствуй русской силѣ!
Неси меня къ моей Людмилѣ!

Смиренно внемлетъ Черноморъ;
Домой онъ съ витяземъ пустился,
Летитъ—и мигомъ очутился
Среди своихъ ужасныхъ горъ.
Тогда Русланъ одной рукою
Взялъ мечь сраженной головы,
И, бороду схвативъ другою,
Отсѣкъ ее, какъ горсть травы.
—Знай нашихъ!—молвилъ онъ жестоко:
Что, хищникъ, гдѣ твоя краса?
Гдѣ сила?—и на шлемъ высокій
Сѣдые вяжетъ волоса;
Свистя, зоветъ коня лихого;
Веселый конь летитъ и ржетъ...
Нашъ витязь карлу чуть живого
Въ котомку за сѣдло кладетъ,
А самъ, боясь мгновенья траты,
Спѣшитъ наверхъ горы крутой,
Достигъ—и съ радостной душой
Летитъ въ волшебныя палаты.
Вдали завидя шлемъ брадатый,
Залогъ побѣды роковой,
Предъ нимъ араповъ чудный рой,
Толпы невольницъ боязливыхъ,
Какъ призраки, со всѣхъ сторонъ
Бѣгутъ—и скрылись. Ходитъ онъ
Одинъ средь храминъ горделивыхъ,
Супругу милую зоветъ—
Лишь эхо сводовъ молчаливыхъ
Руслану голосъ подаетъ.
Въ волненьи чувствъ нетерпѣливыхъ
Онъ отворяетъ двери въ садъ—
Идетъ, идетъ—и не находитъ;
Кругомъ смущенный взоръ обводитъ—
Все мертво: рощицы молчатъ,

Бесѣдки пусты; на стремнинахъ,
Вдоль береговъ ручья, въ долинахъ,
Нигдѣ Людмилы слѣду нѣтъ,
И ухо ничего не внемлетъ.
Внезапный князя хладъ объемлетъ,
Въ очахъ его темнѣетъ свѣтъ,
Въ умѣ возникли мрачны думы...
„Быть можетъ, горесть... плѣнъ угрюмый...
Минута... волны...“ Въ сихъ мечтахъ
Онъ погруженъ. Съ нѣмой тоскою
Поникнулъ витязь головою;
Его томитъ невольный страхъ;
Недвижимъ онъ, какъ мертвый камень;
Мрачится разумъ; дикій пламень
И ядъ отчаянной любви
Уже текутъ въ его крови.
Казалось, тѣнь княжны прекрасной
Коснулась трепетнымъ устамъ...
И вдругъ, неистовый, ужасный,
Стремится витязь по садамъ,
Людмилу съ воплемъ призываетъ,
Съ холмовъ утесы отрываетъ,
Все рушитъ, все крушитъ мечемъ—
Бесѣдки, рощи упадаютъ,
Древа, мосты въ волнахъ ныряютъ,
Степь обнажается кругомъ!
Далеко гулы повторяютъ
И ревъ, и трескъ, и шумъ, и громъ;
Повсюду мечъ звенитъ и свищетъ,
Прелестный край опустошенъ—
Безумный витязь жертвы ищетъ,
Съ размаха вправо, влѣво онъ
Пустынный воздухъ разсѣкаетъ...
И вдругъ—нечаянный ударъ
Съ княжны невидимой сбиваетъ
Прощальный Черномора даръ...
Волшебства вмигъ исчезла сила:
Въ сѣтяхъ открылася Людмила!

Не вѣря самъ своимъ очамъ,
Нежданнымъ счастьемъ упоенный,
Нашъ витязь падаетъ къ ногамъ
Подруги вѣрной, незабвенной,
Цѣлуетъ руки, сѣти рветъ,
Любви, восторга слезы льетъ.
Зоветъ ее,—но дѣва дремлетъ,
Сомкнуты очи и уста...
Мечта
Младую грудь ея подъемлетъ.
Русланъ съ нея не сводитъ глазъ,
Его терзаетъ вновь кручина...
Но вдругъ знакомый слышитъ гласъ,
Гласъ добродѣтельнаго Финна:

„Мужайся, князь! Въ обратный путь
Ступай со спящею Людмилой;
Наполни сердце новой силой,
Любви и чести вѣренъ будь;
Небесный громъ на злобу грянетъ,
И воцарится тишина—
И въ свѣтломъ Кіевѣ княжна
Передъ Владиміромъ возстанетъ
Отъ очарованнаго сна.“

Русланъ, симъ гласомъ оживленный,
Беретъ въ объятія жену,
И тихо съ ношей драгоцѣнной
Онъ оставляетъ вышину
И сходитъ въ долъ уединенный.

Въ молчаньи, съ карлой за сѣдломъ,
Поѣхалъ онъ своимъ путемъ;
Въ его рукахъ лежитъ Людмила,
Свѣжа, какъ вешняя заря,
И на плечо богатыря
Лицо спокойное склонила...

Межъ тѣмъ по доламъ, по горамъ,
И въ бѣлый день, и по ночамъ,
Нашъ витязь ѣдетъ непрестанно.
Еще далекъ предѣлъ желанный,
А дѣва спитъ.....

Предъ ними стелется равнина,
Гдѣ ели изрѣдка взошли,
И грознаго холма вдали
Чернѣетъ круглая вершина
Небесъ на яркой синевѣ.
Русланъ глядитъ—и догадался,
Что подъѣзжаетъ къ головѣ.
Быстрѣе борзый конь помчался;
Ужъ видно чудо изъ чудесъ;
Она глядитъ недвижнымъ окомъ;
Власы ея, какъ черный лѣсъ,
Поросшій на челѣ высокомъ;
Ланиты жизни лишены,
Свинцовой блѣдностью покрыты;
Уста огромныя открыты,
Огромны зубы стѣснены....
Надъ полумертвой головою
Послѣдній день ужъ тяготѣлъ.
Къ ней храбрый витязь прилетѣлъ
Съ Людмилой, съ карлой за спиною.
Онъ крикнулъ: „Здравствуй, голова!
Я здѣсь! наказанъ твой измѣнникъ!
Гляди: вотъ онъ, злодѣй нашъ—плѣнникъ!“
И князя гордыя слова
Ее внезапно оживили,
На мигъ въ ней чувство разбудили:
Очнулась, будто ото сна,
Взглянула, страшно застонала—
Узнала витязя она,
И брата съ ужасомъ узнала.
Надулись ноздри, на щекахъ
Багровый огнь еще родился,

И въ умирающихъ глазахъ
Послѣднiй гнѣвъ изобразился.
Въ смятеньи, въ бѣшенствѣ нѣмомъ,
Она зубами скрежетала
И брату хладнымъ языкомъ
Укоръ невнятный лепетала...
Уже ея въ тотъ самый часъ
Кончалось долгое страданье:
Чела мгновенный пламень гасъ,
Слабѣло тяжкое дыханье,
Огромный закатился взоръ...
И вскорѣ князь и Черноморъ
Узрѣли смерти содроганье—
Она почила вѣчнымъ сномъ.
Въ молчаньи витязь удалился;
Дрожащiй карликъ за сѣдломъ
Не смѣлъ дышать, не шевелился,
И чернокнижнымъ языкомъ
Усердно демонамъ молился....

Княжны искатель недостойный,
Охоту къ славѣ потерявъ,
Никѣмъ незнаемый, Фарлафъ
Въ пустынѣ дальней и спокойной
Скрывался и Наины ждалъ.
И часъ торжественный насталъ.
Къ нему волшебница явилась,
Вѣщая: „Знаешь ли меня?
Ступай за мной, сѣдлай коня!“
И вѣдьма кошкой обратилась.
Осѣдланъ конь; она пустилась
Тропами мрачными дубравъ;
За нею слѣдуетъ Фарлафъ.

Долина тихая дремала,
Въ ночной одѣтая туманъ;
Луна во мглѣ перебѣгала
Изъ тучи въ тучу, и курганъ

Мгновеннымъ блескомъ озаряла.
Подъ нимъ въ безмолвіи Русланъ
Сидѣлъ съ обычною тоскою
Предъ усыпленною княжною;
Глубоку думу думалъ онъ,
Мечты летѣли за мечтами,
И непримѣтно вѣялъ сонъ
Надъ нимъ холодными крылами.
На дѣву смутными очами
Въ дремотѣ томной онъ взглянулъ
И, утомленною главою
Склонясь къ ногамъ ея, заснулъ.....

Луна чуть свѣтитъ надъ горою;
Объяты рощи темнотою;
Долина въ мертвой тишинѣ...
Измѣнникъ ѣдетъ на конѣ.

Предъ нимъ открылася поляна;
Онъ видитъ сумрачный курганъ;
У ногъ Людмилы спитъ Русланъ,
И ходитъ конь кругомъ кургана.
Фарлафъ съ боязнію глядитъ;
Въ туманѣ вѣдьма исчезаетъ;
Въ немъ сердце замерло, дрожитъ;
Изъ хладныхъ рукъ узду роняетъ,
Тихонько обнажаетъ мечъ,
Готовясь витязя безъ боя
Съ размаха на-двое разсѣчь.
Къ нему подъѣхалъ... Конь героя,
Врага почуя, закипѣлъ,
Заржалъ и топнулъ. Знакъ напрасный!
Русланъ не внемлетъ—сонъ ужасный,
Какъ грузъ, надъ нимъ отяготѣлъ...
Измѣнникъ, вѣдьмой ободренный,
Герою въ грудь рукой презрѣнной
Вонзаетъ трижды хладну сталь..

И мчится боязливо въ даль
Съ своей добычей драгоцѣнной.
Всю ночь безчувственный Русланъ
Лежалъ во мракѣ подъ горою.
Часы летѣли. Кровь рѣкою
Текла изъ воспаленныхъ ранъ.
Поутру, взоръ открывъ туманный,
Пуская тяжкій, слабый стонъ,
Съ усильемъ приподнялся онъ,
Взглянулъ, поникъ главою бранной—
И палъ недвижный, бездыханный....

Межъ тѣмъ, Наиной осѣненный,
Съ Людмилой, тихо усыпленной,
Стремится къ Кіеву Фарлафъ;
Летитъ, надежды, страха—полный;
Предъ нимъ уже днѣпровски волны
Въ знакомыхъ пажитяхъ шумятъ;
Ужъ видитъ златоверхій градъ;
Уже Фарлафъ по граду мчится,
И шумъ на стогнахъ [1]) возстаетъ;
Въ волненьи радостномъ народъ
Валитъ за всадникомъ, тѣснится;
Бѣгутъ обрадовать отца —
И вотъ, измѣнникъ у крыльца.

Влача въ душѣ печали бремя,
Владиміръ-солнышко въ то время
Въ высокомъ теремѣ своемъ
Сидѣлъ, томясь привычной думой.
Бояре, витязи кругомъ
Сидѣли съ важностью угрюмой.
Вдругъ внемлетъ онъ передъ крыльцомъ
Волненье, крики, шумъ чудесный;
Дверь отворилась,—передъ нимъ

---

[1]) Стогны--площади.

Явился воинъ неизвѣстный.
Всѣ встали съ шопотомъ глухимъ,
И вдругъ смутились, зашумѣли:
„Людмила здѣсь! Фарлафъ... ужели?“
Въ лицѣ печальномъ измѣнясь,
Встаетъ со стула старый князь,
Спѣшитъ тяжелыми шагами
Къ несчастной дочери своей,
Подходитъ, отчими руками
Онъ хочетъ прикоснуться къ ней;
Но дѣва милая не внемлетъ,
И очарованная дремлетъ
Въ рукахъ убійцы. Всѣ глядятъ
На князя въ смутномъ ожиданьи;
И старецъ безпокойный взглядъ
Вперилъ на витязя въ молчаньи.
Но хитро перстъ къ устамъ прижавъ,
—„Людмила спитъ!“—сказалъ Фарлафъ:—
„Я такъ нашелъ ее недавно
Въ пустынныхъ муромскихъ лѣсахъ
У злого лѣшаго въ рукахъ;
Тамъ совершилось дѣло славно:
Три дня мы билися; луна
Надъ боемъ трижды подымалась;
Онъ палъ, а юная княжна
Мнѣ въ руки сонною досталась;
И кто прерветъ сей дивный сонъ?
Когда настанетъ пробужденье?
Не знаю—скрытъ судьбы законъ!
А намъ надежда и терпѣнье
Одни остались въ утѣшенье.“

И вскорѣ съ вѣстью роковой
Молва по граду полетѣла;
Народа пестрою толпой
Градская площадь закипѣла;
Печальный теремъ всѣмъ открытъ;
Толпа волнуется, валитъ

Туда, гдѣ на одрѣ высокомъ,
На одѣялѣ парчевомъ
Княжна лежитъ во снѣ глубокомъ;
Князья и витязи кругомъ
Стоятъ унылы; гласы трубны,
Рога, тимпаны [1]), гусли, бубны
Гремятъ надъ нею. Старый князь,
Тоской тяжелой изнурясь,
Къ ногамъ Людмилы сѣдинами
Приникъ съ безмолвными слезами;
И блѣдный близъ него Фарлафъ,
Въ нѣмомъ раскаяньи, въ досадѣ,
Трепещетъ, дерзость потерявъ.

Настала ночь. Никто во градѣ
Очей безсонныхъ не смыкалъ;
Шумя, тѣснились всѣ другъ къ другу;
О чудѣ всякій толковалъ...
Но только свѣтъ луны двурогой
Исчезъ предъ утренней зарей,
Весь Кіевъ новою тревогой
Смутился. Клики, шумъ и вой
Возникли всюду. Кіевляне
Толпятся на стѣнѣ градской...
И видятъ: въ утреннемъ туманѣ
Шатры бѣлѣютъ за рѣкой,
Щиты, какъ зарево, блистаютъ.
Въ поляхъ наѣздники мелькаютъ,
Вдали, подъемля черный прахъ,
Идутъ походныя телѣги,
Костры пылаютъ на холмахъ.
Бѣда: возстали печенѣги! [2])

Но въ это время вѣщій Финнъ,
Духовъ могучій властелинъ,
Въ своей пустынѣ безмятежной,

---

[1]) Тимпанъ—музыкальный инструментъ.
[2]) Печенѣги—древній кочевой народъ.

Съ спокойнымъ сердцемъ ожидалъ,
Чтобъ день судьбины неизбѣжной,
Давно предвидѣнный, возсталъ.

Въ нѣмой глуши степей горючихъ,
За дальней цѣпью дикихъ горъ,
Жилища вѣтровъ, бурь гремучихъ,
Куда и вѣдьмы смѣлый взоръ
Проникнуть въ поздній часъ боится,
Долина чудная таится,
И въ той долинѣ два ключа:
Одинъ течетъ волной живою,
По камнямъ весело журча:
Тотъ льется мертвою водою.
Кругомъ все тихо, вѣтры спятъ,
Прохлада вешняя не вѣетъ,
Столѣтни сосны не шумятъ,
Не вьются птицы, лань не смѣетъ
Въ жаръ лѣтній пить изъ тайныхъ водъ;
Чета духовъ съ начала міра,
Безмолвная на лонѣ мира,
Дремучій берегъ стережетъ...
Съ двумя кувшинами пустыми
Предсталъ отшельникъ передъ ними;
Прервали духи дивный сонъ
И удалились страха полны.
Склонившись, погружаетъ онъ
Сосуды въ дѣвственныя волны;
Наполнилъ, въ воздухѣ пропалъ;
И очутился въ два мгновенья
Въ долинѣ, гдѣ Русланъ лежалъ
Въ крови, безгласный, безъ движенья;
И сталъ надъ рыцаремъ старикъ,
И вспрыснулъ мертвою водою —
И раны засіяли вмигъ,
И трупъ чудесной красотою
Процвѣлъ; тогда водой живою

Героя старецъ окропилъ,
И бодрый, полный новыхъ силъ,
Трепеща жизнью молодою,
Встаетъ Русланъ; на ясный день
Очами жадными взираетъ,
Какъ безобразный сонъ, какъ тѣнь,
Предъ нимъ минувшее мелькаетъ.
Но гдѣ Людмила? Онъ одинъ!
Въ немъ сердце, вспыхнувъ, замираетъ.
Вдругъ витязь вспрянулъ. Вѣщій Финнъ
Его зоветъ и обнимаетъ:
„Судьба свершилась, о, мой сынъ!
Тебя блаженство ожидаетъ;
Тебя зоветъ кровавый пиръ,
Твой грозный мечъ бѣдою грянетъ;
На Кіевъ снидетъ кроткій миръ,
И тамъ она тебѣ предстанетъ.
Возьми завѣтное кольцо,
Коснися имъ чела Людмилы,
И тайныхъ чаръ исчезнутъ силы;
Враговъ смутитъ твое лицо;
Настанетъ миръ, погибнетъ злоба.
Достойны счастья будьте оба.
Прости надолго, витязь мой!
Дай руку... тамъ, за дверью гроба —
Не прежде—свидимся съ тобой!“
Сказалъ—исчезнулъ... Упоенный
Восторгомъ пылкимъ и нѣмымъ,
Русланъ, для жизни пробужденный,
Подъемлетъ руки вслѣдъ за нимъ...
Но ничего не слышно болѣ!
Руслань одинъ въ пустынномъ полѣ;
Запрыгавъ, съ карлой за сѣдломъ,
Руслановъ конь нетерпѣливый
Бѣжитъ и ржетъ, махая гривой;
Ужъ князь готовъ, ужъ онъ верхомъ,
Ужъ онъ летитъ, живой и здравый,
Черезъ поля, черезъ дубравы.

Но между тѣмъ какой позоръ
Являетъ Кіевъ осажденный!
Тамъ, устремивъ на нивы взоръ,
Народъ, уныньемъ пораженный,
Стоитъ на башняхъ и стѣнахъ
И въ страхѣ ждетъ небесной казни;
Стенанья робкія въ домахъ,
На стогнахъ тишина боязни...
Одинъ, близъ дочери своей,
Владиміръ въ горестной молитвѣ;
И храбрый сонмъ богатырей,
Съ дружиной вѣрною князей,
Готовится къ кровавой битвѣ.

И день насталъ. Толпы враговъ
Съ зарею двинулись съ холмовъ;
Неукротимыя дружины,
Волнуясь, хлынули съ равнины
И потекли къ стѣнѣ градской,
Во градѣ трубы загремѣли,
Бойцы сомкнулись, полетѣли
Навстрѣчу рати удалой,
Сошлись—и заварился бой.
Почуя смерть, взыграли кони,
Пошли стучать мечи о брони,
Со свистомъ туча стрѣлъ взвилась;
Равнина кровью залилась;
Стремглавъ наѣздники помчались;
Дружины конныя смѣшались;
Сомкнутой, дружною стѣной
Тамъ рубится со строемъ строй;
Со всадникомъ тамъ пѣшій бьется;
Тамъ конь испуганный несется;
Тамъ русскій палъ, тамъ печенѣгъ,
Тамъ клики битвы, тамъ побѣгъ;
Тотъ опрокинутъ булавою,
Тотъ легкой пораженъ стрѣлою;
Другой придавленный щитомъ,

Растоптанъ бѣшенымъ конемъ...
И длился бой до темной ночи;
Ни врагъ, ни нашъ, не одолѣлъ.
За грудами кровавыхъ тѣлъ
Бойцы сомкнули томны очи,
И крѣпокъ былъ ихъ бранный сонъ;
Лишь изрѣдка на полѣ битвы
Былъ слышенъ падшихъ скорбный стонъ
И русскихъ витязей молитвы.

Блѣднѣла утренняя тѣнь,
Волна сребрилася въ потокѣ,
Сомнительный рождался день
На отуманенномъ востокѣ.
Яснѣли холмы и лѣса,
И просыпались небеса.
Еще въ бездѣйственномъ покоѣ
Дремало поле боевое;
Вдругъ сонъ прервался: вражій станъ
Съ тревогой шумною воспрянулъ;
Внезапный крикъ сраженій грянулъ;
Смутилось сердце кіевлянъ,
Бѣгутъ нестройными толпами —
И видятъ: въ полѣ, межъ врагами,
Блистая въ латахъ, какъ въ огнѣ,
Чудесный воинъ на конѣ
Грозой несется, колетъ, рубитъ,
Въ ревущій рогъ, летая, трубитъ...
То былъ Русланъ. Какъ божій громъ,
Нашъ витязь палъ на басурмана;
Онъ рыщетъ, съ карлой за сѣдломъ,
Среди испуганнаго стана.
Гдѣ ни просвищетъ грозный мечъ,
Гдѣ конь сердитый ни промчится,
Вездѣ главы слетаютъ съ плечъ,
И съ воплемъ строй на строй валится.
Въ одно мгновенье бранный лугъ
Покрытъ холмами тѣлъ кровавыхъ,

Живыхъ, раздавленныхъ, безглавыхъ,
Громадой копій, стрѣлъ, кольчугъ...
На трубный звукъ, на голосъ боя
Дружины конныя славянъ
Помчались по слѣдамъ героя,
Сразились... гибни, басурманъ!
Объемлетъ ужасъ печенѣговъ;
Питомцы бурные набѣговъ
Зовутъ разсѣянныхъ коней;
Противиться не смѣютъ болѣ.
И съ дикимъ воплемъ въ пыльномъ полѣ
Бѣгутъ отъ кіевскихъ мечей,
Обречены на жертву аду:
Ихъ сонмы русскій мечъ казнитъ.
Ликуетъ Кіевъ... Но по граду
Могучій богатырь летитъ,
Въ десницѣ держитъ мечъ побѣдный;
Копье сіяетъ, какъ звѣзда,
Струится кровь съ кольчуги мѣдной,
На шлемѣ вьется борода;
Летитъ, надеждой окрыленный,
По стогнамъ шумнымъ въ княжій домъ.
Народъ, восторгомъ упоенный,
Толпится съ кликами кругомъ,
И князя радость оживила.
Въ безмолвный теремъ входитъ онъ,
Гдѣ дремлетъ чуднымъ сномъ Людмила.
Владиміръ, въ думу погруженъ,
У ногъ ея стоялъ унылый.
Онъ былъ одинъ. Его друзей
Война влекла въ поля кровавы.
Но съ нимъ Фарлафъ, чуждаясь славы,
Вдали отъ вражескихъ мечей,
Въ душѣ презрѣвъ тревоги стана,
Стоялъ на стражѣ у дверей.
Едва злодѣй узналъ Руслана,
Въ немъ кровь остыла, взоръ погасъ,
Въ устахъ открытыхъ замеръ гласъ,

И палъ безъ чувствъ онъ на колѣна—
Достойной казни ждетъ измѣна!
Но, помня тайный даръ кольца,
Русланъ летитъ къ Людмилѣ спящей,
Ея спокойнаго лица
Касается рукой дрожащей..
И чудо!—юная княжна,
Вздохнувъ открыла свѣтлы очи!
Казалось, будто бы она
Дивилася столь долгой ночи;
Казалось, что какой-то сонъ
Ее томилъ мечтой неясной;
И вдругъ узнала—это онъ!
И князь въ объятіяхъ прекрасной.
Воскреснувъ пламенной душой,
Русланъ не видитъ, не внимаетъ,—
И старецъ, въ радости нѣмой,
Рыдая, милыхъ обнимаетъ.

Чѣмъ кончу длинный мой разсказъ?
Ты угадаешь, другъ мой милый!
Неправый старца гнѣвъ погасъ;
Фарлафъ предъ нимъ и предъ Людмилой
У ногъ Руслана объявилъ
Свой стыдъ и мрачное злодѣйство;
Счастливый князь ему простилъ;
Лишенный силы чародѣйства,
Былъ принятъ карла во дворецъ;
И, бѣдствій празднуя конецъ,
Владиміръ въ гридницѣ высокой
Запировалъ въ семьѣ своей.

Дѣла давно минувшихъ дней
Преданья старины глубокой!

Кавказъ.—26 іюня 1820.

II.

СКАЗКА

О

ЦАРѢ САЛТАНѢ, О СЫНѢ ЕГО, СЛАВНОМЪ И МОГУЧЕМЪ БОГАТЫРѢ, КНЯЗѢ ГВИДОНѢ САЛТАНОВИЧѢ И О ПРЕКРАСНОЙ ЦАРЕВНѢ ЛЕБЕДИ.

(1831 г.)

Три дѣвицы подъ окномъ
Пряли поздно вечеркомъ.
„Кабы я была царица,—
Говоритъ одна дѣвица,—
То сама на весь бы міръ
Приготовила я пиръ.“—
„Кабы я была царица,—
Говоритъ ея сестрица,—
То на весь бы міръ одна
Наткала я полотна“.—
„Кабы я была царица,—
Третья молвила сестрица,—
Я-бъ для батюшки-царя
Родила богатыря...“

Только вымолвить успѣла,
Дверь тихонько заскрипѣла,

И въ свѣтлицу входитъ царь,
Стороны той государь.
Во все время разговора
Онъ стоялъ позадь забора;
Рѣчь послѣдней по-всему
Полюбилася ему.
„Здравствуй, красная дѣвица,—
Говоритъ онъ:—будь царица
И роди богатыря
Мнѣ къ исходу сентября.
Вы-жъ, голубушки-сестрицы,
Выбирайтесь изъ свѣтлицы,
Поѣзжайте вслѣдъ за мной,
Вслѣдъ за мной и за сестрой:
Будь одна изъ васъ ткачиха,
А другая повариха."

Въ сѣни вышелъ царь-отецъ;
Всѣ пустились во дворецъ.
Царь недолго собирался:
Въ тотъ же вечеръ обвѣнчался.
Царь Салтанъ за пиръ честной
Сѣлъ съ царицей молодой;
А потомъ честные гости
На кровать слоновой кости
Положили молодыхъ
И оставили однихъ.
Въ кухнѣ злится повариха,
Плачетъ у станка ткачиха—
И завидуютъ онѣ
Государевой женѣ.

Въ тѣ поры война была:
Царь Салтанъ, съ женой простяся,
На добра-коня садяся,
Ей наказывалъ—себя
Поберечь, его любя.
Между тѣмъ, какъ онъ далеко

Бьется долго и жестоко,
Наступаетъ срокъ родинъ;
Сына Богъ имъ далъ въ аршинъ.
И царица надъ ребенкомъ,
Какъ орлица надъ орленкомъ.
Шлетъ съ письмомъ она гонца,
Чтобъ обрадовать отца.
А ткачиха съ поварихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой,
Извести ее хотятъ,
Перенять гонца велятъ;
Сами шлютъ гонца другого
Вотъ съ чѣмъ, отъ-слова до слова:
„Родила царица въ ночь
Не то сына, не то дочь,
Не мышенка, не лягушку,
А невѣдому звѣрюшку".

Какъ услышалъ царь-отецъ,
Что донесъ ему гонецъ,
Въ гнѣвѣ началъ онъ чудесить
И гонца велѣлъ повѣсить;
Но, смягчившись на сей разъ,
Далъ гонцу такой приказъ:
„Ждать царева возвращенья
Для законнаго рѣшенья".

Ѣдетъ съ грамотой гонецъ,
И пріѣхалъ наконецъ.
А ткачиха съ поварихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой,
Обобрать его велятъ;
До-пьяна гонца поятъ,
И въ суму его пустую
Суютъ грамоту другую —
И привезъ гонецъ хмельной
Въ тотъ же день приказъ такой:
„Царь велитъ своимъ боярамъ,

Времени не тратя даромъ,
И царицу, и приплодъ
Тайно бросить въ бездну водъ".
Дѣлать нечего: бояре,
Потуживъ о государѣ
И царицѣ молодой,
Въ спальню къ ней пришли толпой.
Объявили царску волю—
Ей и сыну злую долю,
Прочитали вслухъ указъ,
И царицу въ тотъ же часъ
Въ бочку съ сыномъ посадили,
Засмолили, покатили
И пустили въ окіянъ—
Такъ велѣлъ-де царь Салтанъ.

Въ синемъ небѣ звѣзды блещутъ,
Въ синемъ морѣ волны хлещутъ;
Туча по небу идетъ,
Бочка по морю плыветъ.
Словно горькая вдовица,
Плачетъ, бьется въ ней царица;
И растетъ ребенокъ тамъ
Не по днямъ, а по часамъ,
День прошелъ, царица вопитъ...
А дитя волну торопитъ:
„Ты, волна моя, волна!
Ты гульлива и вольна:
Плещешь ты, куда захочешь,
Ты морскіе камни точишь,
Топишь берегъ ты земли,
Подымаешь корабли—
Не губи ты нашу душу,
Выплесни ты насъ на сушу!"

И послушалась волна:
Тутъ же на берегъ она
Бочку вынесла легонько

И отхлынула тихонько.
Мать съ младенцемъ спасена:
Землю чувствуетъ она.
Но изъ бочки кто ихъ вынетъ?
Богъ неужто ихъ покинетъ?
Сынъ на ножки поднялся,
Въ дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
„Какъ бы здѣсь на дворъ окошко
Намъ продѣлать?“ молвилъ онъ,
Вышибъ дно и вышелъ вонъ.

Мать и сынъ теперь на волѣ.
Видятъ холмъ въ широкомъ полѣ;
Море синее кругомъ,
Дубъ зеленый надъ холмомъ.
Сынъ подумалъ: добрый ужинъ
Былъ бы намъ однако нуженъ.
Ломитъ онъ у дуба сукъ
И въ тугой сгибаетъ лукъ.
Со креста шнурокъ шелковый
Натянулъ на лукъ дубовый,
Тонку тросточку сломилъ,
Стрѣлкой легкой завострилъ
И пошелъ на край долины,
У моря искать дичины.

Къ морю лишь подходитъ онъ,
Вотъ и слышитъ будто стонъ...
Видно на морѣ не тихо;
Смотритъ—видитъ дѣло лихо:
Бьется лебедь средь зыбей,
Коршунъ носится надъ ней;
Та, бѣдняжка, такъ и плещетъ,
Воду вкругъ мутитъ и хлещетъ...
Тотъ ужъ когти распустилъ,
Клювъ кровавый навострилъ...
Но какъ разъ стрѣла запѣла,

Въ шею коршуна задѣла —
Коршунъ въ море кровь пролилъ,
Лукъ царевичъ опустилъ;
Смотритъ: коршунъ въ морѣ тонетъ
И не птичьимъ крикомъ стонетъ.
Лебедь около плыветъ,
Злого коршуна клюетъ,
Гибель близкую торопитъ,
Бьетъ крыломъ и въ морѣ топитъ—
И царевичу потомъ
Молвитъ русскимъ языкомъ:
„Ты, царевичъ, мой спаситель,
Мой могучій избавитель,
Не тужи, что за меня
Ѣсть не будешь ты три дня,
Что стрѣла пропала въ морѣ;
Это горе—все не горе.
Отплачу тебѣ добромъ,
Сослужу тебѣ потомъ:
Ты не лебедь вѣдь избавилъ,—
Дѣвицу въ живыхъ оставилъ;
Ты не коршуна убилъ,—
Чародѣя подстрѣлилъ.
Ввѣкъ тебя я не забуду,
Ты найдешь меня повсюду.
А теперь ты воротись,
Не горюй и спать ложись“.

Улетѣла лебедь-птица,
А царевичъ и царица,
Цѣлый день проведши такъ,
Лечь рѣшились натощакъ.
Вотъ, открылъ царевичъ очи,
Отрясая грезы ночи,
И, дивясь, передъ собой
Видитъ городъ онъ большой;
Стѣны съ частыми зубцами,
И за бѣлыми стѣнами

Блещутъ маковки церквей
И святыхъ монастырей.
Онъ скорѣй царицу будитъ;
Та какъ ахнетъ!..—„То ли будетъ!—
Говоритъ онъ:—вижу я—
Лебедь тѣшится моя“.
Мать и сынъ идутъ ко граду.
Лишь ступили за ограду,
Оглушительный трезвонъ
Поднялся со всѣхъ сторонъ:
Къ нимъ народъ навстрѣчу валитъ,
Хоръ церковный Бога хвалитъ;
Въ колымагахъ золотыхъ
Пышный дворъ встрѣчаетъ ихъ;
Всѣ ихъ громко величаютъ
И царевича вѣнчаютъ
Княжей шапкой, и главой
Возглашаютъ надъ собой:
И среди своей столицы,
Съ разрѣшенія царицы,
Въ тотъ же день сталъ княжить онъ,
И нарекся: князь Гвидонъ.

Вѣтеръ по морю гуляетъ
И корабликъ подгоняетъ:
Онъ бѣжитъ себѣ въ волнахъ
На раздутыхъ парусахъ.
Корабельщики дивятся,
На корабликѣ толпятся,—
На знакомомъ острову
Чудо видятъ наяву:
Городъ новый, златоглавый,
Пристань съ крѣпкою заставой,
Пушки съ пристани палятъ,
Кораблю пристать велятъ.
Пристаютъ къ заставѣ гости:
Князь Гвидонъ зоветъ ихъ въ гости,

Онъ ихъ кормитъ и поитъ,
И отвѣтъ держать велитъ:
„Чѣмъ вы, гости, торгъ ведете,
И куда теперь плывете?“
Корабельщики въ отвѣтъ:
„Мы объѣхали весь свѣтъ,
Торговали соболями,
Чернобурыми лисами;
А теперь намъ вышелъ срокъ,
Ѣдемъ прямо на востокъ,
Мимо острова Буяна,
Въ царство славнаго Салтана“.

Князь имъ вымолвилъ тогда:
„Добрый путь вамъ, господа,
По морю по окіяну,
Къ славному царю Салтану:
Отъ меня ему поклонъ“.
Гости въ путь, а князь Гвидонъ
Съ берега душой печальной
Провожаетъ бѣгъ ихъ дальній.
Глядь—поверхъ текучихъ водъ
Лебедь бѣлая плыветъ.
„Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тихъ, какъ день ненастный?
Опечалился чему?“—
Говоритъ она ему.
Князь печально отвѣчаетъ:
„Грусть-тоска меня съѣдаетъ,
Одолѣла молодца:
Видѣть я-бъ хотѣлъ отца“.—
Лебедь князю: „Вотъ въ чемъ горе!
Ну, послушай, хочешь въ море
Полетѣть за кораблемъ?
Будь же, князь, ты комаромъ“.
И крылами замахала,
Воду съ шумомъ расплескала,
И обрызгала его

Съ головы до ногъ всего.
Тутъ онъ въ точку уменьшился,
Комаромъ оборотился;
Полетѣлъ и запищалъ,
Судно на морѣ догналъ,
Потихоньку опустился
На корабль—и въ щель забился.

Вѣтеръ весело шумитъ;
Судно весело бѣжитъ
Мимо острова Буяна,
Къ царству славнаго Салтана,
И желанная страна
Вотъ ужъ издали видна.
Вотъ на берегъ вышли гости;
Царь Салтанъ зоветъ ихъ въ гости—
И за ними во дворецъ
Полетѣлъ нашъ удалецъ.
Видитъ: весь сіяя въ златѣ,
Царь Салтанъ сидитъ въ палатѣ
На престолѣ и въ вѣнцѣ,
Съ грустной думой на лицѣ;
А ткачиха съ поварихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидятъ
И въ глаза ему глядятъ.
Царь Салтанъ гостей сажаетъ
За свой столъ и вопрошаетъ:
„Ой вы, гости-господа,
Долго-ль ѣздили? куда?
Ладно-ль за моремъ, иль худо?
И какое въ свѣтѣ чудо?“
Корабельщики въ отвѣтъ:
„Мы объѣхали весь свѣтъ;
За моремъ житье не худо,
Въ свѣтѣ-жъ вотъ какое чудо:
Въ морѣ островъ былъ крутой,
Не привольный, не жилой.

Онъ лежалъ пустой равниной;
Росъ на немъ дубокъ единый;
А теперь стоитъ на немъ
Новый городъ со дворцомъ,
Съ златоглавыми церквами,
Съ теремами и съ садами,
А сидитъ въ немъ князь Гвидонъ;
Онъ прислалъ тебѣ поклонъ".
Царь Салтанъ дивится чуду;
Молвитъ онъ: „Коль живъ я буду,
Чудный островъ навѣщу,
У Гвидона погощу".
А ткачиха съ поварихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой
Не хотятъ его пустить
Чудный островъ навѣстить.
— „Ужъ диковинка, ну, право,—
Подмигнувъ другимъ лукаво,
Повариха говоритъ:—
Городъ у моря стоитъ...
Знайте, вотъ что не бездѣлка:
Ель въ лѣсу, подъ елью бѣлка;
Бѣлка пѣсенки поетъ
И орѣшки все грызетъ,
А орѣшки не простые,—
Все скорлупки золотыя,
Ядра—чистый изумрудъ.
Вотъ что чудомъ то зовутъ".

Чуду царь Салтанъ дивится,
А комаръ то злится, злится—
И впился комаръ какъ разъ
Теткѣ прямо въ правый глазъ.
Повариха поблѣднѣла,
Обмерла и окривѣла.
Слуги, сватья и сестра
Съ крикомъ ловятъ комара.
„Распроклятая ты мошка!

Мы тебя!...“ А онъ въ окошко,
Да спокойно въ свой удѣлъ
Черезъ море полетѣлъ.

Снова князь у моря ходитъ,
Съ синя моря глазъ не сводитъ;
Глядь—поверхъ текучихъ водъ
Лебедь бѣлая плыветъ.
— „Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что-жъ ты тихъ, какъ день ненастный?
Опечалился чему?“—
Говоритъ она ему.
Князь Гвидонъ ей отвѣчаетъ:
„Грусть-тоска меня съѣдаетъ;
Чудо-чудное завесть
Мнѣ-бъ хотѣлось. Гдѣ-то есть
Ель въ лѣсу, подъ елью бѣлка;
Диво, право, не бездѣлка:
Бѣлка пѣсенки поетъ
Да орѣшки все грызетъ,
А орѣшки не простые,—
Все скорлупки золотыя,
Ядра--чистый изумрудъ;
Но, быть можетъ, люди врутъ“.
Князю лебедь отвѣчаетъ:
— „Свѣтъ о бѣлкѣ правду баетъ;
Это чудо знаю я;
Полно, князь, душа моя,
Не печалься; рада службу
Оказать тебѣ я въ дружбу“.

Съ ободренною душой
Князь пошелъ себѣ домой;
Лишь ступилъ на дворъ широкій—
Что-жъ? Подъ елкою высокой,
Видитъ, бѣлочка при всѣхъ
Золотой грызетъ орѣхъ,
Изумрудецъ вынимаетъ,

А скорлупку собираетъ,
Кучки ровныя кладетъ
И съ присвисточкой поетъ
При честномъ при всемъ народѣ:
„Во саду-ли въ огородѣ“...
Изумился князь Гвидонъ,
— „Ну, спасибо,—молвилъ онъ:—
Ай-да лебедь—дай ей, Боже,
Что и мнѣ, веселье то же“.—
Князь для бѣлочки потомъ
Выстроилъ хрустальный домъ,
Караулъ къ нему приставилъ
И притомъ дьяка заставилъ
Строгій счетъ орѣхамъ весть:
Князю—прибыль, бѣлкѣ—честь.

Вѣтеръ по морю гуляетъ
И корабликъ подгоняетъ:
Онъ бѣжитъ себѣ въ волнахъ
На поднятыхъ парусахъ
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки съ пристани палятъ,
Кораблю пристать велятъ.
Пристаютъ къ заставѣ гости:
Князь Гвидонъ зоветъ ихъ въ гости,
Ихъ и кормитъ, и поитъ,
И отвѣтъ держать велитъ:
„Чѣмъ вы, гости, торгъ ведете
И куда теперь плывете?“
Корабельщики въ отвѣтъ:
„Мы объѣхали весь свѣтъ,
Торговали мы конями,
Все донскими жеребцами,
А теперь намъ вышелъ срокъ —
И лежитъ намъ путь далекъ:
Мимо острова Буяна,
Въ царство славнаго Салтана“.

Говоритъ имъ князь тогда:
„Добрый путь вамъ, господа,
По морю по окіяну,
Къ славному царю Салтану;
Да скажите: князь Гвидонъ
Шлетъ царю-де свой поклонъ“.
Гости князю поклонились,
Вышли вонъ и въ путь пустились.
Къ морю князь—а лебедь тамъ
Ужъ гуляетъ по волнамъ.
Молвитъ князь: „душа-де проситъ,
Такъ и тянетъ, и уноситъ“...
Вотъ, опять она его
Вмигъ обрызгала всего;
Въ муху князь оборотился,
Полетѣлъ и опустился
Между моря и небесъ
На корабль—и въ щель залѣзъ.

Вѣтеръ весело шумитъ;
Судно весело бѣжитъ
Мимо острова Буяна,
Въ царство славнаго Салтана—
И желанная страна
Вотъ, ужъ издали видна;
Вотъ, на берегъ вышли гости;
Царь Салтанъ зоветъ ихъ въ гости,
И за ними во дворецъ
Полетѣлъ нашъ удалецъ.
Видитъ: весь сіяя въ златѣ,
Царь Салтанъ сидитъ въ палатѣ
На престолѣ и въ вѣнцѣ,
Съ грустной думой на лицѣ;
А ткачиха съ Бабарихой,
Да съ кривою поварихой,
Около царя сидятъ,
Злыми жабами глядятъ.
Царь Салтанъ гостей сажаетъ

За свой столъ и вопрошаетъ:
„Ой, вы, гости-господа,
Долго-ль ѣздили? куда?
Ладно-ль за моремъ, иль худо,
И какое въ свѣтѣ чудо?“
Корабельщики въ отвѣтъ:
„Мы объѣхали весь свѣтъ;
За моремъ житье не худо;
Въ свѣтѣ-жъ вотъ какое чудо:
Островъ на морѣ лежитъ,
Градъ на островѣ стоитъ
Съ златоглавыми церквами,
Съ теремами да съ садами;
Ель растетъ передъ дворцомъ,
А подъ ней хрустальный домъ;
Бѣлка тамъ живетъ ручная,
Да затѣйница какая!
Бѣлка пѣсенки поетъ
Да орѣшки все грызетъ,
А орѣшки не простые,—
Все скорлупки золотыя,
Ядра—чистый изумрудъ;
Слуги бѣлку стерегутъ,
Служатъ ей прислугой разной—
И приставленъ дьякъ приказный
Строгій счетъ орѣхамъ весть.
Отдаетъ ей войско честь;
Изъ скорлупокъ льютъ монету,
Да пускаютъ въ ходъ по свѣту.
Дѣвки сыплютъ изумрудъ
Въ кладовыя да подъ спудъ.
Всѣ въ томъ островѣ богаты—
Изобъ нѣтъ, вездѣ палаты;
А сидитъ въ немъ князь Гвидонъ;
Онъ тебѣ прислалъ поклонъ“.
Царь Салтанъ дивится чуду:
„Если только живъ я буду,
Чудный островъ навѣщу,

У Гвидона погощу".
А ткачиха съ поварихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой,
Не хотятъ его пустить
Чудный островъ навѣстить.
Усмѣхнувшись изподтиха,
Говоритъ царю ткачиха;
„Что тутъ дивнаго? ну, вотъ!
Бѣлка камушки грызетъ,
Мечетъ золото, и въ груды
Загребаетъ изумруды;
Этимъ насъ не удивишь.
Правду-ль, нѣтъ ли говоришь,
Въ свѣтѣ есть иное диво:
Море вздуется бурливо,
Закипитъ, подыметъ вой,
Хлынетъ на берегъ пустой,
Разольется въ шумномъ бѣгѣ
И очутятся на брегѣ,
Въ чешуѣ, какъ жаръ горя,
Тридцать три богатыря,
Всѣ—красавцы удалые,
Великаны молодые,
Всѣ равны, какъ на подборъ,
Съ ними дядька Черноморъ.
Это диво, такъ ужъ диво,
Можно молвить справедливо!"
Гости умные молчатъ,
Спорить съ нею не хотятъ.
Диву царь Салтанъ дивится,
А Гвидонъ то злится, злится....
Зажужжалъ онъ и какъ-разъ
Теткѣ сѣлъ на лѣвый глазъ.
И ткачиха поблѣднѣла:
„Ай!"—и тутъ же окривѣла.
Всѣ кричатъ: „лови, лови,
Да дави ее, дави.
Вотъ, ужо! постой немножко,

Погоди...“ А князь—въ окошко,
Да спокойно въ свой удѣлъ
Черезъ море прилетѣлъ.

Князь у синя моря ходитъ,
Съ синя моря глазъ не сводитъ;
Глядь—поверхъ текучихъ водъ
Лебедь бѣлая плыветъ.
„Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тихъ, какъ день ненастный?
Опечалился чему?“
Говоритъ она ему.
Князь Гвидонъ ей отвѣчаетъ:
„Грусть-тоска меня съѣдаетъ—
Диво бъ дивное хотѣлъ
Перенесть я въ свой удѣлъ“.
„А какое-жъ это диво?“
—„Гдѣ-то вздуется бурливо
Окіянъ, подыметъ вой,
Хлынетъ на берегъ пустой,
Расплеснется въ шумномъ бѣгѣ,
И очутятся на брегѣ,
Въ чешуѣ, какъ жаръ горя,
Тридцать три богатыря,
Всѣ—красавцы молодые,
Великаны удалые,
Всѣ равны, какъ на подборъ,
Съ ними дядька Черноморъ“.
Князю лебедь отвѣчаетъ:
„Вотъ что, князь, тебя смущаетъ!
Не тужи, душа моя,
Это чудо знаю я.
Эти витязи морскіе
Мнѣ вѣдь братья всѣ родные;
Не печалься же, ступай,
Въ гости братцевъ поджидай“.

Князь пошелъ, забывши горе,
Сѣлъ на башню и на море

Сталъ глядѣть онъ; море вдругъ
Всколыхалося вокругъ,
Расплескалось въ шумномъ бѣгѣ,
И оставило на брегѣ
Тридцать три богатыря;
Въ чешуѣ, какъ жаръ горя,
Идутъ витязи четами,
И, блистая сѣдинами,
Дядька впереди идетъ
И ко граду ихъ ведетъ.
Съ башни князь Гвидонъ сбѣгаетъ,
Дорогихъ гостей встрѣчаетъ.
Второпяхъ народъ бѣжитъ;
Дядька князю говоритъ:
„Лебедь насъ къ тебѣ послала
И наказомъ наказала
Славный городъ твой хранить
И дозоромъ обходить.
Мы отнынѣ ежеденно
Вмѣстѣ будемъ непремѣнно
У высокихъ стѣнъ твоихъ
Выходить изъ водъ морскихъ.
Такъ увидимся мы вскорѣ,
А теперь пора намъ въ море:
Тяжекъ воздухъ намъ земли“.
Всѣ потомъ домой ушли.
Вѣтеръ по морю гуляетъ
И корабликъ подгоняетъ;
Онъ бѣжитъ себѣ въ волнахъ
На поднятыхъ парусахъ
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки съ пристани палятъ,
Кораблю пристать велятъ.
Пристаютъ къ заставѣ гости:
Князь Гвидонъ зоветъ ихъ въ гости,
Ихъ и кормитъ, и поитъ,
И отвѣтъ держать велитъ:

„Чѣмъ вы, гости, торгъ ведете?
И куда теперь плывете?“
Корабельщики въ отвѣтъ:
„Мы объѣхали весь свѣтъ;
Торговали мы булатомъ,
Чистымъ серебромъ и златомъ,
И теперь намъ вышелъ срокъ;
А лежитъ намъ путь далекъ,—
Мимо острова Буяна,
Въ царство славнаго Салтана“.
Говоритъ имъ князь тогда:
„Добрый путь вамъ, господа,
По морю по окіяну,
Къ славному царю Салтану;
Да скажите-жъ: князь Гвидонъ
Шлетъ-де свой царю поклонъ“.

Гости князю поклонились,
Вышли вонъ и въ путь пустились.
Къ морю князь,—а лебедь тамъ
Ужъ гуляетъ по волнамъ.
Князь опять: „душа-де проситъ,
Такъ и тянетъ, и уноситъ...“
И опять она его
Вмигъ обрызгала всего.
Тутъ онъ очень уменьшился,—
Шмелемъ князь оборотился,—
Полетѣлъ и зажужжалъ;
Судно на морѣ догналъ,
Потихоньку опустился
На корму—и въ щель забился.

Вѣтеръ весело шумитъ;
Судно весело бѣжитъ
Мимо острова Буяна
Въ царство славнаго Салтана,
И желанная страна
Вотъ ужъ издали видна.

Вотъ на берегъ вышли гости;
Царь Салтанъ зоветъ ихъ въ гости,
И за ними во дворецъ
Полетѣлъ нашъ удалецъ.
Видитъ: весь сіяя въ златѣ,
Царь Салтанъ сидитъ въ палатѣ
На престолѣ и въ вѣнцѣ,
Съ грустной думой на лицѣ;
А ткачиха съ поварихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидятъ,
Четырьмя всѣ три глядятъ.
Царь Салтанъ гостей сажаетъ
За свой столъ и вопрошаетъ:
„Ой вы, гости-господа,
Долго-ль ѣздили? куда?
Ладно-ль за моремъ иль худо?
И какое въ свѣтѣ чудо?“
Корабельщики въ отвѣтъ:
„Мы объѣхали весь свѣтъ;
За моремъ житье не худо;
Въ свѣтѣ-жъ вотъ какое чудо:
Островъ на морѣ лежитъ;
Градъ на островѣ стоитъ,
Каждый день идетъ тамъ диво:
Море вздуется бурливо,
Закипитъ, подыметъ вой,
Хлынетъ на берегъ пустой,
Расплеснется въ скоромъ бѣгѣ —
И останутся на брегѣ
Тридцать три богатыря,
Въ чешуѣ златой горя,
Всѣ—красавцы молодые,
Великаны удалые,
Всѣ равны, какъ на подборъ;
Старый дядька Черноморъ
Съ ними изъ моря выходитъ
И попарно ихъ выводитъ,

Чтобы островъ тотъ хранить
И дозоромъ обходить:
И той стражи нѣтъ надежнѣй,
Ни храбрѣе, ни прилежнѣй;
А сидитъ тамъ князь Гвидонъ;
Онъ прислалъ тебѣ поклонъ".
Царь Салтанъ дивится чуду:
„Коли живъ я только буду,
Чудный островъ навѣщу
И у князя погощу".
Повариха и ткачиха
Ни-гугу—но Бабариха,
Усмѣхнувшись, говоритъ:
„Кто насъ этимъ удивитъ?
Люди изъ моря выходятъ
И себѣ дозоромъ бродятъ!
Правду-ль баютъ или лгутъ,
Дива я не вижу тутъ.
Въ свѣтѣ есть такія-ль дива?
Вотъ, идетъ молва правдива:
За моремъ царевна есть,
Что не можно глазъ отвесть:
Днемъ свѣтъ Божій затмѣваетъ,
Ночью землю освѣщаетъ,
Мѣсяцъ подъ косой блеститъ,
А во лбу звѣзда горитъ.
А сама-то величава,
Выплываетъ, будто пава;
А какъ рѣчь-то говоритъ,
Словно рѣченька журчитъ.
Молвить можно справедливо,
Это диво, такъ ужъ диво".
Гости умные молчатъ:
Спорить съ бабой не хотятъ.
Чуду царь Салтанъ дивится,
А царевичъ хоть и злится,
Но жалѣетъ онъ очей
Старой бабушки своей.

Онъ надъ ней жужжитъ, кружится—
Прямо на носъ къ ней садится,
Носъ ужалилъ богатырь,—
На носу вскочилъ волдырь.
И опять пошла тревога:
„Помогите, ради Бога!
Караулъ! лови, лови,
Да дави его, дави...
Вотъ, ужо! пожди немножко,
Погоди!...“ А шмель—въ окошко,
Да спокойно въ свой удѣлъ
Черезъ море полетѣлъ.

Князь у синя моря ходитъ,
Съ синя моря глазъ не сводитъ;
Глядь—поверхъ текучихъ водъ
Лебедь бѣлая плыветъ.
„Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что-жъ ты тихъ, какъ день ненастный?
Опечалился чему?“
Говоритъ она ему.
Князь Гвидонъ ей отвѣчаетъ:
„Грусть-тоска меня съѣдаетъ—
Люди женятся; гляжу,
Не женатъ лишь я хожу“.
—„А кого же на примѣтѣ
Ты имѣешь?“—„Да на свѣтѣ,
Говорятъ, царевна есть,
Что не можно глазъ отвесть;
Днемъ свѣтъ Божій затмѣваетъ,
Ночью землю освѣщаетъ,
Мѣсяцъ подъ косой блеститъ,
А во лбу звѣзда горитъ.
А сама-то величава,
Выступаетъ, будто пава;
Сладку рѣчь-то говоритъ,
Будто рѣченька журчитъ.
Только, полно, правда-ль это?“

Князь со страхомъ ждетъ отвѣта.
Лебедь бѣлая молчитъ.
И, подумавъ, говоритъ:
„Да, такая есть дѣвица.
Но жена не рукавица:
Съ бѣлой ручки не стряхнешь,
Да за поясъ не заткнешь.
Услужу тебѣ совѣтомъ—
Слушай: обо всемъ объ этомъ
Пораздумай ты путемъ,
Не раскаяться бъ потомъ".
Князь предъ нею сталъ божиться,
Что ему пора жениться;
Что объ этомъ обо всемъ
Передумалъ онъ путемъ;
Что готовъ душою страстной
За царевною прекрасной
Онъ пѣшкомъ итти отсель,
Хоть за тридевять земель.
Лебедь тутъ, вздохнувъ глубоко,
Молвила: „Зачѣмъ далеко?
Знай, близка судьба твоя,
Вѣдь царевна эта—я".
Тутъ она, взмахнувъ крылами,
Полетѣла надъ волнами
И на берегъ съ высоты
Опустилася въ кусты,
Встрепенулась, отряхнулась
И царевной обернулась:
Мѣсяцъ подъ косой блеститъ,
А во лбу звѣзда горитъ;
А сама-то величава,
Выступаетъ, будто пава;
А какъ рѣчь-то говоритъ,
Словно рѣченька журчитъ.
Князь царевну обнимаетъ,
Къ бѣлой груди прижимаетъ,
И ведетъ ее скорѣй

Къ милой матушкѣ своей.
Князь ей въ ноги, умоляя:
„Государыня родная!
Выбралъ я жену себѣ,
Дочь послушную тебѣ;
Просимъ оба разрѣшенья,
Твоего благословенья:
Ты дѣтей благослови
Жить въ совѣтѣ и любви“.
Надъ главою ихъ покорной
Мать съ иконой чудотворной
Слезы льетъ и говоритъ:
—„Богъ васъ, дѣти, наградитъ“.
Князь недолго собирался,
На царевнѣ обвѣнчался;
Стали жить да поживать,
Да приплода поджидать.

Вѣтеръ по морю гуляетъ
И корабликъ подгоняетъ;
Онъ бѣжитъ себѣ въ волнахъ
На раздутыхъ парусахъ
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки съ пристани палятъ,
Кораблю пристать велятъ.
Пристаютъ къ заставѣ гости;
Князь Гвидонъ зоветъ ихъ въ гости,—
Онъ ихъ кормитъ и поитъ,
И отвѣтъ держать велитъ:
—„Чѣмъ вы, гости, торгъ ведете,
И куда теперь плывете?“
Корабельщики въ отвѣтъ:
—„Мы объѣхали весь свѣтъ,
Торговали мы не даромъ
Неуказаннымъ товаромъ;
А лежитъ намъ путь далекъ:
Во-свояси, на востокъ,

Мимо острова Буяна
Въ царство славнаго Салтана".
Князь имъ вымолвилъ тогда:
„Добрый путь вамъ, господа,
По морю, по окіяну,
Къ славному царю Салтану;
Да напомните ему,
Государю своему:
Къ намъ онъ въ гости обѣщался,
А доселѣ не собрался.
Шлю ему я свой поклонъ".
Гости въ путь, а князь Гвидонъ
Дома на сей разъ остался
И съ женою не разстался.

Вѣтеръ весело шумитъ,
Судно весело бѣжитъ
Мимо острова Буяна
Къ царству славнаго Салтана,
И знакомая страна
Вотъ ужъ издали видна.
Вотъ на берегъ вышли гости;
Царь Салтанъ зоветъ ихъ въ гости.
Гости видятъ: во дворцѣ
Царь сидитъ въ своемъ вѣнцѣ;
А ткачиха съ поварихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидятъ,
Четырьмя всѣ три глядятъ.
Царь Салтанъ гостей сажаетъ
За свой столъ и вопрошаетъ:
—„Ой вы, гости-господа,
Долго-ль ѣздили? куда?
Ладно-ль за моремъ иль худо?
И какое въ свѣтѣ чудо?"
Корабельщики въ отвѣтъ:
—„Мы объѣхали весь свѣтъ;
За моремъ житье не худо,

Въ свѣтѣ-жъ вотъ какое чудо:
Островъ на морѣ лежитъ,
Градъ на островѣ стоитъ,
Съ златоглавыми церквами,
Съ теремами и садами;
Ель растетъ передъ дворцомъ,
А подъ ней хрустальный домъ;
Бѣлка въ немъ живетъ ручная,
Да чудесница какая!
Бѣлка пѣсенки поетъ,
Да орѣшки все грызетъ;
А орѣшки не простые,—
Скорлупы-то золотыя,
Ядра—чистый изумрудъ;
Бѣлку холятъ, берегутъ.
Тамъ еще другое диво:
Море вздуется бурливо,
Закипитъ, подыметъ вой,
Хлынетъ на берегъ пустой,
Расплеснется въ скоромъ бѣгѣ
И очутятся на брегѣ,
Въ чешуѣ какъ жаръ горя,
Тридцать три богатыря,
Всѣ—красавцы удалые,
Великаны молодые,
Всѣ равны какъ на подборъ,
Съ ними дядька Черноморъ.
И той стражи нѣтъ надежнѣй,
Ни храбрѣе, ни прилежнѣй.
А у князя женка есть,
Что не можно глазъ отвесть:
Днемъ свѣтъ Божій затмѣваетъ,
Ночью землю освѣщаетъ;
Мѣсяцъ подъ косой блеститъ,
А во лбу звѣзда горитъ.
Князь Гвидонъ тотъ городъ правитъ,
Всякъ его усердно славитъ;
Онъ прислалъ тебѣ поклонъ,

Да тебѣ пеняетъ онъ:
Къ намъ-де въ гости обѣщался,
А доселѣ не собрался".

Тутъ ужъ царь не утерпѣлъ,
Снарядить онъ флотъ велѣлъ.
А ткачиха съ поварихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой,
Не хотятъ царя пустить
Чудный островъ навѣстить.
Но Салтанъ имъ не внимаетъ
И какъ разъ ихъ унимаетъ:
—„Что я? царь или дитя?"—
Говоритъ онъ не шутя.
„Нынче-жъ ѣду!"—Тутъ онъ топнулъ,
Вышелъ вонъ и дверью хлопнулъ.

Подъ окномъ Гвидонъ сидитъ,
Молча на море глядитъ:
Не шумитъ оно, не хлещетъ,
Лишь едва-едва трепещетъ,
И въ лазоревой дали
Показались корабли;
По равнинамъ окіяна
Ѣдетъ флотъ царя Салтана.
Князь Гвидонъ тогда вскочилъ,
Громогласно возопилъ:
—„Матушка моя родная!
Ты, княгиня молодая!
Посмотрите вы туда:
Ѣдетъ батюшка сюда".
Флотъ ужъ къ острову подходитъ.
Князь Гвидонъ трубу наводитъ:
Царь на палубѣ стоитъ,
И въ трубу на нихъ глядитъ;
Съ нимъ ткачиха съ поварихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой;
Удивляются онѣ

Незнакомой сторонѣ.
Разомъ пушки запалили,
Въ колокольняхъ зазвонили;
Къ морю самъ идетъ Гвидонъ,
Тамъ царя встрѣчаетъ онъ
Съ поварихой и ткачихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой;
Въ городъ онъ повелъ царя,
Ничего не говоря.

Всѣ теперь идутъ въ палаты,
У воротъ блистаютъ латы,
И стоятъ въ глазахъ царя
Тридцать три богатыря,
Всѣ—красавцы молодые,
Великаны удалые,
Всѣ равны, какъ на подборъ,
Съ ними дядька Черноморъ.
Царь вступилъ на дворъ широкій:
Тамъ подъ елкою высокой
Бѣлка пѣсенку поетъ,
Золотой орѣхъ грызетъ,
Изумрудецъ вынимаетъ
И въ мѣшочекъ опускаетъ;
И засѣянъ дворъ большой
Золотою скорлупой.
Гости далѣ—торопливо
Смотрятъ—что-жъ? Княгиня—диво:
Подъ косой луна блеститъ,
А во лбу звѣзда горитъ;
А сама-то величава,
Выступаетъ, будто пава,
И свекровь свою ведетъ.
Царь глядитъ—и узнаетъ...
Въ немъ взыграло ретивое!
— „Что я вижу? Что такое?
Какъ!“—и духъ въ немъ занялся...
Царь слезами залился,

Обнимаетъ онъ царицу
И сынка, и молодицу;
И садятся всѣ за столъ,
И веселый пиръ пошелъ.
А ткачиха съ поварихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой
Разбѣжались по угламъ;
Ихъ нашли насилу тамъ.
Тутъ во всемъ онѣ признались,
Повинились, разрыдались...
Царь для радости такой
Отпустилъ всѣхъ трехъ домой.
День прошелъ—царя Салтана
Уложили спать въ полпьяна.
Я тамъ былъ: медъ, пиво пилъ —
И усы лишь обмочилъ.

III.

СКАЗКА

О

МЕРТВОИ ЦАРЕВНѢ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХЪ.

(1833 г.)

Царь съ царицею простился,
Въ путь-дорогу снарядился,
И царица у окна
Сѣла ждать его одна.
Ждетъ-пождетъ съ утра до ночи,
Смотритъ въ поле, инда очи
Разболѣлись, глядючи
Съ бѣлой зори до ночи.
Не видать милого друга!
Только видитъ: вьется вьюга,
Снѣгъ валится на поля,
Вся бѣлешенька земля.
Девять мѣсяцевъ проходитъ,
Съ поля глазъ она не сводитъ,
Вотъ, въ сочельникъ въ самый, въ ночь,
Богъ даетъ царицѣ дочь.

Рано утромъ гость желанный,
День и ночь такъ долго жданный,
Издалеча, наконецъ,
Воротился царь-отецъ.

На него она взглянула,
Тяжелешенько вздохнула,
Восхищенья не снесла,
И къ обѣднѣ умерла.

Долго царь былъ неутѣшенъ;
Но какъ быть? и онъ былъ грѣшенъ:
Годъ прошелъ, какъ сонъ пустой,
Царь женился на другой.
Правду молвить, молодица
Ужъ и впрямь была царица:
Высока, стройна, бѣла,
И умомъ, и всѣмъ взяла;
Но зато горда, ломлива,
Своенравна и ревнива.
Ей въ приданое дано
Было зеркальце одно;
Свойство зеркальце имѣло:
Говорить оно умѣло.
Съ нимъ однимъ она была
Добродушна, весела;
Съ нимъ привѣтливо шутила,
И, красуясь, говорила:
—„Свѣтъ мой, зеркальце! скажи,
Да всю правду доложи:
Я-ль на свѣтѣ всѣхъ милѣе,
Всѣхъ румянѣй и бѣлѣе?“
И ей зеркальце въ отвѣтъ:
—„Ты, конечно, спору нѣтъ;
Ты, царица, всѣхъ милѣе,
Всѣхъ румянѣй и бѣлѣе“.
И царица хохотать,
И плечами пожимать,
И подмигивать глазами,
И прищелкивать перстами,
И вертѣться подбочась,
Гордо въ зеркальце глядясь.

Но царевна молодая,
Тихомолкомъ расцвѣтая,
Между тѣмъ росла, росла,
Поднялась—и расцвѣла,
Бѣлолица, черноброва,
Нрава кроткаго такого.
И женихъ сыскался ей,—
Королевичъ Елисей.
Сватъ пріѣхалъ; царь далъ слово;
А приданое готово:
Семь торговыхъ городовъ
Да сто сорокъ теремовъ.

На дѣвичникъ собираясь,
Вотъ, царица, наряжаясь
Передъ зеркальцемъ своимъ,
Перемолвилася съ нимъ:
—„Я-ль, скажи мнѣ, всѣхъ милѣе,
Всѣхъ румянѣй и бѣлѣе?“
Что же зеркальце въ отвѣтъ?—
—„Ты прекрасна, спору нѣтъ;
Но царевна всѣхъ милѣе,
Всѣхъ румянѣй и бѣлѣе.“
Какъ царица отпрыгнетъ,
Да какъ ручку замахнетъ,
Да по зеркальцу какъ хлопнетъ,
Каблучкомъ-то какъ притопнетъ!...
—„Ахъ ты, мерзкое стекло!
Это врешь ты мнѣ на зло.
Какъ тягаться ей со мною?
Я въ ней дурь-то успокою
Вишь, какая подросла!
И не диво, что бѣла:
Мать беременна сидѣла,
Да на снѣгъ лишь и глядѣла!
Но скажи: какъ можно ей
Быть во всемъ меня милѣй?
Признавайся: всѣхъ я краше!

Обойди все царство наше,
Хоть весь міръ, мнѣ равной нѣтъ.
Такъ ли?"—Зеркальце въ отвѣтъ:
—„А царевна все-жъ милѣе,
Все румянѣй и бѣлѣе."
Дѣлать нечего. Она,
Черной зависти полна,
Бросивъ зеркальце подъ лавку,
Позвала къ себѣ Чернавку,
И наказываетъ ей,
Сѣнной дѣвушкѣ своей,
Весть царевну въ глушь лѣсную
И, связавъ, ее живую
Подъ сосной оставить тамъ.
На съѣденіе волкамъ.

Чортъ ли сладитъ съ бабой гнѣвной?
Спорить нечего. Съ царевной,
Вотъ, Чернавка въ лѣсъ пошла,
И въ такую даль свела,
Что царевна догадалась,
И до смерти испугалась,
И взмолилась:—„Жизнь моя!
Въ чемъ, скажи, виновна я?
Не губи меня, дѣвица!
А какъ буду я царица,
Я пожалую тебя."
Та, въ душѣ ее любя,
Не убила, не связала,
Отпустила и сказала:
—„Не кручинься, Богъ съ тобой!"
А сама пришла домой.
„Что?—сказала ей царица:—
Гдѣ красавица-дѣвица?"
—„Тамъ, въ лѣсу, стоитъ одна,—
Отвѣчаетъ ей она:—
Крѣпко связаны ей локти;
Попадется звѣрю въ когти,

Меньше будетъ ей терпѣть,
Легче будетъ умереть.“ —

И молва трезвонить стала:
Дочка царская пропала!
Тужитъ бѣдный царь по ней.
Королевичъ Елисей,
Помолясь усердно Богу,
Отправляется въ дорогу
За красавицей-душой,
За невѣстой молодой.

Но невѣста молодая,
До зари въ лѣсу блуждая,
Между тѣмъ все шла да шла,
И на теремъ набрела.
Ей навстрѣчу песъ, залая,
Прибѣжалъ и смолкъ, играя;
Въ ворота вошла она;
На подворьѣ тишина.
Песъ бѣжитъ за ней, ласкаясь,
А царевна, подбираясь,
Поднялася на крыльцо
И взялася за кольцо;
Дверь тихонько отворилась,
И царевна очутилась
Въ свѣтлой горницѣ; кругомъ
Лавки, крытыя ковромъ,
Подъ святыми столъ дубовый,
Печь съ лежанкой изразцовой.
Видитъ дѣвица, что тутъ
Люди добрые живутъ;
Знать, не будетъ ей обидно.
Никого межъ тѣмъ не видно.
Домъ царевна обошла,
Все порядкомъ убрала,
Засвѣтила Богу свѣчку,
Затопила жарко печку,

На палати взобралась
И тихонько улеглась.

Часъ обѣда приближался;
Топотъ по двору раздался:
Входятъ семь богатырей,
Семь румяныхъ усачей.
Старшій молвилъ: „Что за диво!
Все такъ чисто и красиво.
Кто-то теремъ прибиралъ,
Да хозяевъ поджидалъ.
Кто же? выдь и покажися,
Съ нами честно подружися:
Коль ты старый человѣкъ,—
Дядей будешь намъ навѣкъ;
Коли парень ты румяный, —
Братецъ будешь намъ названый;
Коль старушка,—будь намъ мать,
Такъ и станемъ величать;
Коли красная дѣвица,—
Будь намъ милая сестрица“.

И царевна къ нимъ сошла,
Честь хозяямъ отдала,
Въ поясъ низко поклонилась,
Закраснѣвшись, извинилась,
Что де въ гости къ нимъ зашла,
Хоть звана и не была.
Вмигъ по рѣчи тѣ спознали,
Что царевну принимали;
Усадили въ уголокъ,
Подносили пирожокъ,
Рюмку полну наливали,
На подносѣ подавали.
Отъ зеленаго вина
Отрекалася она;
Пирожокъ лишь разломила,
Да кусочекъ прикусила,

И съ дороги отдыхать
Отпросилась на кровать.
Отвели они дѣвицу
Вверхъ, во свѣтлую свѣтлицу,
И оставили одну,
Отходящую ко сну.

День за днемъ идетъ, мелькая,
А царевна молодая
Все въ лѣсу,—не скучно ей
У семи богатырей.
Передъ утренней зарею
Братья дружною толпою
Выѣзжаютъ погулять,
Сѣрыхъ утокъ пострѣлять,
Руку правую потѣшить,
Сорочина въ полѣ спѣшить,
Иль башку съ широкихъ плечъ
У татарина отсѣчь,
Или вытравить изъ лѣса
Пятигорскаго черкеса.
А хозяюшкой она
Въ терему межъ тѣмъ одна,
Приберетъ и приготовитъ;
Имъ она не прекословитъ,
Не перечатъ ей они;
Такъ идутъ за днями дни.

Братья милую дѣвицу
Полюбили. Къ ней въ свѣтлицу
Разъ, лишь только разсвѣло,
Всѣхъ ихъ семеро вошло.
Старшій молвилъ ей:—„Дѣвица,
Знаешь: всѣмъ ты намъ сестрица,
Всѣхъ насъ семеро, тебя
Всѣ мы любимъ; за себя
Взять тебя мы всѣ бы рады,
Да нельзя; такъ Бога ради,

Помири насъ какъ-нибудь:
Одному женою будь,
Прочимъ ласковой сестрою.
Что-жъ качаешь головою?
Аль отказываешь намъ?
Аль товаръ не по купцамъ?"

— „Ой вы, молодцы честные,
Братцы вы мои родные,—
Имъ царевна говоритъ:—
Коли лгу, пусть Богъ велитъ
Не сойти живой мнѣ съ мѣста.
Какъ мнѣ быть? вѣдь я—невѣста!
Для меня вы всѣ равны,
Всѣ удалы, всѣ умны,
Всѣхъ я васъ люблю сердечно;
Но другому я навѣчно
Отдана. Мнѣ всѣхъ милѣй
Королевичъ Елисей".

Братья, молча, постояли,
Да въ затылкѣ почесали.
—„Спросъ не грѣхъ. Прости ты насъ,—
Старшій молвилъ, поклонясь:—
Коли такъ, не заикнуся
Ужъ о томъ".—„Я не сержуся—
Тихо молвила она:—
И отказъ мой не вина".
Женихи ей поклонились,
Потихоньку удалились,
И согласно всѣ опять
Стали жить да поживать.

Между тѣмъ царица злая,
Про царевну вспоминая,
Не могла простить ее;
А на зеркальце свое
Долго дулась и сердилась,

Наконецъ объ немъ хватилась
И пошла за нимъ и, сѣвъ
Передъ нимъ, забыла гнѣвъ,
Красоваться снова стала,
И съ улыбкою сказала:
—„Здравствуй, зеркальце! скажи,
Да всю правду доложи:
Я-ль на свѣтѣ всѣхъ милѣе,
Всѣхъ румянѣй и бѣлѣе?“
И ей зеркальце въ отвѣтъ:
—„Ты прекрасна, спору нѣтъ;
Но живетъ безъ всякой славы,
Средь зеленыя дубравы,
У семи богатырей
Та, что все-жъ тебя милѣй“.
И царица налетѣла
На Чернавку: „Какъ ты смѣла
Обмануть меня? и въ чемъ?...“
Та призналася во всемъ,
Такъ и такъ! Царица злая,
Ей рогаткой угрожая,
Положила иль не жить,
Иль царевну погубить.

Разъ царевна молодая,
Милыхъ братьевъ поджидая,
Пряла, сидя подъ окномъ.
Вдругъ сердито подъ крыльцомъ
Песъ залаялъ, и дѣвица
Видитъ: нищая черница
Ходитъ по двору, клюкой
Отгоняя пса.—„Постой,
Бабушка, постой немножко,—
Ей кричитъ она въ окошко:—
Пригрожу сама я псу,
И кой-что тебѣ снесу“.
Отвѣчаетъ ей черница:
—„Охъ, ты, дитятко, дѣвица!

Песъ проклятый одолѣлъ,
Чуть до смерти не заѣлъ.
Посмотри, какъ онъ хлопочетъ!
Выдь ко мнѣ".—Царевна хочетъ
Выдти къ ней, и хлѣбъ взяла,
Но съ крылечка лишь сошла,
Песъ ей подъ ноги—и лаетъ,
И къ старухѣ не пускаетъ;
Лишь пойдетъ старуха къ ней,
Онъ, лѣсного звѣря злѣй,
На старуху. Что за чудо?
—„Видно, выспался онъ худо,—
Ей царевна говоритъ:—
На-жъ, лови!"—и хлѣбъ летитъ.
Старушонка хлѣбъ поймала;
—„Благодарствую",—сказала:—
Богъ тебя благослови;
Вотъ за то тебѣ, лови!"
И къ царевнѣ наливное,
Молодое, золотое,
Прямо яблочко летитъ...
Песъ какъ прыгнетъ, завизжитъ,
Но царевна въ обѣ руки
Хвать—поймала.—„Ради скуки—
Кушай яблочко, мой свѣтъ.
Благодарствуй за обѣдъ!"
Старушоночка сказала,
Поклонилась и пропала.
И съ царевной на крыльцо
Песъ бѣжитъ и ей въ лицо
Жалко смотритъ, грозно воетъ,
Словно сердце песье ноетъ,
Словно хочетъ ей сказать:
„Брось!" Она его ласкать,
Треплетъ нѣжною рукою;
—„Что, Соколка, что съ тобою?
Лягъ!"—и въ комнату вошла,
Дверь тихонько заперла,

Подъ окно за пряжу сѣла
Ждать хозяевъ, а глядѣла
Все на яблоко. Оно
Соку спѣлаго полно,
Такъ свѣжо и такъ душисто,
Такъ румяно, золотисто,
Будто медомъ налилось,
Видны сѣмечки насквозь!
Подождать она хотѣла
До обѣда, не стерпѣла,
Въ руки яблочко взяла,
Къ алымъ губкамъ поднесла,
Потихоньку прокусила,
И кусочекъ проглотила...
Вдругъ она, моя душа,
Пошатнулась, не дыша,
Бѣлы руки опустила,
Плодъ румяный уронила,
Закатилися глаза,
И она подъ образа
Головой на лавку пала,
И тиха, недвижна стала...

Братья въ ту пору домой
Возвращалися толпой
Съ молодецкаго разбоя.
Имъ навстрѣчу, громко воя,
Песъ бѣжитъ, и ко двору
Путь имъ кажетъ.— „Не къ добру!—
Братья молвили:—печали
Не минуемъ“.—Прискакали,
Входятъ, ахнули. Вбѣжавъ,
Песъ на яблоко стремглавъ
Съ лаемъ кинулся, озлился,
Проглотилъ его, свалился
И издохъ. Напоено
Было ядомъ, знать, оно.
Передъ мертвою царевной

Братья въ горести душевной
Всѣ поникли головой,
И съ молитвою святой
Съ лавки подняли, одѣли,
Хоронить ее хотѣли
И раздумали. Она,
Какъ подъ крылышкомъ у сна,
Такъ тиха, свѣжа лежала,
Что лишь только не дышала.
Ждали три дня, но она
Не возстала ото сна.
Сотворивъ обрядъ печальный,
Вотъ они во гробъ хрустальный
Трупъ царевны молодой
Положили, и толпой
Понесли въ пустую гору,
И въ полуночную пору
Гробъ ея къ шести столбамъ
На цѣпяхъ чугунныхъ тамъ
Осторожно привинтили
И рѣшеткой оградили.
И предъ мертвою сестрой,
Сотворивъ поклонъ земной,
Старшій молвилъ: „Спи во гробѣ!—
Вдругъ погасла, жертвой злобѣ,
На землѣ твоя краса;
Духъ твой примутъ небеса.
Нами ты была любима
И для милаго хранима—
Не досталась никому,
Только гробу одному“.

Въ тотъ же день царица злая,
Доброй вѣсти ожидая,
Втайнѣ зеркальце взяла
И вопросъ свой задала:
—„Я-ль, скажи мнѣ, всѣхъ милѣе,
Всѣхъ румянѣй и бѣлѣе?“

И услышала въ отвѣтъ:
—„Ты, царица, спору нѣтъ;
Ты на свѣтѣ всѣхъ милѣе,
Всѣхъ румянѣй и бѣлѣе“.

За невѣстою своей
Королевичъ Елисей
Между тѣмъ по свѣту скачетъ.
Нѣтъ, какъ нѣтъ! Онъ горько плачетъ,
И кого ни спроситъ онъ,
Всѣмъ вопросъ его мудренъ;
Кто въ глаза ему смѣется,
Кто скорѣе отвернется.
Къ красну солнцу, наконецъ,
Обратился молодецъ.
—„Свѣтъ нашъ, солнышко! ты ходишь
Круглый годъ по небу, сводишь
Зиму съ теплою весной,
Всѣхъ насъ видишь подъ собой.
Аль откажешь мнѣ въ отвѣтѣ?
Не видало-ль гдѣ на свѣтѣ
Ты царевны молодой?
Я—женихъ ей“.—„Свѣтъ ты мой,—
Красно солнце отвѣчало:—
Я царевны не видало.
Знать, ее въ живыхъ ужъ нѣтъ.
Развѣ мѣсяцъ, мой сосѣдъ,
Гдѣ-нибудь ее да встрѣтилъ,
Или слѣдъ ея замѣтилъ.“—

Темной ночки Елисей
Дождался въ тоскѣ своей.
Только мѣсяцъ показался,
Онъ за нимъ съ мольбой погнался:
—„Мѣсяцъ, мѣсяцъ, мой дружокъ,
Позолоченый рожокъ!
Ты встаешь во тьмѣ глубокой,
Круглолицый, свѣтлоокій,

И обычай твой любя,
Звѣзды смотрятъ на тебя.
Аль откажешь мнѣ въ отвѣтѣ?
Не видалъ ли гдѣ на свѣтѣ
Ты царевны молодой?
Я—женихъ ей".—„Братецъ мой,—
Отвѣчаетъ мѣсяцъ ясный:—
Не видалъ я дѣвы красной.
На сторожѣ я стою
Только въ очередь мою.
Безъ меня царевна, видно,
Пробѣжала".—„Какъ обидно!"—
Королевичъ отвѣчалъ.
Ясный мѣсяцъ продолжалъ:
—„Погоди: объ ней, быть можетъ,
Вѣтеръ знаетъ. Онъ поможетъ.
Ты къ нему теперь ступай;
Не печалься же, прощай".—

Елисей, не унывая,
Къ вѣтру кинулся, взывая:
—„Вѣтеръ, вѣтеръ! ты могучъ,
Ты гоняешь стаи тучъ,
Ты волнуешь сине море,
Всюду вѣешь на просторѣ,
Не боишься никого,
Кромѣ Бога одного;
Аль откажешь мнѣ въ отвѣтѣ?
Не видалъ ли гдѣ на свѣтѣ
Ты царевны молодой?
Я—женихъ ея".—„Постой,—
Отвѣчаетъ вѣтеръ буйный:—
Тамъ, за рѣчкой тихоструйной,
Есть высокая гора,
Въ ней глубокая нора;
Въ той норѣ, во тьмѣ печальной,
Гробъ качается хрустальный
На цѣпяхъ между столбовъ.

Не видать ничьихъ слѣдовъ
Вкругъ того пустого мѣста;
Въ томъ гробу твоя невѣста.“ —

Вѣтеръ далѣ побѣжалъ.
Королевичъ зарыдалъ
И пошелъ къ пустому мѣсту,
На прекрасную невѣсту
Посмотрѣть еще хоть разъ.
Вотъ идетъ; и поднялась
Передъ нимъ гора крутая;
Вкругъ нея страна пустая;
Подъ горою темный входъ.
Онъ туда скорѣй идетъ.
Передъ нимъ, во мглѣ печальной,
Гробъ качается хрустальный,
И въ хрустальномъ гробѣ томъ
Спитъ царевна мертвымъ сномъ.
И о гробъ невѣсты милой
Онъ ударился всей силой.
Гробъ разбился. Дѣва вдругъ
Ожила. Глядитъ вокругъ
Изумленными глазами,
И, качаясь надъ цѣпями,
Привздохнувъ, произнесла:
„Какъ же долго я спала!“
И встаетъ она изъ гроба...
Ахъ!... и зарыдали оба.
Въ руки онъ ее беретъ
И на свѣтъ изъ тьмы несетъ
И, бесѣдуя пріятно,
Въ путь пускается обратно,
И трубитъ уже молва:
Дочка царская жива!

Дома въ ту пору безъ дѣла
Злая мачиха сидѣла
Передъ зеркальцемъ своимъ

И бесѣдовала съ нимъ,
Говоря: „Я-ль всѣхъ милѣе,
Всѣхъ румянѣй и бѣлѣе?“
И услышала въ отвѣтъ:
— Ты прекрасна, слова нѣтъ,
Но царевна все-жъ милѣе,
Все румянѣй и бѣлѣе.“ —
Злая мачиха, вскочивъ,
Объ полъ зеркальце разбивъ,
Въ двери прямо побѣжала
И царевну повстрѣчала.
Тутъ ее тоска взяла —
И царица умерла.
Лишь ее похоронили,
Свадьбу тотчасъ учинили,
И съ невѣстою своей
Обвѣнчался Елисей;
И никто съ начала міра
Не видалъ такого пира;
Я тамъ былъ: медъ, пиво пилъ,
Да усы лишь обмочилъ.

IV

СКАЗКА О РЫБАКѢ И РЫБКѢ.

(1833 г.)

Жилъ старикъ со своею старухой
У самаго синяго моря;
Они жили въ ветхой землянкѣ
Ровно тридцать лѣтъ и три года.
Старикъ ловилъ неводомъ рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Разъ онъ въ море закинулъ неводъ
Пришелъ неводъ съ одною тиной;
Онъ въ другой разъ закинулъ неводъ—
Пришелъ неводъ съ травой морскою;
Въ третій разъ закинулъ онъ неводъ—
Пришелъ неводъ съ золотою рыбкой,
Съ непростою рыбкой, золотою.
Какъ взмолится золотая рыбка,
Голосомъ молвитъ человѣчьимъ:
— „Отпусти ты, старче, меня въ море,
Дорогой за тебя дамъ откупъ:
Откуплюсь, чѣмъ только пожелаешь“.
Удивился старикъ, испугался:
Онъ рыбачилъ тридцать лѣтъ и три года,
И не слыхивалъ, чтобъ рыба говорила.
Отпустилъ онъ рыбку золотую
И сказалъ ей ласковое слово:
— „Богъ съ тобою, золотая рыбка!

Твоего мнѣ откупа не надо;
Ступай себѣ въ синее море,
Гуляй тамъ себѣ на просторѣ".
Воротился старикъ ко старухѣ,
Разсказалъ ей великое чудо:
— „Я сегодня поймалъ-было рыбку,
Золотую рыбку, не простую;
По-нашему говорила рыбка,
Домой, въ море синее просилась,
Дорогою цѣною откупалась:
Откупалась, чѣмъ только пожелаю.
Не посмѣлъ я взять съ нея выкупъ,—
Такъ пустилъ ее въ синее море."
Старика старуха забранила:
— „Дурачина ты, простофиля!
Не умѣлъ ты взять выкупа съ рыбки!
Хоть бы взялъ ты съ нея корыто:
Наше-то совсѣмъ раскололось".
Вотъ пошелъ онъ къ синему морю;
Видитъ: море слегка разыгралось.
Сталъ онъ кликать золотую рыбку;
Приплыла къ нему рыбка и спросила:
— „Чего тебѣ надобно, старче?"
Ей съ поклономъ старикъ отвѣчаетъ:
— „Смилуйся, государыня рыбка!
Разбранила меня моя старуха,
Не даетъ старику мнѣ покою:
Надобно ей новое корыто,—
Наше-то совсѣмъ раскололось."—
Отвѣчаетъ золотая рыбка:
— „Не печалься, ступай себѣ съ Богомъ!
Будетъ вамъ новое корыто".
Воротился старикъ ко старухѣ—
У старухи новое корыто.
Еще пуще старуха бранится:
— „Дурачина ты, простофиля!
Выпросилъ, дурачина, корыто!
Въ корытѣ много ли корысти?

Воротись, дурачина, ты къ рыбкѣ,
Поклонись ей, выпроси ужъ избу.“ —
Вотъ, пошелъ онъ къ синему морю:
Помутилося синее море.
Сталъ онъ кликать золотую рыбку;
Приплыла къ нему рыбка, спросила:
— „Чего тебѣ надобно, старче?“
Ей старикъ съ поклономъ отвѣчаетъ:
— „Смилуйся, государыня рыбка!
Еще пуще старуха бранится,
Не даетъ старику мнѣ покою:
Избу проситъ сварливая баба“.—
Отвѣчаетъ золотая рыбка:
— „Не печалься, ступай себѣ съ Богомъ!
Такъ и быть: изба вамъ ужъ будетъ.“
Пошелъ онъ ко своей землянкѣ,
А землянки нѣтъ ужъ и слѣда;
Передъ нимъ изба со свѣтелкой,
Съ кирпичною, бѣленою трубою,
Съ дубовыми, тесовыми вороты.
Старуха сидитъ подъ окошкомъ,
На чемъ свѣтъ стоитъ мужа ругаетъ:
— „Дурачина ты, прямой простофиля!
Выпросилъ, простофиля, избу!
Воротись, поклонися рыбкѣ:
Не хочу быть черной крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой.“ [1])

Пошелъ старикъ къ синему морю:
Неспокойно синее море.
Сталъ онъ кликать золотую рыбку;
Приплыла къ нему рыбка, спросила:
— „Чего тебѣ надобно, старче?“
Ей съ поклономъ старикъ отвѣчаетъ:
— „Смилуйся, государыня рыбка!
Пуще прежняго старуха вздурилась,

[1]) Столбовая дворянка, т.-е. потомственная.

Не даетъ старику мнѣ покою:
Ужъ не хочетъ быть она крестьянкой,
Хочетъ быть столбовою дворянкой.“—
Отвѣчаетъ золотая рыбка:
— „Не печалься, ступай себѣ съ Богомъ!“

Воротился старикъ ко старухѣ;
Что-жъ онъ видитъ? Высокій теремъ;
На крыльцѣ стоитъ его старуха
Въ дорогой собольей душегрѣйкѣ,
Парчевая на маковкѣ кичка[1]),
Жемчуги окружили шею;
На рукахъ золотые перстни,
На ногахъ красные сапожки.
Передъ нею усердные слуги;
Она бьетъ ихъ, за чупрунъ таскаетъ.
Говоритъ старикъ своей старухѣ:
— „Здравствуй, барыня-сударыня дворянка!
Чай, теперь твоя душенька довольна?“
На него прикрикнула старуха,
На конюшню служить его послала.

Вотъ, недѣля-другая проходитъ,—
Еще пуще старуха вздурилась;
Опять къ рыбкѣ старика посылаетъ.
— „Воротись, поклонися рыбкѣ:
Не хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей.“
Испугался старикъ, взмолился:
— „Что ты, баба, бѣлены объѣлась?
Ни ступить, ни молвить не умѣешь“.—
Насмѣшишь ты цѣлое царство.“—
Осердилася пуще старуха,
По щекѣ ударила мужа.
— „Какъ ты смѣешь, мужикъ, спорить со мною,
Со мною, дворянкой столбовою?

[1]) Кичка—головной уборъ въ видѣ высокаго кокошника, который носили знатныя замужнія женщины.

Ступай къ морю, говорятъ тебѣ честью:
Не пойдешь,—поведутъ поневолѣ."
Старичекъ отправился къ морю:
Почернѣло синее море.
Сталъ онъ кликать золотую рыбку;
Приплыла къ нему рыбка, спросила:
— „Чего тебѣ надобно, старче?"
Ей съ поклономъ старикъ отвѣчаетъ:
— „Смилуйся, государыня рыбка!
Опять моя старуха бунтуетъ:
Ужъ не хочетъ быть она дворянкой,
Хочетъ быть вольною царицей".—
Отвѣчаетъ золотая рыбка:
— „Не печалься, ступай себѣ съ Богомъ!
Добро! будетъ старуха царицей!"

Старичекъ къ старухѣ воротился.
Что-жъ? Предъ нимъ царскія палаты;
Въ палатахъ видитъ свою старуху:
За столомъ сидитъ она царицей,
Служатъ ей бояре да дворяне,
Наливаютъ ей заморскія вина,
Заѣдаетъ она пряникомъ печатнымъ[1]);
Вкругъ стоитъ ея грозная стража,
На плечахъ топорики держатъ.
Какъ увидѣлъ старикъ—испугался;
Въ ноги онъ старухѣ поклонился,
Молвилъ: „Здравствуй, грозная царица!
Ну, теперь твоя душенька довольна?"
На него старуха не взглянула,
Лишь съ очей прогнать его велѣла.
Подбѣжали бояре и дворяне,
Старика въ зашеи затолкали.
А въ дверяхъ-то стража подбѣжала,
Топорами чуть не изрубила;

[1]) Пряникъ съ разными надписями или изображеніями.

А народъ-то надъ нимъ насмѣялся:
— „Подѣломъ тебѣ, старый невѣжа!
Впредь тебѣ, невѣжа, наука —
Не садися не въ свои сани!“

Вотъ, недѣля-другая проходитъ, —
Еще пуще старуха вздурилась:
Царедворцевъ за мужемъ посылаетъ.
Отыскали старика, привели къ ней.
Говоритъ старику старуха:
„Воротись, поклонися рыбкѣ;
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мнѣ въ окіянѣ-морѣ,
Чтобъ служила мнѣ рыбка золотая
И была бъ у меня на посылкахъ.“

Старикъ не осмѣлился перечить,
Не дерзнулъ поперекъ слова молвить.
Вотъ, идетъ онъ къ синему морю;
Видитъ: на морѣ черная буря —
Такъ и вздулись сердитыя волны,
Такъ и ходятъ, такъ воемъ и воютъ.
Сталъ онъ кликать золотую рыбку.
Приплыла къ нему рыбка, спросила:
— „Чего тебѣ надобно, старче?“
Ей старикъ съ поклономъ отвѣчаетъ:
— „Смилуйся, государыня рыбка!
Что мнѣ дѣлать съ проклятою бабой?
Ужъ не хочетъ быть она царицей,
Хочетъ быть владычицей морскою,
Чтобы жить ей въ окіянѣ-морѣ,
Чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылкахъ“. —
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостомъ по водѣ плеснула

И ушла въ глубокое море.
Долго у моря ждалъ онъ отвѣта,
Не дождался, къ старухѣ воротился—
Глядь: опять передъ нимъ землянка,
На порогѣ сидитъ его старуха,
А передъ нею разбитое корыто.

V.

СКАЗКА О МЕДВѢДИХѢ.

(1824—1826 г.)

Какъ весенней теплой порою,
Изъ-подъ утренней бѣлой зорюшки,
Что изъ лѣсу, изъ лѣсу изъ дремучаго —
Выходила медвѣдиха,
Съ малыми дѣтушками-медвѣжатами,
Погулять, посмотрѣть, себя показать.
Сѣла медвѣдиха подъ березкой;
Стали медвѣжата промежъ собой играти,
Обниматися, боротися,
Боротися, да кувыркатися.
Отколь ни возьмись—мужикъ идетъ:
Онъ въ рукахъ несетъ рогатину,
А ножъ-то у него за поясомъ,
А мѣшокъ-то у него за плечами.
Какъ завидѣла медвѣдиха
Мужика съ рогатиной,
Заревѣла медвѣдиха,
Стала кликать дѣтушекъ,
Глупыхъ медвѣжатъ своихъ:
—„Ахъ, вы дѣтушки, медвѣжатушки!
Перестаньте валятися,
Обниматися, кувыркатися!
Становитесь, хоронитесь за меня:
Ужъ я васъ мужику не выдамъ,

Я сама мужику брюхо выѣмъ!“
Медвѣжатушки испугалися,
За медвѣдиху бросалися,
А медвѣдиха осержалася—
На дыбы поднималася.
А мужикъ-отъ, онъ догадливъ былъ,
Онъ пускался на медвѣдиху,
Онъ сажалъ въ нее рогатину,
Что повыше пупа, пониже печени.
Грянулась медвѣдиха о сыру землю;
А мужикъ-то ей брюхо поролъ,
Брюхо поролъ, да шкуру снималъ,
Малыхъ медвѣжатъ въ мѣшокъ поклалъ,
А поклавши-то домой пошелъ:
—„Вотъ тебѣ, жена, подарочекъ,
Что медвѣжья шуба въ пятьдесятъ рублевъ;
А что вотъ тебѣ подарочекъ
Трои медвѣжатъ по пяти рублевъ“.

Не звоны пошли по городу,
Пошли вѣсти по всему по лѣсу.
Дошли вѣсти до медвѣдя чернобурова,
Что убилъ мужикъ его медвѣдиху,
Распоролъ ей брюхо бѣлое,
Медвѣжатушекъ въ мѣшокъ поклалъ.
Въ ту пору медвѣдь запечалился,
Голову повѣсилъ, голосомъ завылъ
По свою ли сударушку
Чернобурую медвѣдиху:
—„Ахъ ты, свѣтъ, моя медвѣдиха!
На кого меня покинула,
Вдовца несчастнаго,
Вдовца горемычнаго?
Ужъ какъ мнѣ съ тобой, моей боярыней,
Веселой игры не игрывати,
Милыхъ дѣтушекъ не родити,
Медвѣжатушекъ не качати,
Не качати, не баюкати!“

Въ ту пору звѣри собиралися
Ко тому ли медвѣдю, ко боярину,
Прибѣгали звѣри бо́льшіе,
Прибѣгали тутъ звѣришки ме́ньшіе.
Прибѣгалъ тутъ волкъ-дворянинъ;
У него-то зубы закусливые,
У него-то глаза завистливые.
Приходилъ тутъ бобръ, торговый гость,
У него-то бобра жирный хвостъ.
Приходила ласочка-дворяночка,
Приходила бѣлочка-княгинечка,
Приходила лисица-подъячиха—
Подъячиха, казначеиха.
Приходилъ скоморохъ-горностаюшка,
Прибѣгалъ тутъ зайка-смердъ,
Зайка бѣдненькій, зайка сѣренькій!
Приходилъ байбакъ тутъ глумянъ,
Живетъ онъ, байбакъ, позади гумянъ;
Приходилъ цѣловальникъ-ёжъ:
Все-то онъ ёжъ ёжится,
Все-то онъ щетинится...
. . . . . [1]).

[1]) Неоконченная сказка.

VI.

СИНИЧКА.

пѣсня, записанная Пушкинымъ со словъ няни[1]).

За моремъ синичка не пышно жила,
Не пышно жила, пиво варивала;
Солоду купила, хмелю взаймы взяла.
Черный дроздъ пивоваромъ былъ,
Дай же, Боже, пиво-то сварить,
Пиво-то сварить, вина накурить.
Созовемъ къ себѣ гостей, мелкихъ пташечекъ.
Совушка-вдовушка, не званая пришла.
Снигирюшка по сѣнюшкамъ похаживаетъ,
Соловушка головушку поглаживаетъ,
Стали всѣ птички межъ собой говорить:
— Что же ты, Снигирюшка, не женишься?
— Радъ бы я жениться, да некого взять!
Взялъ бы я пернатку—та матка моя;
Взялъ бы я синичку—сестричка моя;
Взялъ бы я сороку—щекотливая;
Есть за моремъ перепелочка,
Та мнѣ ни матушка, ни тетушка;
Ту я люблю, ту за себя возьму.

---

[1]) Пѣсня очень старинная, встрѣчающаяся въ сборникахъ XVIII в.

VII.

РУСАЛКИ.

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ДРАМЫ «РУСАЛКА»

(1828—1832 г.)

Веселой толпою,
Съ глубокаго дна,
Мы ночью всплываемъ;
Насъ грѣетъ луна!...
Любо намъ порой ночною
Дно рѣчное покидать,
Любо вольной головою
Высь рѣчную разрѣзать,
Подавать другъ дружкѣ голосъ,
Воздухъ звонкій раздражать,
И зеленый, влажный волосъ
Въ немъ сушить и отряхать.
Тише! птичка подъ кустами
Встрепенулася во мглѣ.
Между мѣсяцемъ и нами
Кто-то ходитъ по землѣ.

— —

Что, сестрицы: въ полѣ чистомъ
Не догнать ли ихъ скорѣй?
Плескомъ, хохотомъ и свистомъ
Не пугнуть ли ихъ коней?

Поздно. Волны охладѣли,
Пѣтухи вдали пропѣли,
Высь небесная темна,
Закатилася луна.
— „Подождемъ еще, сестрица“.
— Нѣтъ, пора, пора, пора!
Ожидаетъ насъ царица,
Наша строгая сестра.—

Старшая Русалка: Оставьте пряжу, сестры.
Солнце сѣло!
Столбомъ луна блеститъ надъ нами.
Полно!
Плывите вверхъ, подъ небомъ поиграть,
Да никого не трогайте сегодня:
Ни пѣшехода щекотать не смѣйте,
Ни рыбакамъ ихъ неводъ отягчать
Травой и тиной, ни ребенка въ воду
Заманивать разсказами о рыбкахъ.

Отдѣлъ второй:

ДѢЛА ДАВНО МИНУВШИХЪ ДНЕЙ.

ДРЕВНЕРУССКІЙ КНЯЗЬ.

Больше тысячи лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ въ 862 году первый русскій князь Рюрикъ поселился на р. Волховѣ и сталъ править предками нашими, славянами.

Только войнами и походами и можно было тогда расширить свои владѣнія и удержать въ повиновеніи сосѣдей; оттого-то и въ пѣсняхъ прославлялись одни храбрые и сильные князья. Изъ древне-русскихъ князей особенно славенъ своими походами князь Олегъ, который, за малолѣтствомъ Игоря, сына Рюрика, долго и мудро правилъ Русью. Всѣ походы его кончались удачно: воевалъ онъ и съ необразованными степными обитателями береговъ Волги—хозарами, и заставилъ ихъ платить себѣ дань; ходилъ походомъ и на образованныхъ сосѣдей—грековъ, у которыхъ взялъ много дорогихъ тканей, золота, серебра, военныхъ доспѣховъ; дошелъ до самой столицы ихъ Константинополя, или Царьграда, и въ знакъ побѣды прибилъ на воротахъ его свой щитъ. Дивился народъ его удачамъ и прозвалъ за нихъ своего князя—«вѣщимъ», «мудрымъ». Никого и ничего не боялся Олегъ; всегда въ походахъ, одѣтый въ стальную броню, закрывавшую все тѣло, окруженный дружиной—войскомъ, Олегъ почти не разставался съ своимъ конемъ, любилъ его и холилъ. Всѣ славные походы дѣлилъ конь со своимъ хозяиномъ, и умереть, по обычаю, долженъ былъ съ нимъ: когда князья умирали, по нимъ правили пиръ—тризну, и закалывали на могилѣ любимаго коня. Боялся Олегъ только своихъ языческихъ боговъ и вѣрилъ въ чудесныя предсказанія колдуновъ-кудесниковъ. По преданію, кудесникъ предсказалъ ему смерть отъ любимаго коня, и предсказаніе сбылось, хотя конь и палъ раньше своего господина.

В. О.

1.—ПѢСНЬ О ВѢЩЕМЪ ОЛЕГѢ.

(1822 г.)

Какъ нынѣ сбирается вѣщій Олегъ
Отмстить неразумнымъ хозарамъ:
Ихъ села и нивы, за буйный набѣгъ,
Обрекъ онъ мечамъ и пожарамъ.
Съ дружиной своей, въ цареградской бронѣ[1]),
Князь по полю ѣдетъ на вѣрномъ конѣ.

Изъ темнаго лѣса, навстрѣчу ему,
Идетъ вдохновенный кудесникъ,
Покорный Перуну [2]) старикъ одному,
Завѣтовъ грядущаго вѣстникъ,
Въ мольбахъ и гаданьяхъ проведшій весь вѣкъ.
И къ мудрому старцу подъѣхалъ Олегъ.

— Скажи мнѣ, кудесникъ, любимецъ боговъ,
Что сбудется въ жизни со мною?
И скоро-ль, на радость сосѣдей-враговъ,
Могильной засыплюсь землею?
Открой мнѣ всю правду, не бойся меня:
Въ награду любого возьмешь ты коня. —

„Волхвы не боятся могучихъ владыкъ,
А княжескій даръ имъ не нуженъ;

---

[1]) Броня—одежда изъ желѣза или стали, покрывавшая тѣло и служившая защитою отъ ударовъ.

[2]) Перунъ—языческій богъ грома.

Правдивъ и свободенъ ихъ вѣщій языкъ
И съ волей небесною друженъ.
Грядущіе годы таятся во мглѣ;
Но вижу твой жребій на свѣтломъ челѣ.

„Запомни же нынѣ ты слово мое:
Воителю слава—отрада;
Побѣдой прославлено имя твое;
Твой щитъ на вратахъ Цареграда:
И волны, и суша покорны тебѣ;
Завидуетъ недругъ столь дивной судьбѣ.

„И синяго моря обманчивый валъ
Въ часы роковой непогоды,
И пращъ[1]), и стрѣла, и лукавый кинжалъ
Щадятъ побѣдителя годы...
Подъ грозной броней ты не вѣдаешь ранъ.
Незримый хранитель могущему данъ.

„Твой конь не боится опасныхъ трудовъ;
Онъ, чуя господскую волю,
То смирный стоитъ подъ стрѣлами враговъ,
То мчится по бранному полю,
И холодъ, и сѣча[2])—ему ничего:
Но примешь ты смерть отъ коня своего".

Олегъ усмѣхнулся; однако чело
И взоръ омрачилися думой.
Въ молчаньи, рукой опершись на сѣдло,
Съ коня онъ слѣзаетъ угрюмый;
И вѣрнаго друга прощальной рукой
И гладитъ, и треплетъ по шеѣ крутой.

„Прощай, мой товарищъ, мой вѣрный слуга,
Разстаться настало намъ время;

---

[1]) Пращъ—метательное оружіе, камень или кусокъ свинца, бросаемый въ непріятеля съ помощію палки, или ременной или веревочной петли.
[2]) Сѣча—кровопролитная битва.

Теперь отдыхай; ужъ не ступитъ нога
Въ твое позлащенное стремя.
Прощай, утѣшайся, да помни меня.
Вы, отроки-други[1]), возьмите коня!

Покройте попоной, мохнатымъ ковромъ;
Въ мой лугъ подъ уздцы отведите;
Купайте, кормите отборнымъ зерномъ,
Водой ключевою поите."
И отроки тотчасъ съ конемъ отошли,
А князю другого коня подвели.

Пируетъ съ дружиною вѣщій Олегъ
При звонѣ веселомъ стакана.
И кудри ихъ бѣлы, какъ утренній снѣгъ
Надъ славной главою кургана...
Они поминаютъ минувшіе дни,
И битвы, гдѣ вмѣстѣ рубились они.

—„А гдѣ мой товарищъ, промолвилъ Олегъ;
Скажите, гдѣ конь мой ретивый?
Здоровъ ли? Все также-ль легокъ его бѣгъ?
Все тотъ же-ль онъ бурный, игривый?"
И внемлетъ отвѣту: на холмѣ крутомъ
Давно ужъ почилъ непробуднымъ онъ сномъ.

Могучій Олегъ головою поникъ
И думаетъ: „Что же гаданье?
Кудесникъ, ты лживый, безумный старикъ!
Презрѣть бы твое предсказанье!
Мой конь и донынѣ носилъ бы меня".
И хочетъ увидѣть онъ кости коня.

Вотъ ѣдетъ могучій Олегъ со двора,
Съ нимъ Игорь и старые гости,
И видятъ—на холмѣ, у брега Днѣпра,

---

[1]) Отроки—княжьи слуги.

Лежатъ благородныя кости;
Ихъ моютъ дожди, засыпаетъ ихъ пыль,
И вѣтеръ волнуетъ надъ ними ковыль.

Князь тихо на черепъ коня наступилъ
И молвилъ: „Спи, другъ одинокій!
Твой старый хозяинъ тебя пережилъ:
На тризнѣ[1]), уже недалекой,
Не ты подъ сѣкирой ковыль обагришь
И жаркою кровью мой прахъ напоишь!

„Такъ вотъ гдѣ таилась погибель моя!
Мнѣ смертію кость угрожала!“
Изъ мертвой главы гробовая змія,
Шипя, между тѣмъ выползала;
Какъ черная лента вкругъ ногъ обвилась:
И вскрикнулъ внезапно ужаленный князь...

Ковши круговые, запѣнясь, шипятъ
На тризнѣ плачевной Олега:
Князь Игорь и Ольга[2]) на холмѣ сидятъ;
Дружина пируетъ у брега;
Бойцы поминаютъ минувшіе дни
И битвы, гдѣ вмѣстѣ рубились они.

---

[1]) Тризна — языческія поминки по покойникѣ, на которыхъ убивали любимаго коня.

[2]) Князь Игорь—княжилъ въ 912—945 г. Княгиня Ольга, вдова Игоря, княжившая за малолѣтствомъ своего сына Святослава умерла въ 969 г.

О ГРОЗНОМЪ ЦАРѢ и БОРИСѢ ГОДУНОВѢ.

Въ 1533 году на Московскій престолъ вступилъ трехлѣтній ребенокъ, сынъ Великаго князя Василія Іоанновича и Елены Васильевны Глинской, будущій первый русскій царь Іоаннъ Васильевичъ, получившій отъ народа прозваніе Грозный. Раннее дѣтство его прошло подъ нѣжной охраной любящей матери, но, къ сожалѣнію, уже съ восьмилѣтняго возраста онъ остался круглымъ сиротой, и заботы объ управленіи государствомъ и его воспитаніи перешли въ руки бояръ, во главѣ которыхъ стояла фамилія Шуйскихъ. Князь Василій Васильевичъ Шуйскій, тотъ самый, что «отражалъ рать Литвы» и братъ Иванъ Васильевичъ, люди, хотя и суровые, но энергичные и способные, вскорѣ умерли, и власть перешла въ руки ихъ родственниковъ, людей недальновидныхъ и корыстолюбивыхъ. Они заботились исключительно о своихъ выгодахъ: расхищали государеву казну, жаловали своихъ сторонниковъ помѣстьями и вотчинами и совсѣмъ не думали о пользѣ государственной. Воспитаніе Великаго Князя находилось въ полномъ пренебреженіи. Ненавидя его родителей, бояре не стѣснялись при отрокѣ оскорблять ихъ память, не останавливали его въ проявленіяхъ жестокости, столь свойственной дѣтямъ, съ насмѣшкой удаляли отъ него всѣхъ близкихъ и дорогихъ ему людей; въ немъ какъ бы намѣренно заглушались самыя лучшія человѣческія чувства: почтительность къ родителямъ, уваженіе и симпатія къ людямъ. Сами, того не понимая, бояре подготовляли себѣ страшную грозу. Человѣкъ отъ природы даровитый, Іоаннъ съ увлеченіемъ предавался чтенію преимущественно историческихъ и церковныхъ книгъ, и на основаніи ихъ составилъ себѣ идеалъ царя-помазанника Божія, власть котораго никѣмъ не должна быть ограничена.

Въ 1547 году онъ вѣнчался на царство, женился на Анастасіи Романовнѣ и вскорѣ занялся управленіемъ государства. До 1560 года была блестящая эпоха Іоаннова царствованія: завоеваны Казань, Астрахань, со-

вершенъ побѣдоносный походъ въ Крымъ, завязаны торговыя сношенія съ Англіей черезъ Бѣлое море, но въ этомъ году, къ общему горю, умираетъ кроткая царица, умѣвшая сдерживать пылкій и страстный характеръ царя, и Іоаннъ становится подозрителенъ, въ боярахъ видитъ измѣнниковъ, налагаетъ на нихъ опалы и предаетъ жестокимъ казнямъ. Но совѣсть, повидимому, часто мучила Грознаго царя; тогда онъ молился и каялся въ грѣхахъ; обратилъ даже свои палаты въ монастырь. Выбралъ изъ своихъ опричниковъ 300 человѣкъ самыхъ удалыхъ, назвалъ ихъ иноками (монахами), себя же сдѣлалъ игуменомъ. Опричники—это были люди, близкіе и вполнѣ преданные царю, исполнявшіе безпрекословно его волю. Довѣріемъ царя они часто злоупотребляли; народъ звалъ ихъ «кромѣшниками». Поверхъ шитыхъ золотомъ кафтановъ надѣвали они черныя рясы, на головѣ монашескія шапочки—скуфейки, или тафьи, и подъ страхомъ царскаго гнѣва спѣшили къ заутрени. Самъ царь съ царевичами и самымъ грознымъ изъ опричниковъ, Малютой Скуратовымъ, часа въ три утра поднимался на колокольню и благовѣстилъ. Отстоявъ заутреню и обѣдню, братія садилась за роскошно уставленные столы, пила и ѣла досыта. Царь во время этихъ трапезъ читалъ вслухъ священное писаніе, или бесѣдовалъ съ иноками-опричниками о вѣрѣ. Такіе монашескіе дни нерѣдко смѣнялись днями потѣхъ, охоты, разгула, и часто, по приказу грознаго царя, опричники, не снявъ даже монашескихъ одеждъ, вскакивали на коней и съ дикими криками мчались грабить дворъ какого-нибудь опальнаго боярина и чинить надъ нимъ кровавую расправу по чьему-нибудь доносу. Въ припадкѣ безумнаго гнѣва Іоаннъ убилъ даже своего любимаго сына Ивана, и послѣ его смерти остались два наслѣдника престола: старшій, Ѳеодоръ, и малолѣтній Димитрій. Царствовать долженъ былъ Ѳеодоръ, какъ старшій сынъ, но онъ былъ юноша слабый здоровьемъ, не сильный умомъ, застѣнчивый и болѣе склонный къ монашеству, чѣмъ къ управленію царствомъ. Жена его, Ирина, была тихаго, покорнаго нрава, любила своего слабаго мужа, но не могла быть ему помощницей въ государственныхъ дѣлахъ. Въ ночь кончины царя Іоанна во дворцѣ между боярами произошла смута: сторонники Димитрія, его родственники, хотѣли возвести на престолъ ребенка-царевича и управлять за него; но сторонниковъ у Ѳеодора было больше, и царемъ былъ провозглашенъ Ѳеодоръ Іоанновичъ. Димитрія же его родственники, бояре Нагіе, увезли поспѣшно въ Угличъ, городъ, пожалованный ему еще покойнымъ отцомъ, Іоанномъ Грознымъ. Мѣсто главнаго совѣтника и правителя при царѣ занялъ Борисъ Годуновъ. Онъ былъ незнатнаго рода, потомокъ татарскаго мурзы (князя) Чета, че-

ловѣкъ умный, хитрый, осторожный. Онъ былъ тоже опричникомъ у Іоанна, но такъ ловко умѣлъ держать себя, что, несмотря на гнѣвъ царя, ни разу не запятналъ себя кровавыми дѣлами. Кромѣ того, онъ былъ родня Ѳеодору:—молодой царь былъ женатъ на его сестрѣ. Царь любилъ и во всемъ довѣрялъ своему шурину; дарилъ его богатыми помѣстьями, и богаче его во всемъ царствѣ былъ только самъ царь. И Годуновъ вполнѣ заслужилъ такія царскія милости: мудро правилъ царствомъ, много трудился для его блага: заселялъ пустыя мѣста, укрѣплялъ границы, строилъ новые города, улучшилъ судъ и расправу. Страшныя казни временъ Грознаго не повторялись; дикія потѣхи его любимцевъ прекратились, и народъ отдохнулъ при кроткомъ Ѳеодорѣ. Никогда еще не бывало въ Московскомъ государствѣ, чтобы царскій родичъ, да еще не именитый бояринъ, вошелъ въ такую милость и силу у царя, какъ Годуновъ. Онъ былъ настоящимъ властителемъ царства; Ѳеодоръ былъ царемъ только по имени. Являлись ли въ Москву иноземные послы, рѣшалось ли какое важное дѣло, надо ли было бить челомъ о высокой царской милости,—обращались не къ царю, а къ Борису. Когда онъ выѣзжалъ, народъ падалъ передъ нимъ на колѣни. Закружилась голова Бориса отъ всѣхъ этихъ почестей, хотѣлось ему стать еще выше, но на дорогѣ стоялъ царевичъ Димитрій, съ воцареніемъ котораго, послѣ бездѣтнаго Ѳеодора, власть Годунова рухнетъ и перейдетъ къ родственникамъ Димитрія,—боярамъ Нагимъ. Не одинъ Годуновъ палъ бы при новомъ царѣ, всѣхъ его сторонниковъ ждала печальная участь—ссылка въ отдаленныя мѣста, лишеніе имущества, а часто—и самой жизни. И вотъ, желая упрочить власть за Борисомъ, приверженцы его помогли совершиться страшному дѣлу: 15 мая 1591 года, царевичъ Димитрій былъ зарѣзанъ въ Угличѣ преданными Борису людьми: Битяговскимъ, Качаловымъ и Волоховымъ, которыхъ народъ тутъ же разорвалъ на части. Молва народная приписала это убійство Борису, который, можетъ быть, и не зналъ о кровавомъ замыслѣ своихъ приверженцевъ.

Обо всѣхъ этихъ событіяхъ прежнихъ царствованій: о Грозномъ Іоаннѣ, кроткомъ Ѳеодорѣ, убіеніи Димитрія, войнахъ и т. д., мы знаемъ изъ лѣтописей. Въ древней Руси не было еще печатныхъ книгъ; писать и читать писанное умѣли лишь немногіе монахи и духовныя лица. Вотъ этимъ-то грамотнымъ монахамъ и пришло въ голову записывать все, что они знали и слышали, все, что творилось на Руси. Писали эти записи на длинныхъ полосахъ, свернутыхъ въ трубку; свитки эти звались хартіями, и много ихъ хранилось въ пыли и забвеніи въ разныхъ монастыряхъ. Записывались событія изъ года въ годъ, изъ лѣта въ лѣто, и всѣ

эти рукописныя сказанія и зовутся лѣтописями. На трудъ свой лѣтописцы-монахи смотрѣли какъ «на трудъ, завѣщанный отъ Бога», и старались записывать все вѣрно и точно.

Изъ лѣтописей же мы знаемъ и о дальнѣйшей судьбѣ Бориса и его рода. Долго горевалъ Ѳеодоръ о смерти брата своего Димитрія, законнаго наслѣдника престола и, умирая, не указалъ, кому передаетъ онъ царство, сказавъ—«на то святая воля Создателя». Пока не былъ избранъ новый царь, во главѣ государства сталъ патріархъ—главное духовное лицо. Царица Ирина, жена Ѳеодора, отказалась отъ престола и на 9-й день по его кончинѣ постриглась въ монахини. Народный говоръ указывалъ на Бориса какъ на достойнаго преемника царя Ѳеодора. Борисъ долго отказывался отъ царскаго вѣнца и согласился принять его только послѣ усиленныхъ просьбъ духовенства, бояръ и народа. Вступая на престолъ, Борисъ всенародно поклялся, что будетъ заботиться о народѣ и послѣднюю рубашку раздѣлитъ съ нимъ, и сдержалъ это слово. Громадныя богатства Бориса позволяли ему быть щедрымъ—онъ кормилъ, одѣвалъ на свой счетъ бѣдняковъ, облегчалъ подати, въ годины народныхъ бѣдствій—голода и мора, кормилъ тысячи народа, придумывалъ работы—словомъ, казалось, настала золотая пора для Россіи съ воцареніемъ Бориса. Но народъ не могъ простить царю убійства царевича, и злая молва объ этомъ злодѣяніи, распускаемая недоброжелателями Бориса, все росла и росла. Цареубійцу видѣлъ народъ въ Борисѣ, и никакими щедротами не могъ онъ купить народной любви. Бояре же не могли простить Борису его происхожденія; онъ—потомокъ какого-то татарскаго мурзы—царь, а они, потомки Рюрика, только слуги его. Про Бориса стали ходить въ народѣ темные слухи; его обвиняли во всѣхъ несчастіяхъ, даже такихъ, которыя и для него лично были величайшимъ горемъ. Такъ, желая породниться съ какимъ-нибудь королевскимъ иноземнымъ домомъ, Борисъ задумалъ выдать дочь свою Ксенію за датскаго принца Іоанна, брата датскаго короля. Королевичъ пріѣхалъ въ Москву и, красивый и привѣтливый, скоро сталъ общимъ любимцемъ. Но бракъ не состоялся: принцъ внезапно заболѣлъ жестокой горячкой, и, несмотря на неслыханныя милости, обѣщанныя Борисомъ, врачи не спасли отъ смерти жениха Ксеніи. Молва народная и въ этой смерти обвинила царя. Борисъ, видя растущее кругомъ недовольство, и самъ сталъ относиться къ боярамъ недовѣрчиво и становился подозрителенъ. Не о себѣ только заботился онъ: въ сынѣ своемъ Ѳеодорѣ онъ души не чаялъ, и самой задушевной мечтой его было закрѣпить престолъ за своимъ наслѣдникомъ. Онъ старался дать ему лучшее по тому

времени образованіе, сознавая, что наука нужна правителю царства. Въ 1600 г. пошли въ народѣ темные слухи, будто царевичъ Димитрій не убитъ, а спасенъ близкими людьми, будто, вмѣсто него, погибъ другой, схожій съ нимъ, ребенокъ. Дошелъ слухъ этотъ до Бориса и поразилъ его страшно. Желая выслѣдить и узнать, гдѣ кроется опасность, Борисъ усилилъ тайный надзоръ за боярами; начались подкупы слугъ, доносы, пытки и казни. Въ то время, когда русскій народъ волновался и ждалъ, скоро ли явится спасенный царевичъ, а Борисъ учреждалъ по западной границѣ заставы и принималъ всѣ мѣры, чтобы изловить страшнаго врага, въ Польшѣ вдругъ объявился тотъ, кого Борисъ искалъ въ Россіи и боялся выпустить изъ ея предѣловъ. Это былъ бѣглый послушникъ Чудова монастыря въ Москвѣ—Григорій Отрепьевъ; въ полякахъ нашелъ онъ поддержку своему замыслу объявить себя царевичемъ Димитріемъ, и набралъ себѣ войско изъ поляковъ и недовольныхъ русскихъ. Въ 1604 г., Лжедимитрій перешелъ Днѣпръ и явился въ русскихъ предѣлахъ. Царю онъ послалъ письмо, требуя, чтобъ тотъ добровольно уступилъ ему, законному наслѣднику, престолъ, а самъ шелъ бы въ монастырь.

Борисъ выслалъ противъ самозванца войско; но воеводы измѣняли ему и переходили на сторону Лжедимитрія; зловѣщія предчувствія томили царя; онъ совѣтовался съ ворожеями и гадателями, и тревога его все росла. 13 апрѣля 1605 года, Борисъ внезапно скончался, успѣвъ передъ смертью принять схиму (постричься въ монахи) и назначивъ наслѣдникомъ сына Ѳеодора. Ѳеодоръ, спустя два мѣсяца по воцареніи, былъ вмѣстѣ съ матерью убитъ мятежниками, Ксенія пострижена въ монастырь, и на россійскій престолъ вступилъ Лжедимитрій.

В. О.

II.—ИЗЪ „БОРИСА ГОДУНОВА“.

(1825 г.)

1.—Ночь. Келья въ Чудовомъ монастырѣ.

(1603 годъ.)

ОТЕЦЪ ПИМЕНЪ, ГРИГОРІЙ—*спящій.*

Пименъ (пишетъ передъ лампадой):

Еще одно, послѣднее сказанье,—
И лѣтопись окончена моя,
Исполненъ долгъ, завѣщанный отъ Бога
Мнѣ, грѣшному. Недаромъ многихъ лѣтъ
Свидѣтелемъ Господь меня поставилъ
И книжному искусству вразумилъ:
Когда-нибудь монахъ трудолюбивый
Найдетъ мой трудъ усердный, безыменный;
Засвѣтитъ онъ, какъ я, свою лампаду,
И пыль вѣковъ отъ хартій[1]) отряхнувъ,
Правдивыя сказанья перепишетъ,—
Да вѣдаютъ потомки православныхъ
Земли родной минувшую судьбу,
Своихъ царей великихъ поминаютъ
За ихъ труды, за славу, за добро—
А за грѣхи, за темныя дѣянья,
Спасителя смиренно умоляютъ...

---

[1]) Хартія—древняя рукопись на пергаментѣ, т.-е. на особой бумагѣ изъ кожи. См. стр. 116.

На старости я сызнова живу;
Минувшее проходитъ предо мною...
Давно-ль оно неслось, событій полно,
Волнуяся, какъ море-окіанъ?
Теперь оно безмолвно и спокойно:
Не много лицъ мнѣ память сохранила,
Не много словъ доходитъ до меня,
А прочее погибло невозвратно!...
Но близокъ день, лампада догораетъ—
Еще одно, послѣднее сказанье... (*Пишетъ*).

Григорій (*пробуждается*):
Все тотъ же сонъ! Возможно ль? Въ третій разъ!
Проклятый сонъ!... А все передъ лампадой
Старикъ сидитъ да пишетъ—и дремотой,
Знать, во всю ночь онъ не смыкалъ очей.
Какъ я люблю его спокойный видъ,
Когда, душой въ минувшемъ погруженный,
Онъ лѣтопись свою ведетъ; и часто
Я угадать хотѣлъ, о чемъ онъ пишетъ:
О темномъ ли владычествѣ татаръ?
О казняхъ ли свирѣпыхъ Іоанна?
О бурномъ ли новогородскомъ вѣчѣ[1])?
О славѣ ли отечества? Напрасно!
Ни на челѣ высокомъ, ни во взорахъ
Нельзя прочесть его сокрытыхъ думъ;
Все тотъ же видъ—смиренный, величавый...
Такъ точно дьякъ, въ приказахъ посѣдѣлый,
Спокойно зритъ на правыхъ и виновныхъ
Добру и злу внимая равнодушно,
Не вѣдая ни жалости, ни гнѣва.

Пименъ.—Проснулся, братъ.

Григорій.—Благослови меня,
Честной отецъ.

Пименъ.—Благослови Господь
Тебя и днесь, и присно, и во вѣки.

---

[1]) Вѣче—собраніе гражданъ для рѣшенія общественныхъ дѣлъ.

Григорій.—Ты все писалъ и сномъ не позабылся,
А мой покой бѣсовское мечтанье
Тревожило, и врагъ меня мутилъ:
Мнѣ снилося, что лѣстница крутая
Меня вела на башню; съ высоты
Мнѣ видѣлась Москва, что муравейникъ;
Внизу народъ на площади кипѣлъ
И на меня указывалъ со смѣхомъ;
И стыдно мнѣ, и страшно становилось —
И падая стремглавъ, я пробуждался....
И три раза мнѣ снился тотъ же сонъ.
Не чудно ли?

Пименъ.—Младая кровь играетъ;
Смиряй себя молитвой и постомъ,
И сны твои видѣній легкихъ будутъ
Исполнены. Донынѣ—если я,
Невольною дремотой обезсиленъ,
Не сотворю молитвы долгой къ ночи—
Мой старый сонъ не тихъ и не безгрѣшенъ:
Мнѣ чудятся то шумные пиры,
То ратный станъ, то схватки боевыя,
Безумныя потѣхи юныхъ лѣтъ!

Григорій.—Какъ весело провелъ свою ты младость!
Ты воевалъ подъ башнями Казани[1]),
Ты рать Литвы при Шуйскомъ отражалъ[2]),
Ты видѣлъ дворъ и роскошь Іоанна!
Счастливъ! а я отъ отроческихъ лѣтъ
По келіямъ скитаюсь, бѣдный инокъ!
Зачѣмъ и мнѣ не тѣшиться въ бояхъ,
Не пировать за царскою трапезой?
Успѣлъ бы я, какъ ты, на старость лѣтъ
Отъ суеты, отъ міра отложиться,
Произнести монашества обѣтъ
И въ тихую обитель затвориться.

---

[1]) Казань—столица одного изъ татарскихъ ханствъ, завоеванная Іоанномъ Грознымъ въ 1552 г.

[2]) Защита Смоленска отъ Литовскихъ войскъ въ 1514 г. Василіемъ Іоанновичемъ Шуйскимъ.

Пименъ.—Не сѣтуй, братъ, что рано грѣшный свѣтъ
Покинулъ ты, что мало искушеній
Послалъ тебѣ Всевышній. Вѣрь ты мнѣ:
Насъ издали плѣняютъ слава, роскошь...
Я долго жилъ и многимъ насладился;
Но съ той поры лишь вѣдаю блаженство,
Какъ въ монастырь Господь меня привелъ.
Подумай, сынъ, ты о царяхъ великихъ:
Кто выше ихъ? Единый Богъ! Кто смѣетъ
Противу нихъ? Никто! А что же? Часто
Златой вѣнецъ тяжелъ имъ становился:
Они его мѣняли на клобукъ.
Царь Іоаннъ искалъ успокоенья
Въ подобіи монашескихъ трудовъ.
Его дворецъ, любимцевъ гордыхъ полный,
Монастыря видъ новый принималъ:
Кромѣшники[1]) въ тафьяхъе[2]) и власяницахъ[3])
Послушными являлись чернцами,
А грозный царь—игумномъ богомольнымъ.
Я видѣлъ здѣсь, вотъ въ этой самой кельѣ...
Въ ней жилъ тогда Кириллъ многострадальный,
Мужъ праведный; тогда ужъ и меня
Сподобилъ Богъ уразумѣть ничтожность
Мірскихъ суетъ. Здѣсь видѣлъ я царя,
Усталаго отъ дневныхъ думъ и казней:
Задумчивъ, тихъ сидѣлъ межъ нами Грозный;
Мы передъ нимъ недвижимо стояли,
И тихо онъ бесѣду съ нами велъ.
Онъ говорилъ игумну и всей братьѣ:
—„Отцы мои, желанный день придетъ:
Предстану здѣсь, алкающій спасенья;
Ты, Никодимъ, ты, Сергій, ты, Кириллъ,

---

[1]) Кромѣшники—преступники—опричники, особая стража Іоанна Грознаго изъ незнатныхъ людей.

[2]) Тафья—головной уборъ въ видѣ шапки.

[3]) Власяница—темнаго цвѣта грубая ткань изъ козьей шерсти, носимая въ знакъ печали.

Вы всѣ—обѣтъ примите мой духовный:
Пріиду къ вамъ, преступникъ окаянный,
И схиму [1]) здѣсь честную восприму,
Къ стопамъ твоимъ, святый отецъ, припадши."
Такъ говорилъ державный государь,
И сладко рѣчь изъ устъ его лилася,
И плакалъ онъ. А мы въ слезахъ молились,
Да ниспошлетъ Господь любовь и миръ
Его душѣ, страдающей и бурной...
А сынъ его Ѳеодоръ[2])? На престолѣ
Онъ воздыхалъ о мирномъ житіи
Молчальника. Онъ царскіе чертоги
Преобратилъ въ молитвенную келью;
Тамъ тяжкія державныя печали
Святой души его не возмущали.
Богъ возлюбилъ смиреніе царя,
И Русь при немъ во славѣ безмятежной
Утѣшилась—а въ часъ его кончины
Свершилося неслыханное чудо:
Къ его одру, царю едину зримый,
Явился мужъ, необычайно свѣтелъ,
И началъ съ нимъ бесѣдовать Ѳеодоръ,
И называть великимъ патріархомъ...
И всѣ кругомъ объяты были страхомъ,
Уразумѣвъ небесное видѣнье,
Зане[3]) святый владыка предъ царемъ
Во храминѣ тогда не находился.
Когда же онъ преставился, палаты
Исполнились святымъ благоуханьемъ,
И ликъ его, какъ солнце, просіялъ.
Ужъ не видать такого намъ царя...
О, страшное, невиданное горе!
Прогнѣвали мы Бога, согрѣшили:

---

[1]) Схима—особое монашеское платье, надѣваемое принимающимъ обѣтъ особенно строгаго монашества.

[2]) Ѳеодоръ Іоанновичъ, сынъ Іоанна Грознаго отъ первой его жены Анастасіи Романовны, царствовалъ отъ 1589 по 1598 г.

[3]) Зане—потому что.

Владыкою себѣ цареубійцу
Мы нарекли.
Григорій.—Давно, честный отецъ,
Хотѣлось мнѣ тебя спросить о смерти
Димитрія-царевича; въ то время
Ты, говорятъ, былъ въ Угличѣ.
Пименъ.—Охъ, помню!
Привелъ меня Богъ видѣть злое дѣло,
Кровавый грѣхъ. Тогда я въ дальній Угличъ
На нѣкое былъ усланъ послушанье.
Пришелъ я въ ночь. Наутро, въ часъ обѣдни,
Вдругъ слышу звонъ; ударили въ набатъ;
Крикъ, шумъ! Бѣгутъ на дворъ царицы. Я
Спѣшу туда-жъ,—а тамъ уже весь городъ.
Гляжу: лежитъ зарѣзанный царевичъ;
Царица-мать въ безпамятствѣ надъ нимъ;
Кормилица въ отчаяньи рыдаетъ,
А тутъ народъ, остервенясь, волочитъ
Безбожную предательницу-мамку...
Вдругъ между нихъ, свирѣпъ, отъ злости блѣденъ,
Является Іуда-Битяговскій.
„Вотъ, вотъ злодѣй!“ раздался общій вопль,
И вмигъ его не стало. Тутъ народъ
Вслѣдъ бросился бѣжавшимъ тремъ убійцамъ;
Укрывшихся злодѣевъ захватили
И привели предъ теплый трупъ младенца,
И чудо—вдругъ мертвецъ затрепеталъ!
„Покайтеся!“ народъ имъ завопилъ:
И въ ужасѣ, подъ топоромъ, злодѣи
Покаялись—и назвали Бориса.
Григорій.—Какихъ былъ лѣтъ царевичъ убіенный?
Пименъ.—Да лѣтъ семи; ему бы нынѣ было—
(Тому прошло ужъ десять лѣтъ... нѣтъ, больше:
Двѣнадцать лѣтъ)—онъ былъ бы твой ровесникъ
И царствовалъ; но Богъ судилъ иное...
Сей повѣстью плачевной заключу
Я лѣтопись свою; съ тѣхъ поръ я мало
Вникалъ въ дѣла мірскія. Братъ Григорій,

Ты грамотой свой разумъ просвѣтилъ:
Тебѣ свой трудъ передаю. Въ часы
Свободные отъ подвиговъ духовныхъ
Описывай, не мудрствуя лукаво,
Все то, чему свидѣтель въ жизни будешь:
Войну и миръ, управу государей,
Угодниковъ святыя чудеса,
Пророчества и знаменья небесны—
А мнѣ пора, пора ужъ отдохнуть
И погасить лампаду... Но звонятъ
Къ заутренѣ... Благослови, Господь
Своихъ рабовъ!... Подай костыль, Григорій. (*Уходитъ*).

Григорій.—Борисъ, Борисъ! все предъ тобой трепещетъ,
Никто тебѣ не смѣетъ и напомнить
О жребіи несчастнаго младенца;
А между тѣмъ отшельникъ въ темной кельѣ
Здѣсь на тебя доносъ ужасный пишетъ:
И не уйдешь ты отъ суда мірского,
Какъ не уйдешь отъ Божьяго суда!

2.—Корчма на Литовской границѣ.

Мисаилъ и Варлаамъ, бродяги въ видѣ чернецовъ; Григорій Отрепьевъ—міряниномъ; Хозяйка.

Хозяйка. — Чѣмъ-то мнѣ васъ подчевать, старцы честные?

Варлаамъ.—Чѣмъ Богъ пошлетъ, хозяюшка. Нѣтъ ли вина?

Хозяйка.—Какъ не быть, отцы мои! сейчасъ вынесу. (*Уходитъ*).

Мисаилъ.—Что-жъ ты закручинился, товарищъ? Вотъ и граница Литовская, до которой такъ хотѣлось тебѣ добраться.

Григорій.—Пока не буду въ Литвѣ, до тѣхъ поръ не буду спокоенъ.

Варлаамъ.—Что тебѣ Литва такъ слюбилась? Вотъ мы, отецъ Мисаилъ да я грѣшный, какъ утекли изъ монастыря, такъ ни о чемъ и не думаемъ. Литва ли, Русь ли, что гудокъ[1]), что гусли,—все намъ равно, было бы вино... да вотъ и оно!..

Мисаилъ.—Складно сказано, отецъ Варлаамъ.

Хозяйка (*входитъ*).—Вотъ вамъ, отцы мои. Пейте на здоровье.

Мисаилъ. — Спасибо, родная, Богъ тебя благослови. (*Пьютъ. Варлаамъ затягиваетъ пѣсню: „Какъ во городѣ было во Казани“...*). Что же ты не подтягиваешь; да и не потягиваешь

Григорій.—Не хочу.

Мисаилъ.—Вольному воля...

Варлаамъ.—А пьяному рай, отецъ Мисаилъ! Выпьемъ же чарочку за шинкарочку [2])... (*Пьетъ*). Однако, отецъ Мисаилъ, когда я пью, такъ трезвыхъ не люблю: иное дѣло—пьянство, а иное—чванство; хочешь жить, какъ мы, — милости просимъ; нѣтъ, — такъ убирайся, проваливай: скоморохъ—попу не товарищъ.

Григорій.—Пей, да про себя разумѣй, отецъ Варлаамъ! Видишь, и я порой складно говорить умѣю.

Варлаамъ.—А что мнѣ про себя разумѣть?

Мисаилъ.—Оставь его, отецъ Варлаамъ.

Варлаамъ.—Да что онъ за постникъ? Самъ же къ намъ назвался въ товарищи, невѣдомо кто, невѣдомо откуда —да еще и спѣсивится. (*Пьетъ и поетъ: „Молодой чернецъ постригся“*).

Григорій (*хозяйкѣ*).—Куда ведетъ эта дорога?

Хозяйка.—Въ Литву, мой кормилецъ, къ Луевымъ горамъ.

Григорій.—А далече ли до Луевыхъ горъ?

Хозяйка.—Недалече, къ вечеру можно бы туда поспѣть, кабы не заставы царскія да сторожевые приставы.

Григорій.—Какъ, заставы? что это значитъ?

---

[1]) Гудокъ—старинная русская трехструнная скрипка; гусли—музыкальный струнный инструментъ въ видѣ горизонтальной арфы изъ 6 струнъ.

[2]) Шинокъ—кабакъ; шинкарка—хозяйка кабака.

Хозяйка.—Кто-то бѣжалъ изъ Москвы, а велѣно всѣхъ задерживать, да осматривать.

Григорій (*про себя*).—Вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день [1]).

Варлаамъ.—Эй, товарищъ! да ты къ хозяйкѣ присусѣдился. Знать, не нужна тебѣ водка, а нужна молодка: дѣло, братъ, дѣло! У всякаго свой обычай, а у насъ съ отцомъ Мисаиломъ одна заботушка—пьемъ до донушка, выпьемъ, поворотимъ, и въ донушко поколотимъ.

Мисаилъ.—Складно сказано, отецъ Варлаамъ.

Григорій(*хозяйкѣ*).—Да кого-жъ имъ надобно? Кто бѣжалъ изъ Москвы?

Хозяйка.—А Господь его вѣдаетъ, воръ ли, разбойникъ, только здѣсь и добрымъ людямъ нынѣ прохода нѣтъ. А что изъ того будетъ? Ничего; ни лысаго бѣса не поймаютъ: будто въ Литву нѣтъ и другого пути, какъ столбовая дорога! Вотъ хоть отсюда свороти влѣво, да боромъ иди по тропинкѣ до часовни, что на Чеканскомъ ручью, а тамъ прямо черезъ болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево, а тутъ ужъ всякій мальчишка доведетъ до Луевыхъ горъ. Отъ этихъ приставовъ только и толку, что притѣсняютъ прохожихъ да обираютъ насъ, бѣдныхъ. *(Слышенъ шумъ).* Что тамъ еще? Ахъ, вотъ они, проклятые! дозоромъ идутъ.

Григорій.—Хозяйка! нѣтъ ли въ избѣ другого угла?

Хозяйка.—Нѣту, родимый, рада бы сама спрятаться. Только слава, что дозоромъ ходятъ, а подавай имъ вина и хлѣба и невѣдомо чего—чтобъ имъ издохнуть, окаяннымъ! чтобъ имъ... (*Входятъ приставы*).

Приставъ.—Здорово, хозяйка!

Хозяйка.—Добро пожаловать, гости дорогіе, милости просимъ.

Одинъ приставъ. *(Другому).*—Ба, да здѣсь попойка идетъ; будетъ чѣмъ поживиться. (*Монахамъ*) Вы что за люди?

---

[1]) Юрьевъ день—день 23 апрѣля, когда разрѣшался переходъ крестьянъ отъ одного помѣщика къ другому; этотъ переходъ былъ запрещенъ указомъ въ 1597 году по настоянію Бориса Годунова и дѣлалъ крестьянъ крѣпостными.

Варлаамъ.—Мы—Божіи старцы, иноки смиренные, ходимъ по селеньямъ, да собираемъ милостыню христіанскую на монастырь.

Приставъ (*Григорію*).—А ты?

Мисаилъ.—Нашъ товарищъ...

Григорій.—Мірянинъ изъ пригорода; проводилъ старцевъ до рубежа; отселѣ иду во-свояси.

Мисаилъ.—Такъ ты раздумалъ...

Григорій (*тихо*).—Молчи.

Приставъ.—Хозяйка, выставь-ка еще вина; а мы здѣсь со старцами попьемъ, да побесѣдуемъ.

Другой приставъ (*тихо*).—Парень-то, кажется, голъ; съ него взять нечего; зато старцы...

Первый.—Молчи, сейчасъ до нихъ доберемся.—Что, отцы мои, каково промышляете?

Варлаамъ.—Плохо, сыне, плохо! нынѣ христіане стали скупы; деньгу любятъ, деньгу прячутъ. Мало Богу даютъ. Пріиде грѣхъ велій на языцы земніи. Всѣ пустилися въ торги, въ мытарства; думаютъ о мірскомъ богатствѣ, не о спасеніи души. Ходишь, ходишь, молишь, молишь; иногда въ три дни трехъ полушекъ [1]) не вымолишь. Такой грѣхъ! Пройдетъ недѣля-другая, заглянешь въ мошонку, анъ въ ней такъ мало, что совѣстно въ монастырь показаться; что дѣлать? съ горя и остальное пропьешь; бѣда да и только.—Охъ, плохо! знать, пришли наши послѣднія времена...

Хозяйка (*плачетъ*).—Господь помилуй и спаси!

(*Въ продолженіе Варлаамовой рѣчи первый приставъ значительно всматривается въ Мисаила*).

Первый приставъ.—Алеха! при тебѣ ли царскій указъ?

Второй.—При мнѣ.

Первый.—Подай-ка сюда.

Мисаилъ.—Что ты на меня такъ пристально смотришь?

Первый приставъ.—А вотъ что: изъ Москвы бѣжалъ нѣкоторый злой еретикъ, Гришка Отрепьевъ. Слыхалъ ли ты это?

Мисаилъ.—Не слыхалъ.

---

[1]) Полушка—самая мелкая древняя монета.

Приставъ.—Не слыхалъ? Ладно. А того бѣглаго еретика царь приказалъ изловить и повѣсить. Знаешь ли ты это?

Мисаилъ.—Не знаю.

Приставъ (*Варлааму*).—Умѣешь ли ты читать?

Варлаамъ.—Смолоду зналъ, да разучился.

Приставъ (*Мисаилу*).—А ты?

Мисаилъ.—Не умудрилъ Господь.

Приставъ.—Такъ вотъ тебѣ царскій указъ.

Мисаилъ.—На что мнѣ его?

Приставъ.—Мнѣ сдается, что этотъ бѣглый еретикъ, воръ, мошенникъ—ты.

Мисаилъ.—Я? Помилуй! что ты!

Приставъ.—Постой! держи двери. Вотъ мы сейчасъ и справимся.

Хозяйка.—Ахъ они, окаянные мучители! и старца-то въ покоѣ не оставятъ!

Приставъ.—Кто здѣсь грамотный?

Григорій (*выступаетъ впередъ*).—Я грамотный!

Приставъ.—Вотъ на... А у кого же ты научился?

Григорій.—У нашего пономаря.

Приставъ (*даетъ ему указъ*).—Читай же вслухъ.

Григорій (*читаетъ*).—„Чудова монастыря недостойный чернецъ Григорій, изъ роду Отрепьевыхъ, впалъ въ ересь и дерзнулъ, наученный діаволомъ, возмущать святую братію всякими соблазнами и беззаконіями. А по справкамъ оказалось, отбѣжалъ онъ, окаянный Гришка, къ границѣ Литовской“...

Приставъ (*Мисаилу*).—Какъ же не ты?

Григорій.—„И царь повелѣлъ изловить его“...

Приставъ.—И повѣсить!

Григорій.—Тутъ не сказано: повѣсить.

Приставъ.—Врешь! Не всякое слово въ строку пишется. Читай: изловить и повѣсить.

Григорій.—„И повѣсить. А лѣтъ ему, вору Гришкѣ, отъ роду... (*смотря на Варлаама*) за 50, а росту онъ средняго, лобъ имѣетъ плѣшивый, бороду сѣдую, брюхо толстое“. (*Всѣ глядятъ на Варлаама*).

1-й приставъ.—Ребята! здѣсь Гришка! держите, вяжите его! Вотъ ужъ не думалъ, не гадалъ!

Варлаамъ *(вырывая бумагу)*. —Отстаньте, пострѣлы! что я за Гришка? Какъ! 50 лѣтъ, борода сѣдая, брюхо толстое! Нѣтъ, братъ, молодъ еще надо мною шутки шутить. Я давно не читывалъ и худо разбираю, а тутъ ужъ разберу, какъ дѣло до петли доходитъ. (*Читаетъ по складамъ*): „А лѣтъ е-му отъ ро-ду 20“.—Что, братъ, гдѣ тутъ 50? видишь—20?

2-й приставъ.—Да, помнится, двадцать; такъ и намъ было сказано.

1-й приставъ. *(Григорію)*.—Да ты, братъ, видно,—забавникъ. *(Во время чтенія, Григорій стоитъ потупя голову, съ рукою за пазухой)*.

Варлаамъ *(продолжаетъ)*. —„А ростомъ онъ малъ, грудь широкая, одна рука короче другой, глаза голубые, волосы рыжіе, на щекѣ бородавка, на лбу другая“. Да это другъ, ужъ не ты ли?

(*Григорій вдругъ вынимаетъ кинжалъ всѣ передъ нимъ разступаются; онъ бросается въ окно*).

Приставы.—Держи! держи! *(Всѣ бѣгутъ въ безпорядкѣ)*.

3.—Царскія палаты.

ДВА СТОЛЬНИКА.

Первый.—Гдѣ государь?

Второй.—Въ своей опочивальнѣ.
Онъ заперся съ какимъ-то колдуномъ.

Первый.—Такъ; вотъ его любимая бесѣда:
Кудесники, гадатели, колдуньи.
Все ворожитъ, что красная невѣста.
Желалъ бы знать, о чемъ гадаетъ онъ?

Второй.—Вотъ онъ идетъ. Угодно-ли спросить?

Первый.—Какъ онъ угрюмъ! (*Уходятъ*).

Царь Борисъ (*входитъ*).—Достигъ я высшей власти;
Шестой ужъ годъ я царствую спокойно;
Но счастья нѣтъ моей душѣ.

Напрасно мнѣ кудесники сулятъ
Дни долгіе, дни власти безмятежной,—
Ни власть, ни жизнь, меня не веселятъ;
Предчувствую небесный громъ и горе.
Мнѣ счастья нѣтъ. Я думалъ свой народъ
Въ довольствіи, во славѣ успокоить,
Щедротами любовь его снискать,
Но отложилъ пустое попеченье:
Живая власть для черни ненавистна—
Они любить умѣютъ только мертвыхъ.
Безумны мы; когда народный плескъ
Иль ярый вопль тревожитъ сердце наше.
Богъ насылалъ на землю нашу гладъ;
Народъ завылъ, въ мученьяхъ погибая;
Я отворилъ имъ житницы; я злато
Разсыпалъ имъ; я имъ сыскалъ работы:
Они-жъ меня, бѣснуясь, проклинали!
Пожарный огнь ихъ домы истребилъ;
Я выстроилъ имъ новыя жилища:
Они-жъ меня пожаромъ упрекали!
Вотъ черни судъ: ищи жъ ея любви!
Въ семьѣ моей я мнилъ найти отраду,
Я дочь мою мнилъ осчастливить бракомъ;
Какъ буря, смерть уноситъ жениха...
И тутъ молва лукаво нарекаетъ
Виновникомъ дочерняго вдовства
Меня, меня, несчастнаго отца!....
Кто ни умретъ—я всѣхъ убійца тайный:
Я ускорилъ Ѳеодора кончину,
Я отравилъ свою сестру, царицу,
Монахиню смиренную... [1]) все я!
Ахъ, чувствую: ничто не можетъ насъ
Среди мірскихъ печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина развѣ совѣсть!
Такъ, здравая, она восторжествуетъ

---

[1]) Ирина Ѳеодоровна—сестра Бориса Годунова, супруга царя Ѳеодора Іоанновича, по смерти котораго удалилась въ монастырь; умерла въ 1603 г.

Надъ злобою, надъ темной клеветою;
Но если въ ней единое пятно,
Единое случайно завелося,
Тогда бѣда: какъ язвой моровой
Душа сгоритъ, нальется сердце ядомъ,
Какъ молоткомъ, стучитъ въ ушахъ упрекомъ,
И все тошнитъ, и голова кружится,
И мальчики кровавые въ глазахъ...
И радъ бѣжать, да некуда... ужасно!
Да, жалокъ тотъ, въ комъ совѣсть нечиста!

4.—Царскія палаты.

ЦАРЕВИЧЪ ЧЕРТИТЪ ГЕОГРАФИЧЕСКУЮ КАРТУ; ЦАРЕВНА, МАМКА ЦАРЕВНЫ.

Ксенія (*цѣлуетъ портретъ*).—Милый мой женихъ, прекрасный королевичъ, не мнѣ ты достался, не своей невѣстѣ, а темной могилкѣ, на чужой сторонкѣ; никогда не утѣшусь, вѣчно по тебѣ буду плакать.

Мамка.—И! царевна! Дѣвица плачетъ, что роса падаетъ! взойдетъ солнце, росу высушитъ. Будетъ у тебя другой женихъ, — и прекрасный, и привѣтливый. Полюбишь его, дитя наше ненаглядное, забудешь Ивана — королевича.

Ксенія.—Нѣтъ, мамушка, я и мертвому буду ему вѣрна. *(Входитъ Борисъ).*

Царь.—Что, Ксенія? Что, милая моя?
Въ невѣстахъ ужъ печальная вдовица!
Все плачешь ты о мертвомъ женихѣ.
Дитя мое! судьба мнѣ не судила
Виновникомъ быть вашего блаженства.
Я, можетъ быть, прогнѣвалъ небеса,
Я счастіе твое не могъ устроить;
Безвинная! зачѣмъ же ты страдаешь?
А ты, мой сынъ, чѣмъ занятъ? Это что?

Ѳеодоръ.—Чертежъ земли Московской; наше царство
Изъ края въ край. Вотъ видишь: тутъ Москва,
Тутъ Новгородъ, тутъ Астрахань. Вотъ море,
Вотъ пермскіе дремучіе лѣса,
А вотъ Сибирь. [1])
Царь.—А это что такое—
Узоромъ здѣсь віется?
Ѳеодоръ.—Это Волга.
Царь.—Какъ хорошо! вотъ сладкій плодъ ученья!
Какъ съ облаковъ, ты можешь обозрѣть
Все царство вдругъ: границы, грады, рѣки...
Учись, мой сынъ: наука сокращаетъ
Намъ опыты быстротекущей жизни.
Когда-нибудь, и скоро, можетъ быть,
Всѣ области, которыя ты нынѣ
Изобразилъ такъ хитро на бумагѣ,
Всѣ подъ руку достанутся твою.
Учись, мой сынъ: и легче, и яснѣе
Державный трудъ ты будешь постигать.

5.—Царская дума.

ЦАРЬ, ПАТРІАРХЪ И БОЯРЕ.

Царь.—Возможно ли? Разстрига, бѣглый инокъ
На насъ ведетъ злодѣйскія дружины,
Дерзаетъ намъ писать угрозы! Полно!
Пора смирить безумца! Поѣзжайте,
Ты, Трубецкой, и ты Басмановъ; помощь
Нужна моимъ усерднымъ воеводамъ.
Бунтовщикомъ Черниговъ осажденъ:
Спасайте градъ и гражданъ.

---

[1]) Говорится о первой картѣ Россіи, сдѣланной нѣмцемъ Герардомъ.

Басмановъ.—Государь,
Трехъ мѣсяцевъ отнынѣ не пройдетъ—
И замолчитъ и слухъ о самозванцѣ;
Его въ Москву мы привеземъ, какъ звѣря
Заморскаго, въ желѣзной клѣткѣ. Богомъ
Тебѣ клянусь.

(Уходитъ съ Трубецкимъ).

Царь.—Мнѣ свейскій [1]) государь
Черезъ пословъ союзъ свой предложилъ;
Но не нужна намъ чуждая помога—
Своихъ людей у насъ довольно ратныхъ,
Чтобъ отразить измѣнниковъ и ляха.
Я отказалъ.
Щелкановъ! разослать
Во всѣ концы указы къ воеводамъ,
Чтобъ на коня садились и людей
По-старинѣ на службу высылали;
Въ монастыряхъ подобно отобрать
Служителей причетныхъ. Въ прежни годы,
Когда бѣдой отечеству грозило,
Отшельники на битву сами шли;
Но не хотимъ тревожить нынѣ ихъ—
Пусть молятся за насъ они: таковъ
Указъ царя и приговоръ боярскій.
Теперь вопросъ мы важный разрѣшимъ:
Вы знаете, что наглый самозванецъ
Коварные промчалъ повсюду слухи;
Повсюду имъ разосланныя письма
Посѣяли тревогу и сомнѣнье;
На площадяхъ мятежный бродитъ шопотъ,
Умы кипятъ... ихъ нужно остудить;
Предупредить желалъ бы казни я,
Но чѣмъ и какъ? рѣшимъ теперь. Ты первый,
Святый отецъ, свою повѣдай мысль.

Патріархъ.—Благословенъ Всевышній, поселившій
Духъ милости и кроткаго терпѣнья

---

[1]) Свейскій—шведскій.

Въ душѣ твоей великій государь;
Ты грѣшному погибели не хочешь,
Ты тихо ждешь, да пройдетъ заблужденье:
Оно пройдетъ, и солнце правды вѣчной
Всѣхъ озаритъ.
Твой вѣрный богомолецъ,
Въ дѣлахъ мірскихъ не мудрый судія,
Дерзаетъ днесь подать тебѣ свой голосъ:
Бѣсовскій сынъ, разстрига окаянный,
Прослыть умѣлъ Димитріемъ въ народѣ;
Онъ именемъ царевича, какъ ризой
Украденной, безстыдно облачился;
Но стоитъ лишь ее раздрать—и самъ
Онъ наготой своею посрамится.
Самъ Богъ на то намъ средство посылаетъ:
Знай, государь, тому прошло шесть лѣтъ,
Въ тотъ самый годъ, когда тебя Господь
Благословилъ на царскую державу—
Въ вечерній часъ ко мнѣ пришелъ однажды
Простой пастухъ, уже маститый старецъ,
И чудную повѣдалъ онъ мнѣ тайну:
„Въ младыхъ лѣтахъ", сказалъ онъ, „я ослѣпъ,
И съ той поры не зналъ ни дня, ни ночи
До старости: напрасно я лечился
И зеліемъ, и тайнымъ нашептаньемъ;
Напрасно я ходилъ на поклоненье
Въ обители къ великимъ чудотворцамъ;
Напрасно я изъ кладезей святыхъ
Кропилъ водой цѣлебной темны очи—
Не посылалъ Господь мнѣ исцѣленья.
Вотъ, наконецъ, утратилъ я надежду,
И къ тьмѣ своей привыкъ, и даже сны
Мнѣ виданныхъ вещей ужъ не являли,
А снилися мнѣ только звуки. Разъ
Въ глубокомъ снѣ, я слышу, дѣтскій голосъ
Мнѣ говоритъ:—Встань, дѣдушка, поди
Ты въ Угличъ-градъ, въ соборъ Преображенья,
Тамъ помолись ты надъ моей могилой!

Богъ милостивъ—и я тебя прощу.
—Но кто же ты? спросилъ я дѣтскій голосъ.—
—Царевичъ я Димитрій. Царь небесный
Пріялъ меня въ ликъ ангеловъ своихъ.
И я теперь великій чудотворецъ;
Иди, старикъ.—Проснулся я и думалъ:
Что-жъ? можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ Богъ
Мнѣ позднее даруетъ исцѣленье.
Пойду—и въ путь отправился далекій.
Вотъ, Углича достигъ я, прихожу
Въ святый соборъ, и слушаю обѣдню,
И, разгорясь душой усердной, плачу
Такъ сладостно, какъ-будто слѣпота
Изъ глазъ моихъ слезами вытекала.
Когда народъ сталъ выходить, я внуку
Сказалъ:—Иванъ, веди меня на гробъ
Царевича Димитрія. И мальчикъ
Повелъ меня—и только передъ гробомъ
Я тихую молитву сотворилъ,
Глаза мои прозрѣли: я увидѣлъ
И Божій свѣтъ, и внука, и могилку".
Вотъ, государь, что мнѣ повѣдалъ старецъ.

(Общее смущеніе. Въ продолженіе сей рѣчи Борисъ нѣсколько разъ отираетъ лицо платкомъ).

Я посылалъ тогда нарочно въ Угличъ,
И свѣдано, что многіе страдальцы
Спасеніе подобно обрѣтали
У гробовой царевича доски.
Вотъ мой совѣтъ: во Кремль святыя мощи
Перенести, поставить ихъ въ соборѣ
Архангельскомъ; народъ увидитъ ясно
Тогда обманъ безбожнаго злодѣя,
И мощь бѣсовъ исчезнетъ яко прахъ

(Молчаніе).

Князь Шуйскій.—Святый отецъ, кто вѣдаетъ пути
Всевышняго? Не мнѣ его судить.
Нетлѣнный сонъ и силу чудотворца
Онъ можетъ дать младенческимъ останкамъ;

Но надлежитъ народную молву
Изслѣдовать прилежно и безстрастно,
А въ бурныя-ль смятеній времена
Намъ помышлять о столь великомъ дѣлѣ?
Не скажутъ ли, что мы святыню дерзко
Въ дѣлахъ мірскихъ орудіемъ творимъ?
Народъ и такъ колеблется безумно,
И такъ ужъ есть довольно шумныхъ толковъ:
Умы людей не время волновать
Нежданною, столь важной новизною.
Самъ вижу я: необходимо слухъ,
Разсѣянный разстригой, уничтожить;
Но есть на то иныя средства—проще.
Такъ, государь, когда изволишь ты,
Я самъ явлюсь на площади народной,
Уговорю, усовѣщу безумство
И злой обманъ бродяги обнаружу.
Царь.—Да будетъ такъ! Владыка патріархъ,
Прошу тебя пожаловать въ палату:
Сегодня мнѣ нужна твоя бесѣда
(Уходитъ, за нимъ и всѣ бояре).
Одинъ бояринъ *(тихо другому).*—Замѣтилъ ты, какъ государь блѣднѣлъ,
И крупный потъ съ лица его закапалъ?
Второй.—Я, признаюсь, не смѣлъ поднять очей,
Не смѣлъ вздохнуть, не только шевелиться.
Первый.—А выручилъ князь Шуйскій. Молодецъ!

6.—Завѣты царя Бориса сыну.

Царь.—Подите всѣ—оставьте одного
Царевича со мною. (*Всѣ удаляются*). Умираю;
Обнимемся. Прощай, мой сынъ: сейчасъ
Ты царствовать начнешь... о, Боже, Боже!
Сейчасъ явлюсь передъ Тобой—и душу
Мнѣ некогда очистить покаяньемъ!

Но чувствую—мой сынъ, ты мнѣ дороже
Душевнаго спасенья... такъ и быть!
Я подданнымъ рожденъ, и умереть
Мнѣ подданнымъ во мракѣ бъ надлежало;
Но я достигъ верховной власти—чѣмъ?
Не спрашивай. Довольно: ты невиненъ,
Ты царствовать теперь по праву станешь;
А я за все одинъ отвѣчу Богу.
О, милый сынъ, не обольщайся ложно,
Не ослѣпляй себя ты добровольно.
Въ дни бурные державу ты пріемлешь:
Опасенъ онъ, сей чудный самозванецъ—
Онъ именемъ ужаснымъ ополченъ.
Я, съ давнихъ лѣтъ въ правленьи искушенный,
Могъ удержать смятенье и мятежъ;
Передо мной они дрожали въ страхѣ;
Возвысить гласъ измѣна не дерзала;
Но ты—младой, неопытный властитель,
Какъ управлять ты будешь подъ грозой,
Тушить мятежъ, опутывать измѣну?
Но Богъ великъ! онъ умудряетъ юность,
Онъ слабости даруетъ силу... Слушай:
Совѣтника, во-первыхъ, избери
Надежнаго, холодныхъ, зрѣлыхъ лѣтъ
Любимаго народомъ, а въ боярахъ
Почтеннаго породой или славой,—
Хоть Шуйскаго. Для войска нынѣ нуженъ
Искусный вождь: Басманова пошли
И съ твердостью снеси боярскій ропотъ.
Ты съ малыхъ лѣтъ сидѣлъ со мною въ думѣ,
Ты знаешь ходъ державнаго правленья;
Не измѣняй теченья дѣлъ. Привычка—
Душа державъ. Я нынѣ долженъ былъ
Возстановить опалы, казни—можешь
Ихъ отмѣнить; тебя благословятъ,
Какъ твоего благословляли дядю,
Когда престолъ онъ Грознаго пріялъ.
Современемъ и понемногу снова

Затягивай державныя бразды;
Теперь ослабь, изъ рукъ не выпуская.
Будь милостивъ, доступенъ къ иноземцамъ,
Довѣрчиво ихъ службу принимай.
Со строгостью храни уставъ церковный;
Будь молчаливъ: не долженъ царскій голосъ
На воздухѣ теряться попустому;
Какъ звонъ святой, онъ долженъ лишь вѣщать
Велику скорбь или великій праздникъ.
О, милый сынъ! ты входишь въ тѣ лѣта,
Когда намъ кровь волнуетъ женскій ликъ.
Храни, храни святую чистоту
Невинности и гордую стыдливость:
Кто чувствами въ порочныхъ наслажденьяхъ
Въ младые дни привыкнулъ утопать,
Тотъ, возмужавъ, угрюмъ и кровожаденъ,
И умъ его безвременно темнѣетъ.
Въ семьѣ своей будь завсегда главой;
Мать почитай, но властвуй самъ собою:
Ты мужъ и царь; люби свою сестру—
Ты ей одинъ хранитель остаешься.

Ѳеодоръ *(на колѣняхъ)*.—Нѣтъ, нѣтъ! живи, и царствуй долговѣчно—
Народъ и мы погибли безъ тебя.

Царь.—Все кончено—глаза мои темнѣютъ,
Я чувствую могильный хладъ...
(*Входитъ партріархъ, святители; за ними всѣ бояре; царицу ведутъ подъ руки; царевна рыдаетъ*).
Кто тамъ?
А! схима... [1]) такъ! святое постриженье...
Ударилъ часъ! въ монахи царь идетъ—
И темный гробъ моею будетъ кельей.
Повремени, владыка патріархъ:
Я—царь еще... Внемлите вы, бояре:
Се то, кому приказываю царство;
Цѣлуйте крестъ Ѳеодору... Басмановъ,

---

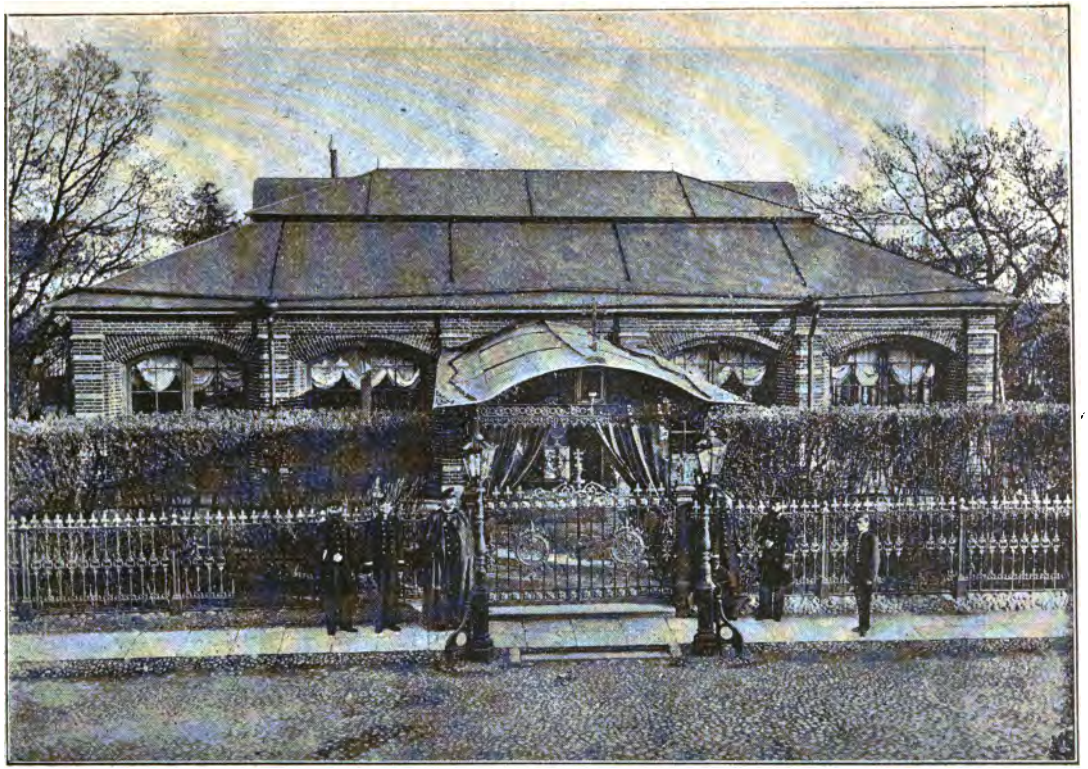
[1]) См. стр. 123.

Друзья мои... при гробѣ васъ молю
Ему служить усердіемъ и правдой!
Онъ такъ еще и младъ, и непороченъ.
Клянетесь ли?

Бояре.—Клянемся.

Царь.—Я доволенъ.
Простите-жъ мнѣ соблазны и грѣхи
И вольныя, и тайныя обиды...
Святый отецъ, приближься, я готовъ!...

ИМПЕРАТОРЪ
Петръ Великій.
1698 — 1725 г.



Домикъ Петра Великаго
на Петербургской сторонѣ.

Отдѣлъ третій:

РОССІЯ—СЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

ВѢКЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

Младшій сынъ царя Алексѣя Михайловича, второго изъ дома Романовыхъ, царевичъ Петръ, будущій первый русскій императоръ, вступилъ на престолъ девятилѣтнимъ ребенкомъ, хотя онъ имѣлъ старшаго брата, царевича Іоанна, 16-лѣтняго болѣзненнаго юношу. Недовольна была этимъ избраніемъ честолюбивая царевна Софія, сестра царевичей: она хотѣла править царствомъ сама и стала говорить, что Петръ молодъ и на престолѣ долженъ быть Іоаннъ, ея родной братъ со стороны матери; знала она, что при слабомъ старшемъ братѣ ей легко будетъ забрать власть въ свои руки. Задумала царевна поднять стрѣльцовъ — прежнее русское войско и, обѣщая имъ награды и разныя вольности, успѣла въ своихъ замыслахъ. Стрѣльцы взбунтовались, ворвались въ Кремль, гдѣ жили оба царевича съ матерью Петра, царицей Натальей Кирилловной, второй женой царя Алексѣя Михайловича, и учинили здѣсь страшное буйство: три дня звѣрски они расправлялись съ родственниками царицы и молодого царя и съ боярами неугодными царевнѣ Софіи. Убили они двухъ родныхъ братьевъ царицы — Нарышкиныхъ, воспитателя ея, боярина Матвѣева, многихъ своихъ начальниковъ, бояръ и слугъ боярскихъ. Потребовали буйные стрѣльцы, чтобъ вмѣстѣ съ Петромъ царствовалъ и Іоаннъ, а за малолѣтствомъ ихъ дѣлами государственными правила царевна Софія. Народъ, духовенство и бояре должны были согласиться; стало на Руси два юныхъ царя: Іоаннъ и Петръ, и правительница Софія. Страшно повліялъ на Петра этотъ первый стрѣлецкій мятежъ и глубоко возненавидѣлъ онъ стрѣльцовъ. Остался Іоаннъ въ Москвѣ, а Петръ съ матерью уѣхалъ въ подмосковное село Преображенское. Прошло нѣсколько лѣтъ. Видитъ правительница, что выросъ, возмужалъ и обучился разнымъ наукамъ младшій царевичъ; ему уже 17 лѣтъ, и не чета онъ хилому, больному брату; не долго онъ потерпитъ ея опеку и объявитъ себя самодержавнымъ царемъ. Задумала она свергнуть

съ престола Петра, призвала вновь стрѣльцовъ, но заговоръ не удался. Петръ остался живъ и объявилъ всенародно, что теперь самъ будетъ править царствомъ вмѣстѣ съ братомъ и приказалъ царевнѣ Софіи удалиться на житье въ Новодѣвичій монастырь. Іоаннъ подчинился волѣ брата, и съ 1696 г. Петръ сталъ единодержавнымъ государемъ. Прежде всего онъ занялся военнымъ и морскимъ дѣломъ. Ему хотѣлось создать въ Россіи стройное, хорошо обученное войско, научить его брать и защищать крѣпости и биться въ открытомъ полѣ.

Еще въ правленіе царевны Софіи, живя съ матерью въ селѣ Преображенскомъ, завелъ онъ свой «потѣшный» полкъ изъ мальчиковъ и взрослыхъ юношей и самъ обучался съ ними военному дѣлу. Увидѣлъ онъ какъ-то въ сараѣ старую заброшенную лодку, не похожую на наши, и велѣлъ тотчасъ же отыскать мастера, который могъ бы показать, какъ этой лодкой править. Мастеръ нашелся въ Нѣмецкой слободѣ — такъ звалась часть Москвы, гдѣ селились пріѣзжіе въ Москву иностранцы. Это былъ корабельный плотникъ — голландецъ Брантъ. Онъ вычинилъ лодку— англійскій ботъ, и восторгу Петра конца не было: спущенный на воду ботъ, съ парусами и рулемъ, шелъ туда, куда направлялъ его рулевой. Петръ немедленно самъ выучился править и почти не покидалъ своихъ забавъ на озерѣ. Царицѣ-матери не нравилась эта дружба съ корабельными мастерами и опасная забава на озерѣ; задумала она удержать его дома и, несмотря на то, что Петру было всего 17 лѣтъ, женила его на красивой, скромной боярышнѣ, Евдокіи Ѳедоровнѣ Лопухиной. Но не похожъ былъ Петръ на прежнихъ царей; не любилъ онъ проводить время въ терему, ничего не дѣлая, и женитьба не помѣшала ему находить время для военныхъ и морскихъ забавъ со своими «потѣшными». Среди веселья и забавъ юный царевичъ постоянно учился: все, что могли сообщить ему иностранцы, его друзья изъ Нѣмецкой слободы, онъ у нихъ перенялъ.

Ставъ единодержавнымъ государемъ, Петръ свои потѣшные полки обратилъ въ постоянное войско, уже нѣсколько обученное военному дѣлу, а на Бѣломъ морѣ велѣлъ построить суда. Видѣлъ Петръ, что многое надо передѣлать въ Россіи, многому научить народъ свой, но прежде всего надо учиться самому, и вотъ онъ задумалъ ѣхать въ Голландію учиться корабельному дѣлу, чтобъ создать потомъ въ Россіи флотъ — торговыя и военныя суда,—чтобъ могла Россія завести и морскую торговлю съ другими государствами, и воевать съ непріятелемъ и на морѣ. Отправляетъ

Петръ посольство къ иноземнымъ государямъ закупать разныя машины, нанимать мастеровъ, и самъ въ этомъ посольствѣ записывается простымъ плотникомъ Петромъ Михайловымъ. Дивился русскій народъ на своего царя и не зналъ, что и думать о его затѣяхъ. Въ голландскихъ городахъ, Саардамѣ и Амстердамѣ, русскій царь самъ проработалъ на верфяхъ (мѣстахъ, гдѣ строятъ корабли), какъ простой плотникъ, $4^1/_2$ мѣсяца. Утро проводилъ на работѣ, а вечеромъ занимался государственными дѣлами, выслушивая донесенія своего посольства, посылая въ Москву свои распоряженія. Изъ Голландіи Петръ переѣхалъ въ Англію, гдѣ окончилъ изученіе науки кораблестроенія, изучилъ кромѣ того литейное дѣло, строительное искусство, посѣщалъ университеты, театры, монетный дворъ, фабрики, заводы. Собирался онъ ѣхать въ Венецію, какъ вдругъ изъ Москвы пришло извѣстіе, что стрѣльцы снова взбунтовались, и Петръ поспѣшилъ вернуться въ Россію.

Царевна Софія воспользовалась отсутствіемъ Петра, и все еще помышляя возложить на себя царскій вѣнецъ, снова подняла стрѣльцовъ. Знала она, что стрѣльцы недовольны молодымъ царемъ, заставившимъ ихъ нести тяжелую военную службу на границахъ государства, что рады они вернуться къ своимъ семьямъ на привольное житье въ Москву. Шлетъ имъ царевна тайныя письма, призывая въ Москву; пока нѣтъ царя, они могутъ снова возвести ее на престолъ, и она осыплетъ ихъ милостями. Стрѣльцы взбунтовались, порѣшили итти на Москву, разорить Нѣмецкую слободу и погубить царя. Черезъ него и друзей его, нѣмцевъ, падаетъ-молъ на Руси православіе, и вводятся новые порядки. Но ошиблись стрѣльцы: не старое было уже время: подъ Москвой встрѣтило ихъ новое государево войско, обученное военному искусству по иноземному, и разбило ихъ наголову. Судъ и расправу надъ бунтовщиками оставили до возвращенія государя.

Грозенъ вернулся Петръ въ Москву. Жестоко наказавъ стрѣльцовъ, изъ которыхъ многихъ казнилъ, а другихъ разослалъ съ семьями по разнымъ городамъ, онъ и вовсе уничтожилъ стрѣлецкое войско, а затѣмъ принялся за переустройство государственное и прежде всего взялся за дѣло военное. Задался онъ цѣлью добыть отъ шведовъ Балтійское море, а для этого ему надо было хорошо обученное войско, которое могло бы сразиться съ отличнымъ войскомъ шведскаго короля, Карла XII. Сдѣлалъ Петръ смотръ своимъ войскамъ, остался очень недоволенъ и тотчасъ же

рѣшилъ устроить войско совсѣмъ по образцу иноземныхъ. Рѣшилъ Петръ также, что надо сразу смѣнить и долгополые боярскіе кафтаны на короткое нѣмецкое платье, сбрить боярамъ бороды и передѣлать семейный строй жизни: выпустить женщинъ изъ теремовъ; завелъ «ассамблеи» (собранія), на которыя бояре должны были привозить своихъ женъ и дочерей. Измѣнилъ онъ и царскій обиходъ жизни: не любилъ Петръ лести и раболѣпства и отмѣнилъ всѣ церемоніи и торжественные выходы прежнихъ царей. Въ пять часовъ утра онъ былъ уже на работѣ; часто на кораблѣ, сидя на мачтѣ, принималъ донесенія иноземныхъ пословъ; самъ вездѣ поспѣвалъ, вездѣ училъ и требовалъ отъ всѣхъ такого же труда, вниманія и расторопности въ работѣ. Трудно было вводить новые порядки, многіе бояре явно, а еще больше тайно, роптали на царя, но ослушаться не смѣли: помнили грозную расправу со стрѣльцами и знали, что царь Петръ шутить не любитъ.

Въ 1700 году Петръ объявилъ войну шведамъ; онъ рѣшилъ завладѣть рѣкой Невой и чрезъ нее пройти въ Балтійское море. Русскія войска осадили городъ Нарву; но дорого поплатился царь Петръ за свою первую попытку сразиться съ могучимъ врагомъ: войско наше было разбито наголову и бѣжало, оставивъ въ рукахъ шведовъ и офицеровъ, и пушки, и всѣ запасы. Но не Великаго Петра могла испугать такая неудача; быстро собралъ онъ свои разбитыя войска, объявилъ первый въ Россіи рекрутскій наборъ и въ нѣсколько мѣсяцевъ было собрано уже 10 новыхъ полковъ. Мало-по-малу, обучаясь военному искусству на дѣлѣ, войска наши отбираютъ у шведовъ побережья Невы и, наконецъ, добираются до самаго ея устья. Здѣсь Петръ приказываетъ солдатамъ взяться за топоры и срубить деревянныя постройки на одномъ изъ островковъ и называетъ это первое поселеніе Санктъ-Питербурхомъ (городомъ Св. Петра, а въ народѣ онъ называется, и до сихъ поръ, просто Питеромъ: Петръ, по-голландски—Питеръ). Наконецъ, давно желанная мечта царя исполнилась: устье Невы наше, и «окно въ Европу прорублено».

Но некогда Петру обстраивать новый городъ; доходятъ до него тревожныя вѣсти: шведскій король Карлъ XII побѣдилъ польскаго короля и грозитъ русскому царю. Идетъ онъ со своимъ войскомъ на Россію; займетъ сначала Москву, а потомъ повернетъ и на Украйну (Малороссію). Думаетъ

Петръ, что тамъ встрѣтитъ Карла вѣрный гетманъ (правитель Украйны) Мазепа и дастъ со своими казаками отпоръ шведскому войску. И вдругъ тайно доносятъ ему, что Мазепа измѣнилъ и перешелъ на сторону шведовъ. Не вѣритъ царь доносу, посланному генеральнымъ судьей Кочубеемъ, бывшимъ другомъ Мазепы, и отдаетъ Кочубея и Искру, казацкаго полковника, писавшаго вмѣстѣ съ Кочубеемъ доносъ, въ руки Мазепы. Разгнѣванный гетманъ велитъ предать ихъ казни, а самъ въ то же время тайно ведетъ переговоры съ Карломъ XII, обѣщая поднять всю Украйну, когда настанетъ время сразиться съ Петромъ. Мазепа надѣялся отдѣлить Украйну отъ Россіи и самому сдѣлаться въ ней государемъ. Но не удались Мазепѣ его замыслы: Карлъ, вмѣсто Москвы, пошелъ прямо на Украйну; Мазепа не успѣлъ поднять возстаніе, и, когда настала пора, онъ могъ оказать помощь Карлу только небольшимъ войскомъ.

Разгнѣванъ и изумленъ былъ Петръ, узнавъ объ измѣнѣ Мазепы: тотчасъ же велѣлъ онъ собрать сходку—раду, былъ избранъ новый гетманъ, Мазепа былъ преданъ проклятію въ церкви и изображеніе его—куклу—палачъ (по-малороссійски, катъ), вздернулъ на висѣлицу. Петръ возвратилъ изъ ссылки друзей и близкихъ Кочубея и Искры, и многихъ, оклеветанныхъ Мазепой людей, какъ Палея, лихого наѣздника, казацкаго полковника, сосланнаго Петромъ въ Енисейскъ по навѣтамъ Мазепы.

Захватила шведовъ въ Россіи жестокая зима; припасовъ было мало, войско ослабѣло, и подкрѣпленія Карлъ не видѣлъ ни откуда. Пришла весна, русскія войска выжидали; Карла томило это выжиданіе, и онъ рѣшилъ начать самъ военныя дѣйствія: осадилъ городъ Полтаву, гдѣ у русскихъ сложены были военные запасы. Осада длилась съ весны до іюня, и, наконецъ, 27 іюня 1709 года, произошла знаменитая полтавская битва, гдѣ русскія войска одержали блестящую побѣду надъ шведскимъ войскомъ.

Оба государя не щадили себя въ этой битвѣ; все время они были передъ войскомъ; Петръ весь день былъ на глазахъ у своихъ солдатъ: вихремъ носился онъ на конѣ по ратному полю, видомъ своимъ и громкимъ голосомъ ободряя полки. Пулей пробило ему сѣдло, шляпу, и только широкій крестъ, висѣвшій на груди, спасъ его отъ третьей пули. Карлъ же не могъ сѣсть на коня: въ ночь наканунѣ сраженія онъ самъ осматривалъ нашъ лагерь и наѣхалъ на казаковъ, сидѣвшихъ у костра. Онъ поскакалъ прямо на нихъ и выстрѣломъ изъ ружья одного убилъ. Казаки отвѣтили тоже выстрѣломъ и жестоко ранили его въ ногу. Блѣдный и

слабый отъ боли, Карлъ только въ носилкахъ могъ показаться передъ войскомъ; онъ тоже все время былъ въ пылу сраженія, непріятельское ядро разбило его носилки, и хотя остался живъ, но видъ его не могъ придать бодрости утомленному, обезсиленному шведскому войску. Кончился къ вечеру страшный бой: разбиты шведскіе полководцы Розенъ, Шлиппенбахъ, и бѣгутъ въ безпорядкѣ ихъ разрозненные отряды. Бѣжитъ и Карлъ съ Мазепой къ турецкому султану въ Бендеры.

Петръ же радостный, счастливый своей побѣдой, пируетъ въ палаткѣ; пируютъ съ нимъ и плѣнные генералы, и храбрые его полководцы: благородный, полный отваги, Шереметевъ, Боуеръ, Брюссъ, Рѣпнинъ и любимецъ его—«безродный баловень счастья, полудержавный властелинъ» Меншиковъ.

Усмиривъ грознаго врага внѣшняго и прочно утвердившись на Балтійскомъ морѣ, Петръ снова принимается за исполненіе завѣтной мечты: построить городъ при устьѣ Невы, обратить пустынные, поросшіе мохомъ берега ея въ сады, устроить гавань и ждать въ гости иноземныя суда. Въ 1703 году былъ срубленъ первый деревянный домъ во вновь заложенномъ городкѣ Санктъ-Петербургѣ, а потомъ городъ этотъ сталъ уже столицей Русскаго государства. Петръ, скупой и разсчетливый, не любившій тратить денегъ на прихоти, ничего не жалѣлъ для устройства Петербурга; много потрачено денегъ, много погибло людей при постройкѣ новаго города, но не прихоть заставляла Петра торопиться съ постройками: онъ понималъ, что только черезъ это «окно въ Европу», какъ называютъ Петербургъ, онъ могъ завести сношенія съ западными государствами. Приходилось осушать болота, рыть каналы, вырубать лѣса, дѣлать насыпи, мостить топкія улицы. А вокругъ одно болото и море, ни камня, ни строевого лѣса; да неоткуда достать и продовольствія рабочимъ. Не было и умѣлыхъ мастеровъ; сначала по приказу Петра изо всей Россіи гнали сюда на работы преступниковъ, приговоренныхъ къ каторгѣ, бѣглыхъ крестьянъ, переселенцевъ; издалека свозили лѣсъ, камень. За работами смотрѣлъ самъ царь и его близкіе помощники, какъ и самъ Петръ, воодушевленные великой мыслью открыть Россіи доступъ къ образованнымъ иноземцамъ.

Главными помощниками царя Петра во всѣхъ его великихъ замыслахъ были — ученый Брюссъ [1]), князь Яковъ Долгорукій, крутой и суровый

---

[1]) Яковъ Вилимовичъ Брюссъ, сынъ Вилима Брюсса, родился въ 1670 г. въ Москвѣ или Псковѣ. Вилимъ Брюссъ потомокъ шотландскихъ королей, переселился въ Россію въ половинѣ XVII в.

совѣтникъ царя и любимецъ его—Меншиковъ. Часто помогала царю совѣтами и вторая жена его Екатерина Алексѣевна. Незнатнаго была она рода: простая ливонская крестьянка, Марта Скавронская, попала въ плѣнъ русскимъ при осадѣ г. Нарвы; красивая и добрая дѣвушка понравилась царю Петру, и онъ рѣшилъ жениться на ней. Любилъ царь свою супругу и уважалъ ее, и она платила ему тѣмъ же; умѣла она во-время укротить пылкій гнѣвъ царя и не допустить до какой-нибудь несправедливости. Екатерина дѣлила съ Петромъ не только государственныя заботы, а часто и походы. Любили и уважали ее всѣ приближенные царя.

Князь Яковъ Долгорукій заслужилъ особенное довѣріе Государя послѣ того, какъ смѣло уничтожилъ одинъ несправедливый указъ Петра. Пылкій и самолюбивый царь отличилъ этотъ смѣлый поступокъ отъ простого непослушанія и своеволія, простилъ Долгорукаго и сдѣлалъ его своимъ постояннымъ совѣтникомъ.

Особенно любилъ онъ Александра Даниловича Меншикова за его изворотливый умъ, расторопность, смѣлость и веселость. Не знатенъ родомъ былъ Меншиковъ; попался какъ-то онъ на глаза Лефорту, другу молодого царя, и понравился ему смышленымъ личикомъ и бойкими рѣчами. Попалъ онъ сначала въ слуги Лефорту, потомъ въ «потѣшные» къ государю; выростая вмѣстѣ съ царемъ годами, Меншиковъ, изъ слуги нѣмца Лефорта, дѣлается постепенно другомъ царя, его совѣтникомъ, помощникомъ, первымъ министромъ, первымъ богачемъ въ Россіи—словомъ — «полудержавнымъ властелиномъ». Умный, но необразованный, едва грамотный, Меншиковъ былъ грубъ, жестокъ, гордъ и жаденъ. Не разъ разгнѣванный Петръ наказывалъ собственноручно «дубинкою» Данилыча, какъ звалъ царь своего министра; многое прощалъ онъ этому Данилычу за его заслуги въ борьбѣ со шведами. И этотъ самый Меншиковъ помѣшалъ великому замыслу Петра: Государь, хорошо понимая опасность, которой подвергался новый городъ со стороны моря, намѣревался изрѣзать широкими каналами теперешній Васильевскій островъ, — мѣсто у самаго взморья. При напорѣ вѣтра съ моря, вода изъ Финскаго залива шла бы въ эти каналы и городу не грозило бы наводненіе. Приказъ Государя, отданный Меншикову, однако, не былъ приведенъ въ исполненіе, и вмѣсто широкихъ каналовъ, куда могли бы заходить и суда, проложены были обыкновенныя широкія улицы съ узенькими канавками, и островъ застроился домами, какъ и остальныя части города.

Все рѣже и рѣже навѣщалъ Петръ Москву и, наконецъ, совсѣмъ перевелъ въ Петербургъ русскую столицу. Самъ царь долго жилъ въ

маленькомъ деревянномъ домикѣ на берегу Невы, работая тамъ безъ устали. Этотъ домикъ Петра Великаго сохранился и до настоящаго времени; онъ обнесенъ каменнымъ футляромъ. Въ домикѣ сохраняется мебель, сдѣланная самимъ Петромъ, а ботикъ или «Брантовъ ботъ», или «Дѣдушка русскаго флота» хранится въ Петропавловской крѣпости. Первый Петровскій дворецъ, гдѣ устраивалъ царь ассамблеи, стоитъ и до сихъ поръ въ Лѣтнемъ саду; тогда садъ этотъ звался Царицынымъ, а огромная площадь передъ садомъ и теперь называется Царицынымъ лугомъ.

Заботясь о внѣшнемъ величіи Россіи, Петръ постоянно думалъ и объ ея просвѣщеніи; онъ издалъ строгій указъ, запрещавшій молодымъ дворянамъ вступать въ бракъ, если они не будутъ учиться; приказывалъ отдавать въ военную службу дѣтей духовныхъ лицъ, если они не посѣщали школы; посылалъ молодыхъ людей за границу учиться, и самъ экзаменовалъ ихъ по возвращеніи въ Россію. Такъ, послалъ онъ въ Парижъ крестника своего, арапа Ибрагима Ганнибала. Завелъ Петръ типографіи, свѣтскія школы, передѣлалъ славянскую церковную азбуку на гражданскую, по которой легче стало учиться; нужны были ему грамотные люди вездѣ: и въ новыхъ судахъ, и въ коллегіяхъ, и въ Сенатѣ, и въ Сѵнодѣ. Петръ видѣлъ, что трудно одному человѣку рѣшать важныя дѣла, касающіяся всего государства, и установилъ соборное или «коллегіальное» управленіе. Для рѣшенія общихъ дѣлъ государственныхъ учредилъ онъ 9 коллегій, особыхъ совѣтовъ, число которыхъ потомъ измѣнилось, и помѣщавшихся въ нынѣшнемъ зданіи Петербургскаго университета. Каждая коллегія знала свое дѣло—войско, флотъ, торговлю, судъ, иностранныя дѣла, доходы и расходы государственные, и всѣ дѣла въ каждой коллегіи рѣшались общимъ совѣтомъ съ согласія всѣхъ ея членовъ. Высшимъ правительственнымъ учрежденіемъ въ государствѣ Петръ поставилъ Сенатъ, гдѣ дѣла тоже рѣшались съ общаго совѣта сенаторовъ. Сенату подчинялись всѣ коллегіи, какъ государевой волѣ: «ибо,—какъ говорилъ Петръ въ своихъ приказахъ,—Сенатъ собирается, вмѣсто собственной Его Величества Персоны». Для рѣшенія же дѣлъ церковныхъ Петръ учредилъ Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, гдѣ дѣла рѣшаются тоже съ общаго согласія всѣхъ составляющихъ его духовныхъ лицъ, и Сѵнодъ подчиненъ непосредственно Государю. Главнымъ помощникомъ царя въ дѣлахъ духовныхъ былъ архіепископъ Ѳеофанъ Прокоповичъ, ученый духовный писатель того времени.

Велики были заслуги царя Петра во внѣшнемъ и внутреннемъ управленіи Россіей. Въ 1721 году, былъ заключенъ окончательный миръ со шведами, очень выгодный для русскихъ. Въ Троицкомъ соборѣ (онъ стоитъ до сихъ поръ на Петербургской сторонѣ, недалеко отъ «домика» Петра Великаго), послѣ обѣдни, на которой былъ государь, прочли всенародно мирный договоръ со Швеціей. Архіепископъ Ѳеофанъ Прокоповичъ сказалъ похвальное слово Петру, въ которомъ перечислилъ всѣ знаменитыя дѣла Государя. Послѣ него, сенаторъ Головинъ отъ лица Сената просилъ Государя принять званіе Императора Всероссійскаго. «Да здравствуетъ Великій Петръ, Императоръ Всероссійскій!» — воскликнулъ Головинъ; кликъ этотъ подхватили сенаторы, войско и весь народъ. Раздался колокольный звонъ, загремѣла съ кораблей и крѣпости пушечная пальба, затрубили въ трубы, забили въ барабаны, и новый Императоръ торжественнымъ пиромъ отпраздновалъ заключеніе мира.

Императрица Екатерина II, цѣня заслуги Петра Великаго для Россіи, приказала поставить въ Петербургѣ памятникъ Преобразователю Россіи. Памятникъ поставленъ близъ Невы, на Сенатской площади, передъ зданіемъ Сената. Петръ на конѣ, взвившемся на дыбы, смотритъ на Неву, протянувъ впередъ руку. Подъ копытами коня извивается придавленный имъ змѣй—старый врагъ просвѣщенія. И конь, и всадникъ отлиты изъ мѣди. На гранитной глыбѣ, гдѣ стоитъ памятникъ, латинская надпись: «Петру Первому—Екатерина Вторая».

В. О.

I.

ИЗЪ ПОЭМЫ

„ПОЛТАВА“.

(1828 г.).

1.

Богатъ и славенъ Кочубей.
Его луга необозримы;
Тамъ табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы.
Кругомъ Полтавы хутора
Окружены его садами,
И много у него добра,
Мѣховъ, атласа, серебра
И на виду, и подъ замками.
Но Кочубей богатъ и гордъ
Не долгогривыми конями,
Не златомъ, данью крымскихъ ордъ,
Не родовыми хуторами—
Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей.
Но не единая краса—
Мгновенный цвѣтъ!—молвою шумной
Въ младой Маріи почтена:
Вездѣ прославилась она
Дѣвицей скромной и разумной.

Зато завидныхъ жениховъ
Ей шлетъ Украйна и Россія;
Но отъ вѣнца, какъ отъ оковъ,
Бѣжитъ пугливая Марія.
Всѣмъ женихамъ отказъ—и вотъ
За ней самъ гетманъ сватовъ шлетъ.
Онъ старъ. Онъ удрученъ годами,
Войной, заботами, трудами;
Но чувства въ немъ кипятъ, и вновь
Мазепа вѣдаетъ любовь...
Не серна подъ утесъ уходитъ,
Орла послыша тяжкій летъ—
Одна въ сѣняхъ невѣста бродитъ,
Трепещетъ и рѣшенья ждетъ.
И вся полна негодованьемъ
Къ ней мать идетъ, и, съ содроганьемъ
Схвативъ ей руку, говоритъ:
—„Безстыдный! старецъ нечестивый!
Возможно-ль?... Нѣтъ, пока мы живы,
Нѣтъ! онъ грѣха не совершитъ.
Онъ, должный быть отцомъ и другомъ
Невинной крестницы своей...
Безумецъ! на закатѣ дней
Онъ вздумалъ быть ея супругомъ!“
Марія вздрогнула. Лицо
Покрыла блѣдность гробовая,
И, охладѣвъ, какъ не живая,
Упала дѣва на крыльцо.
Она опомнилась, но снова
Закрыла очи—и ни слова
Не говоритъ. Отецъ и мать
Ей сердце ищутъ успокоить,
Боязнь и горе разогнать,
Тревогу смутныхъ думъ устроить...
Напрасно. Цѣлые два дня,
То молча плача, то стеня,
Марія не пила, не ѣла,
Шатаясь блѣдная, какъ тѣнь,

Не зная сна. На третій день
Ея свѣтлица опустѣла.
Никто не зналъ, когда и какъ
Она сокрылась. Лишь рыбакъ
Той ночью слышалъ конскій топотъ,
Казачью рѣчь и женскій шопотъ
И утромъ слѣдъ восьми подковъ
Былъ виденъ на росѣ луговъ...
И вскорѣ слуха Кочубея
Коснулась роковая вѣсть:
Она забыла стыдъ и честь,
Она въ объятіяхъ злодѣя!
Какой позоръ! Отецъ и мать
Молву не смѣютъ понимать.
Тогда лишь истина явилась
Съ своей ужасной наготой;
Тогда лишь только объяснилась
Душа преступницы младой;
Тогда лишь только стало явно,
Зачѣмъ бѣжала своенравно
Она семейственныхъ оковъ,
Томилась тайно, воздыхала,
И на привѣты жениховъ
Молчаньемъ гордымъ отвѣчала;
Зачѣмъ такъ тихо за столомъ
Она лишь гетману внимала,
Когда бесѣда ликовала
И чаша пѣнилась виномъ;
Зачѣмъ она всегда пѣвала
Тѣ пѣсни, кои онъ слагалъ,
Когда онъ бѣденъ былъ и малъ,
Когда молва его не знала;
Зачѣмъ съ неженскою душой
Она любила конный строй
И бранный звукъ литавръ [1]), и клики

---

[1]) Литавры—военный музык. инструментъ, въ родѣ барабана.

Предъ бунчукомъ и булавой [1])
Малороссійскаго владыки...
Богатъ и знатенъ Кочубей;
Довольно у него друзей;
Свою омыть онъ можетъ славу;
Онъ можетъ возмутить Полтаву;
Внезапно средь его дворца
Онъ можетъ мщеніемъ отца
Постигнуть гордаго злодѣя;
Онъ можетъ вѣрною рукой
Вонзить... Но замыселъ иной
Волнуетъ сердце Кочубея.
Была та смутная пора,
Когда Россія молодая,
Въ бореньяхъ силы напрягая,
Мужала съ геніемъ Петра.
Суровый былъ въ наукѣ славы
Ей данъ учитель: не одинъ
Урокъ нежданный и кровавый
Задалъ ей шведскій паладинъ[2]).
Но въ искушеньяхъ долгой кары
Перетерпѣвъ судебъ удары,
Окрѣпла Русь. Такъ тяжкій млатъ,
Дробя стекло куетъ булатъ.
Вѣнчанный славой безполезной,
Отважный Карлъ скользилъ надъ бездной
Онъ шелъ на древнюю Москву
Взметая русскія дружины,
Какъ вихорь гонитъ прахъ долины
И клонитъ пыльную траву.

Украйна глухо волновалась.
Давно въ ней искра разгоралась;
Друзья кровавой старины

---

[1]) Бунчукъ и булава—знаки гетманской власти.
[2]) Паладинъ—воинъ.

Народной чаяли войны,
Роптали, требуя кичливо,
Чтобъ гетманъ узы ихъ расторгъ,
И Карла ждалъ петерпѣливо
Ихъ легкомысленный восторгъ.
Вокругъ Мазепы раздавался
Мятежный крикъ:—пора, пора!
Но старый гетманъ оставался
Послушнымъ подданнымъ Петра.
Храня суровость обычайну,
Спокойно вѣдалъ онъ Украйну,
Молвѣ, казалось, не внималъ
И равнодушно пировалъ.
„Что-жъ гетманъ?—юноши твердили:
Онъ изнемогъ; онъ слишкомъ старъ;
Труды и годы угасили
Въ немъ прежній, дѣятельный жаръ.
Зачѣмъ дрожащею рукою
Еще онъ носитъ булаву?
Теперь бы грянуть намъ войною
На ненавистную Москву!“...

Издавна умыселъ ужасный
Взлелѣялъ тайно злой старикъ
Въ душѣ своей. Но взоръ опасный,
Враждебный взоръ, его проникъ....

Такъ! было время: съ Кочубеемъ
Былъ другъ Мазепа; въ оны дни,
Какъ солью, хлѣбомъ и елеемъ,
Дѣлились чувствами они.
Ихъ кони по полямъ побѣды
Скакали рядомъ сквозь огни;
Нерѣдко долгія бесѣды
Наединѣ вели они.
Предъ Кочубеемъ гетманъ скрытный

Могила убіенныхъ подъ Полтавою
27 іюня 1709 г.

Памятникъ Полтавской битвы
въ г. Полтавѣ.

Души мятежной, ненасытной
Отчасти бездну открывалъ
И о грядущихъ измѣненьяхъ,
Переговорахъ, возмущеньяхъ
Въ рѣчахъ неясныхъ намекалъ.
Такъ, было сердце Кочубея
Въ то время предано ему,
Но, въ горькой злобѣ свирѣпѣя,
Теперь позыву одному
Оно послушно: онъ голубитъ
Едину мысль и день, и ночь:
Иль самъ погибнетъ, иль погубитъ—
Отмститъ поруганную дочь....

Ударъ обдуманъ. Съ Кочубеемъ
Безстрашный Искра заодно,
И оба мыслятъ: „Одолѣемъ;
Врага паденье рѣшено...
Но кто-жъ, усердьемъ пламенѣя,
Ревнуя къ общему добру,
Доносъ на мощнаго злодѣя
Предубѣжденному Петру
Къ ногамъ положитъ, не робѣя?“

2.

Кто при звѣздахъ и при лунѣ
Такъ поздно ѣдетъ на конѣ?
Чей это конь неутомимый
Бѣжитъ въ степи необозримой?
Казакъ на сѣверъ держитъ путь,
Казакъ не хочетъ отдохнуть
Ни въ чистомъ полѣ, ни въ дубравѣ,
Ни при опасной переправѣ.
Какъ стекло, булатъ его блеститъ,
Мѣшокъ за пазухой звенитъ,

Не спотыкаясь, конь ретивый
Бѣжитъ, размахивая гривой.
Червонцы нужны для гонца,
Булатъ—потѣха молодца,
Ретивый конь—потѣха тоже,
Но шапка для него дороже.
За шапку онъ оставить радъ
Коня, червонцы и булатъ,
Но выдастъ шапку только съ бою,
И то лишь съ буйной головою.
Зачѣмъ онъ шапкой дорожитъ?
Затѣмъ, что въ ней доносъ лежитъ,
Доносъ на гетмана-злодѣя
Царю Петру отъ Кочубея.

3.

Грозы не чуя, между тѣмъ,
Не ужасаемый ничѣмъ,
Мазепа козни продолжаетъ....
Мазепа всюду взоръ кидаетъ,
И письма шлетъ изъ края въ край,
Угрозой хитрой подымаетъ
Онъ на Москву Бахчисарай.
Король ему въ Варшавѣ внемлетъ;
Въ стѣнахъ Очакова—паша;
Во станѣ—Карлъ и царь. Не дремлетъ
Его коварная душа;
Онъ, думой думу развивая,
Вѣрнѣй готовитъ свой ударъ;
Въ немъ не слабѣетъ воля злая,
Неутомимъ преступный жаръ.
Но какъ онъ вздрогнулъ, какъ воспрянулъ,
Когда предъ нимъ внезапно грянулъ
Упадшій громъ! когда ему,
Врагу Россіи, самому
Вельможи русскіе послали
Въ Полтавѣ писанный доносъ,

И, вмѣсто праведныхъ угрозъ,
Какъ жертвѣ, ласки расточали;
И, озабоченный войной,
Гнушаясь мнимой клеветой,
Доносъ оставя безъ вниманья,
Самъ царь Іуду утѣшалъ
И злобу шумомъ наказанья
Смирить надолго обѣщалъ!

Мазепа, въ горести притворной,
Къ царю возноситъ гласъ покорный:
—„И знаетъ Богъ, и видитъ свѣтъ—
Онъ, бѣдный гетманъ, двадцать лѣтъ
Царю служилъ душою вѣрной;
Его щедротою безмѣрной
Осыпанъ, дивно вознесенъ...
О, какъ слѣпа, безумна злоба!...
Ему-ль теперь, у двери гроба,
Начать ученіе измѣнъ
И потемнять благую славу?
Не онъ ли помощь Станиславу
Съ негодованьемъ отказалъ,
Стыдясь, отвергъ вѣнецъ Украйны,
И договоръ, и письма тайны
Къ царю, по долгу, отослалъ?
Не онъ ли наущеньямъ хана
И цареградскаго султана
Былъ глухъ, усердіемъ горя,
Съ врагами Бѣлаго царя
Умомъ и саблей радъ былъ спорить,
Трудовъ и жизни не жалѣлъ?—
И нынѣ злобный недругъ смѣлъ
Его сѣдины опозорить!
И кто же?—Искра, Кочубей!
Такъ долго бывъ его друзьями!...“
И съ кровожадными слезами,
Въ холодной дерзости своей,
Ихъ казни требуетъ злодѣй...

4.

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звѣзды блещутъ.
Своей дремоты превозмочь
Не хочетъ воздухъ. Чуть трепещутъ
Сребристыхъ тополей листы.
Луна спокойно съ высоты
Надъ Бѣлой-Церковью сіяетъ [1])
И пышныхъ гетмановъ сады,
И старый замокъ озаряетъ.
И тихо, тихо все кругомъ;
Но въ зàмкѣ шопотъ и смятенье.
Въ одной изъ башенъ, подъ окномъ,
Въ глубокомъ, тяжкомъ размышленьѣ,
Окованъ, Кочубей сидитъ
И мрачно на небо глядитъ.
Заутра казнь. Но безъ боязни
Онъ мыслитъ объ ужасной казни,
О жизни не жалѣетъ онъ.
Что смерть ему?—желанный сонъ!
Готовъ онъ лечь во гробъ кровавый.
Дрема долитъ. Но, Боже правый!
Къ ногамъ злодѣя, молча, пасть,
Какъ безсловесное созданье!
Царемъ быть отдану во власть
Врагу царя на поруганье!
Утратить жизнь—и съ нею честь,
Друзей съ собой на плаху весть,
Надъ гробомъ слышать ихъ проклятья;
Ложась безвиннымъ подъ топоръ,
Врага веселый встрѣтить взоръ,
И смерти кинуться въ объятья,
Не завѣщая никому
Вражды къ злодѣю своему!...

---

[1]) Бѣлая-Церковь—мѣстечко Кіевской губерніи.

И вспомнилъ онъ свою Полтаву,
Обычный кругъ семьи, друзей,
Минувшихъ дней богатство, славу,
И пѣсни дочери своей,
И старый домъ, гдѣ онъ родился,
Гдѣ зналъ и трудъ, и мирный сонъ,
И все, чѣмъ въ жизни насладился,
Что добровольно бросилъ онъ,
И для чего? —
Но ключъ въ заржавомъ
Замкѣ гремитъ—и, пробужденъ,
Несчастный думаетъ: „вотъ онъ!
Вотъ на пути моемъ кровавомъ
Мой вождь подъ знаменемъ креста,
Грѣховъ могучій разрѣшитель,
Духовной скорби врачъ, служитель
За насъ распятаго Христа,
Его святую кровь и тѣло
Принесшій мнѣ,—да укрѣплюсь,
Да приступлю ко смерти смѣло
И жизни вѣчной пріобщусь!

И съ сокрушеніемъ сердечнымъ
Готовъ несчастный Кочубей
Передъ Всесильнымъ, Безконечнымъ
Излить тоску мольбы своей.
Но не отшельника святого.
Онъ гостя узнаетъ иного —
Свирѣпый Орликъ передъ нимъ [1]).
И отвращеніемъ томимъ,
Страдалецъ горько вопрошаетъ:
—Ты здѣсь, жестокій человѣкъ?
Зачѣмъ послѣдній мой ночлегъ
Еще Мазепа возмущаетъ?
Орликъ.—Допросъ не конченъ; отвѣчай!

---

[1]) Филиппъ Орликъ—генеральный писарь, близкій человѣкъ Мазепѣ.

Кочубей.—Я отвѣчалъ уже; ступай,
Оставь меня!
Орликъ.—Еще признанья
Панъ гетманъ требуетъ.
Кочубей.—Но въ чемъ?
Давно сознался я во всемъ,
Что вы хотѣли. Показанья
Мои всѣ ложны. Я лукавъ,
Я строю козни. Гетманъ правъ.
Чего вамъ болѣе?
Орликъ.—Мы знаемъ,
Что ты несчетно былъ богатъ;
Мы знаемъ: не единый кладъ
Тобой въ Диканькѣ укрываемъ [1]).
Свершиться казнь твоя должна;
Твое имѣніе сполна
Въ казну поступитъ войсковую —
Таковъ законъ. Я указую
Тебѣ послѣдній долгъ; открой,
Гдѣ клады, скрытые тобой?
Кочубей.—Такъ, не ошиблись вы: три клада
Въ сей жизни были мнѣ отрада.
И первый кладъ мой—честь была:
Кладъ этотъ пытка отняла;
Другой былъ кладъ невозвратимый—
Честь дочери моей любимой.
Я день и ночь надъ нимъ дрожалъ—
Мазепа этотъ кладъ укралъ.
Но сохранилъ я кладъ послѣдній,
Мой третій кладъ: святую месть,—
Ее готовлюсь Богу снесть.
Орликъ.—Старикъ, оставь пустыя бредни;
Сегодня, покидая свѣтъ,
Питайся мыслію суровой.
Шутить не время. Дай отвѣтъ,
Когда не хочешь пытки новой:
Гдѣ спряталъ деньги?

[1]) Диканька –имѣніе Кочубея.

Кочубей.—Злой холопъ!
Окончишь ли допросъ нелѣпый?
Повремени: дай лечь мнѣ въ гробъ,
Тогда ступай себѣ съ Мазепой
Мое наслѣдіе считать
Окровавленными перстами,
Мои подвалы разрывать,
Рубить и жечь сады съ домами.
Съ собой возьмите дочь мою—
Она сама вамъ все разскажетъ,
Сама всѣ клады вамъ укажетъ;
Но, ради Господа, молю,
Теперь оставь меня въ покоѣ.
Орликъ.—Гдѣ спряталъ деньги? укажи.
Не хочешь?—Деньги гдѣ? скажи,
Иль выйдетъ слѣдствіе плохое.
Подумай, мѣсто намъ назначь.
Молчишь?—Ну, въ пытку. Гей, палачъ!...

5.

Зари багряной полоса
Объемлетъ ярко небеса;
Блеснули долы, холмы, нивы,
Вершины рощъ и волны рѣкъ.
Раздался утра шумъ игривый,
И пробудился человѣкъ.
Еще Марія сладко дышетъ,
Дремой объятая, и слышитъ
Сквозь легкій сонъ, что кто-то къ ней
Вошелъ и ногъ ея коснулся.
Она проснулась, но скорѣй
Съ улыбкой взоръ ея сомкнулся
Отъ блеска утреннихъ лучей.
Марія руки протянула....
Вздрогнувъ, она глядитъ... и что же?
Предъ нею мать...

Мать.—Молчи, молчи,
Не погуби насъ: я въ ночи
Сюда прокралась осторожно
Съ единой, слезною мольбой.
Сегодня казнь... Тебѣ одной
Свирѣпство ихъ смягчить возможно...
Спаси отца!

Дочь (*въ ужасѣ*).—Какой отецъ?
Какая казнь?.

Мать.—Иль ты донынѣ
Не знаешь?.. Нѣтъ! ты не въ пустынѣ,
Ты во дворцѣ; ты знать должна,
Какъ сила гетмана грозна,
Какъ онъ враговъ своихъ караетъ,
Какъ государь ему внимаетъ.
Но вижу, скорбную семью
Ты отвергаешь для Мазепы;
Тебя я сонну застаю,
Когда свершаютъ судъ свирѣпый,
Когда читаютъ приговоръ,
Когда готовъ отцу топоръ...
Другъ другу, вижу, мы—чужія...
Опомнись, дочь моя! Марія,
Бѣги, пади къ его ногамъ,
Спаси отца, будь ангелъ намъ:
Твой взглядъ злодѣямъ руки свяжетъ,
Ты можешь ихъ топоръ отвесть.
Рвись, требуй—гетманъ не откажетъ:
Ты для него забыла честь,
Родныхъ и Бога...

Дочь.—Что со мною?
Отецъ.... Мазепа.... казнь.... съ мольбою
Здѣсь, въ этомъ замкѣ, мать моя—
Нѣтъ, иль ума лишилась я,
Иль это грезы...

Мать.—Богъ съ тобою!
Нѣтъ, нѣтъ—не грезы, не мечты.
Ужель еще не знаешь ты,

Что твой отецъ, ожесточенный,
Безчестья дочери не снесъ,
И, жаждой мести увлеченный,
Царю на гетмана донесъ?
Что въ истязаніяхъ кровавыхъ
Сознался въ умыслахъ лукавыхъ,
Въ стыдѣ безумной клеветы?
Что, жертва смѣлой правоты,
Врагу онъ выданъ головою?
Что предъ громадой войсковою,
Когда его не осѣнитъ
Десница вышняя Господня,
Онъ долженъ быть казненъ сегодня?
Что здѣсь покамѣстъ онъ сидитъ
Въ тюремной башнѣ?...
Дочь.—Боже, Боже!...
Сегодня!... Бѣдный мой отецъ!
И дѣва падаетъ на ложе,
Какъ хладный падаетъ мертвецъ.

6.

Пестрѣютъ шапки. Копья блещутъ.
Бьютъ бубны, скачутъ сердюки [1]).
Въ строяхъ равняются полки.
Толпы кинятъ. Сердца трепещутъ.
Дорога, какъ змѣиный хвостъ,
Полна народу, шевелится.
Средь поля роковой помостъ;
На немъ гуляетъ, веселится
Палачъ и алчно жертвы ждетъ:
То въ руки бѣлыя беретъ,
Играючи, топоръ тяжелый,
То шутитъ съ чернію веселой.
Въ гремучій говоръ все слилось:

[1]) Сердюки—собственное войско гетмана.

Крикъ женскій, брань, и смѣхъ, и ропотъ.
Вдругъ восклицанье раздалось —
И смолкло все. Лишь конскій топотъ
Былъ слышенъ въ грозной тишинѣ.
Тамъ, окруженный сердюками,
Вельможный гетманъ съ старшинами
Скакалъ на вороном конѣ,
А тамъ, по кіевской дорогѣ,
Телѣга ѣхала. Въ тревогѣ
Всѣ взоры обратили къ ней.
Въ ней съ міромъ, съ небомъ примиренный,
Могущей вѣрой укрѣпленный,
Сидѣлъ безвинный Кочубей;
Съ нимъ Искра тихій, равнодушный,
Какъ агнецъ, жребію послушный.
Телѣга стала. Раздалось
Моленье ликовъ громогласныхъ;
Съ кадилъ куренье поднялось;
За упокой души несчастныхъ
Безмолвно молится народъ,
Страдальцы — за враговъ... И вотъ,
Идутъ они... Взошли... На плаху,
Крестясь, ложится Кочубей.
Какъ-будто въ гробѣ, — тьмы людей
Молчатъ. Топоръ блеснулъ съ размаху, —
И отскочила голова.
Все поле охнуло. Другая
Катится вслѣдъ за ней, мигая.
Зардѣлась кровію трава...
И, сердцемъ радуясь во злобѣ,
Палачъ за чубъ поймалъ ихъ обѣ,
И напряженною рукой
Потрясъ ихъ обѣ надъ толпой.

Свершилась казнь. Народъ безпечный
Идетъ, разсыпавшись, домой,
И про свои заботы вѣчны
Уже толкуетъ межъ собой.

Пустѣетъ поле понемногу.
Тогда чрезъ пеструю дорогу
Перебѣжали двѣ жены.
Утомлены, запылены,
Онѣ, казалось, къ мѣсту казни
Спѣшили, полныя боязни.
—Ужъ поздно,—кто-то имъ сказалъ
И въ поле перстомъ указалъ.
Тамъ роковой помостъ ломали,
Молился въ черныхъ ризахъ попъ,
И на телѣгу подымали
Два казака дубовый гробъ....

7.

Души глубокая печаль—
Стремиться дерзновенно въ даль—
Вождю Украйны не мѣшаетъ.
Твердѣя въ умыслѣ своемъ,
Онъ съ гордымъ шведскимъ королемъ
Свои сношенья продолжаетъ.
Межъ тѣмъ, чтобъ обмануть вѣрнѣй
Глаза враждебнаго сомнѣнья,
Онъ, окружась толпой врачей,
На ложѣ мнимаго мученья
Стоная, молитъ исцѣленья.
Плоды страстей, войны, трудовъ,
Болѣзни, дряхлость и печали,
Предтечи смерти, приковали
Его къ одру. Уже готовъ
Онъ скоро бренный міръ оставить;
Святой обрядъ онъ хочетъ править,—
Онъ архипастыря зоветъ
Къ одру сомнительной кончины,
И на коварныя сѣдины
Елей таинственный течетъ.

Но время шло. Москва напрасно
Къ себѣ гостей ждала всечасно,
Средь старыхъ вражескихъ могилъ
Готовя шведамъ тризну тайну.
Внезапно Карлъ поворотилъ
И перенесъ войну въ Украйну.

И день насталъ. Встаетъ съ одра
Мазепа, сей страдалецъ хилый,
Сей трупъ живой, еще вчера
Стонавшій слабо надъ могилой.
Теперь онъ мощный врагъ Петра;
Теперь онъ, бодрый, предъ полками
Сверкаетъ гордыми очами
И саблей машетъ—и къ Деснѣ
Проворно мчится на конѣ...

И вѣсть на крыльяхъ полетѣла;
Украйна смутно зашумѣла:
„Онъ перешелъ, онъ измѣнилъ,
Къ ногамъ онъ Карла положилъ
Бунчукъ покорный!“ Пламя пышетъ,
Встаетъ кровавая заря
Войны народной.
Кто опишетъ
Негодованье, гнѣвъ царя?
Гремитъ анаѳема въ соборахъ;
Мазепы ликъ терзаетъ катъ [1]),
На шумной радѣ, въ вольныхъ спорахъ,
Другого гетмана творятъ.
Съ бреговъ пустынныхъ Енисея
Семейства Искры, Кочубея
Поспѣшно призваны Петромъ.
Онъ съ ними слезы проливаетъ;
Онъ ихъ, лаская, осыпаетъ

---

[1]) Катъ—палачъ.

И новой честью, и добромъ.
Мазепы врагъ, наѣздникъ пылкій,
Старикъ Палѣй [1]) изъ мрака ссылки
Въ Украйну ѣдетъ, въ царскій станъ....
И царь туда-жъ помчалъ дружины.
Онѣ, какъ буря, притекли —
И оба стана средь равнины
Другъ друга хитро облегли;
Не разъ избитый въ схваткѣ смѣлой,
Заранѣ кровью опьянѣлый,
Съ бойцомъ желаннымъ, наконецъ,
Такъ грозный сходится боецъ.
И, злобясь, видитъ Карлъ могучій
Ужъ не разстроенныя тучи
Несчастныхъ нарвскихъ бѣглецовъ,
А нить полковъ блестящихъ, стройныхъ,
Послушныхъ, быстрыхъ и спокойныхъ,
И рядъ незыблемый штыковъ....

8.

Горитъ востокъ зарею новой;
Ужъ на равнинѣ, по холмамъ
Грохочутъ пушки. Дымъ багровый
Кругами всходитъ къ небесамъ
Навстрѣчу утреннимъ лучамъ.
Полки ряды свои сомкнули;
Въ кустахъ разсыпались стрѣлки;
Катятся ядра, свищутъ пули;
Нависли хладные штыки.
Сыны любимые побѣды,
Сквозь огнь окоповъ рвутся шведы;
Волнуясь, конница летитъ;
Пѣхота движется за нею

[1]) Палѣй — одинъ изъ казацкихъ старшинъ, сосланный по проискамъ Мазепы въ Сибирь и возвращенный назадъ по обнаруженіи измѣны Мазепы.

И тяжкой твердостью своею
Ея стремленія крѣпитъ.
И битвы поле роковое
Гремитъ, пылаетъ здѣсь и тамъ;
Но явно счастье боевое
Служитъ ужъ начинаетъ намъ.
Пальбой отбитыя дружины,
Мѣшаясь, падаютъ во прахъ;
Уходитъ Розенъ [1]) сквозь тѣснины;
Сдается пылкій Шлиппенбахъ [1]);
Тѣснимъ мы шведовъ рать за ратью,
Темнѣетъ слава ихъ знаменъ,
И Бога браней благодатью
Нашъ каждый шагъ запечатлѣнъ.
Тогда-то, свыше вдохновенный,
Раздался звучный гласъ Петра:
„За дѣло, съ Богомъ!“ Изъ шатра,
Толпой любимцевъ окруженный,
Выходитъ Петръ. Его глаза
Сіяютъ. Ликъ его ужасенъ.
Движенья быстры... Онъ прекрасенъ, —
Онъ весь, какъ Божія гроза.
Идетъ... Ему коня подводятъ.
Ретивъ и смиренъ вѣрный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожитъ, глазами косо водитъ
И мчится въ прахѣ боевомъ,
Гордясь могучимъ сѣдокомъ.
Ужъ близокъ полдень. Жаръ пылаетъ.
Какъ пахарь, битва отдыхаетъ.
Кой-гдѣ гарцуютъ казаки;
Равняясь, строятся полки;
Молчитъ музыка боевая;
На холмахъ пушки, присмирѣвъ,
Прервали свой голодный ревъ;
И се—равнину оглашая,

---

[1]) Шведскіе генералы.

Далече грянуло—ура:
Полки увидѣли Петра.
И онъ промчался предъ полками,
Могущъ и радостенъ, какъ бой.
Онъ поле пожиралъ очами.
За нимъ во слѣдъ неслись толпой
Сіи птенцы гнѣзда Петрова—
Въ премѣнахъ жребія земного,
Въ трудахъ державства и войны
Его товарищи, сыны:
И Шереметевъ благородный,
И Брюссъ, и Боуръ, и Рѣпнинъ [1]),
И, счастья баловень безродный,
Полудержавный властелинъ [2]).
И передъ синими рядами
Своихъ воинственныхъ дружинъ,
Несомый вѣрными слугами,
Въ качалкѣ, блѣденъ, недвижимъ,
Страдая раной, Карлъ явился.
Вожди героя шли за нимъ.
Онъ въ думу тихо погрузился.
Смущенный взоръ изобразилъ
Необычайное волненье:
Казалось, Карла приводилъ
Желанный бой въ недоумѣнье...
Вдругъ слабымъ маніемъ руки
На русскихъ двинулъ онъ полки.
И съ ними царскія дружины
Сошлись въ дыму среди равнины—
И грянулъ бой, Полтавскій бой!
Въ огнѣ, подъ градомъ раскаленнымъ,
Стѣной живою отраженнымъ,
Надъ падшимъ строемъ свѣжій строй

---

[1]) Сподвижники Петра, полководцы.

[2]) Александръ Даниловичъ Меншиковъ, особенный любимецъ Петра. Происходилъ изъ простого званія, пользовался безграничнымъ довѣріемъ государя; въ это время былъ уже фельдмаршаломъ и княземъ; въ Полтавской битвѣ былъ однимъ изъ самыхъ главныхъ генераловъ.

Штыки смыкаетъ. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся съ-плеча.
Бросая груды тѣлъ на груду,
Шары чугунные повсюду
Межъ ними прыгаютъ, разятъ,
Прахъ роютъ и въ крови шипятъ.
Шведъ, Русскій—колетъ, рубитъ, рѣжетъ;
Бой барабанный, клики, скрежетъ;
Громъ пушекъ, топотъ, ржанье, стонъ,
И смерть, и адъ, со всѣхъ сторонъ...
Но близокъ, близокъ мигъ побѣды.
Ура! мы ломимъ; гнутся шведы;
О, славный часъ! о, славный видъ!
Еще напоръ—и врагъ бѣжитъ;
И слѣдомъ конница пустилась,
Убійствомъ тупятся мечи,
И падшими вся степь покрылась,
Какъ роемъ черной саранчи...

Пируетъ Петръ. И гордъ, и ясенъ,
И славы полонъ взоръ его,
И царскій пиръ его прекрасенъ:
При кликахъ войска своего,
Въ шатрѣ своемъ онъ угощаетъ
Своихъ вождей, вождей чужихъ,
И славныхъ плѣнниковъ ласкаетъ,
И за учителей своихъ
Заздравный кубокъ поднимаетъ.
Но гдѣ же первый, званый гость?
Гдѣ первый, грозный нашъ учитель,
Чью долговременную злость
Смирилъ полтавскій побѣдитель?
И гдѣ-жъ Мазепа? Гдѣ злодѣй?
Куда бѣжалъ Іуда въ страхѣ?
Зачѣмъ король не межъ гостей?
Зачѣмъ измѣнникъ не на плахѣ?

Верхомъ, въ глуши степей нагихъ,
Король и гетманъ мчатся оба.
Бѣгутъ... Судьба связала ихъ.
Опасность близкая и злоба
Даруютъ силу королю.
Онъ рану тяжкую свою
Забылъ. Поникнувъ головою,
Онъ скачетъ, Русскими гонимъ,
И слуги вѣрные толпою
Чуть могутъ слѣдовать за нимъ...

9.

Прошло сто лѣтъ—и что-жъ осталось
Отъ сильныхъ, гордыхъ, сихъ мужей,
Столь полныхъ волею страстей?
Ихъ поколѣнье миновалось—
И съ нимъ исчезъ кровавый слѣдъ
Насилій, бѣдствій и побѣдъ.
Въ гражданствѣ сѣверной державы,
Въ ея воинственной судьбѣ,
Лишь ты воздвигъ, герой Полтавы,
Огромный памятникъ себѣ.
Въ странѣ—гдѣ мельницъ рядъ крылатый
Оградой мирной обступилъ
Бендеръ пустынные раскаты,
Гдѣ бродятъ буйволы рогаты
Вокругъ воинственныхъ могилъ—
Останки разоренной сѣни,
Три углубленныя въ землѣ
И мхомъ поросшія ступени
Гласятъ о шведскомъ королѣ.
Съ нихъ отражалъ герой безумный,
Одинъ, въ толпѣ домашнихъ слугъ,
Турецкой рати приступъ шумный
И бросилъ шпагу подъ бунчукъ [1]).

[1]) Карлъ XII прожилъ въ Бендерахъ у турецкаго паши четыре года. Раздраженный упорствомъ требовательнаго шведскаго короля, турецкій паша

И тщетно тамъ пришлецъ унылый
Искалъ бы гетманской могилы:
Забытъ Мазепа съ давнихъ поръ;
Лишь въ торжествующей святынѣ
Разъ въ годъ анаѳемой донынѣ,
Грозя, гремитъ о немъ соборъ.
Но сохранилася могила,
Гдѣ двухъ страдальцевъ прахъ почилъ:
Межъ древнихъ праведныхъ могилъ
Ихъ мирно церковь пріютила.
Цвѣтетъ въ Диканькѣ древній рядъ
Дубовъ, друзьями насажденныхъ;
Они о праотцахъ казненныхъ
Донынѣ внукамъ говорятъ.
Но дочь-преступница?... Преданья
Объ ней молчатъ. Ея страданья,
Ея судьба, ея конецъ
Непроницаемою тьмою
Отъ насъ закрыты. Лишь порою
Слѣпой украинскій пѣвецъ,
Когда въ селѣ передъ народомъ
Онъ пѣсни гетмана бренчитъ,
О грѣшной дѣвѣ мимоходомъ
Казачкамъ юнымъ говоритъ...

предложилъ Карлу оставить его владѣнія, и когда Карлъ не захотѣлъ сдѣлать этого добровольно, паша велѣлъ войску окружить домъ, гдѣ жилъ король со своими слугами и взять его живымъ. Карлъ долго отбивался отъ турецкихъ солдатъ, но, наконецъ, они схватили его и, чтобъ избѣжать позора быть обезоруженнымъ и добровольно отдать свою шпагу, какъ военнопленный, Карлъ въ послѣднюю минуту борьбы отбросилъ ее въ сторону и безоружный отдался въ руки турокъ.—Бунчукъ—знакъ власти паши: конскій хвостъ, привязанный къ изукрашенной палкѣ.

II.

ИЗЪ ПОЭМЫ

„МѢДНЫЙ ВСАДНИКЪ“.

(1883 г.)

На берегу пустынныхъ волнъ
Стоялъ Онъ, думъ великихъ полнъ,
И вдаль глядѣлъ. Предъ нимъ широко
Рѣка неслася; бѣдный челнъ
По ней стремился одиноко.
По мшистымъ, топкимъ берегамъ
Чернѣли избы здѣсь и тамъ,
Пріютъ убогаго Чухонца;
И лѣсъ, невѣдомый лучамъ
Въ туманѣ спрятаннаго солнца,
Кругомъ шумѣлъ.
И думалъ Онъ:
„Отсель грозить мы будемъ Шведу;
Здѣсь будетъ городъ заложонъ,
На зло надменному сосѣду;
Природой здѣсь намъ суждено
Въ Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при морѣ;
Сюда, по новымъ имъ волнамъ,
Всѣ флаги въ гости будутъ къ намъ —[1])
И запируемъ на просторѣ.“

[1]) Всѣ иноземные корабли.

Прошло сто лѣтъ—и юный градъ,
Полнощныхъ странъ краса и диво,
Изъ тьмы лѣсовъ, изъ топи блатъ
Вознесся пышно, горделиво:
Гдѣ прежде Финскій рыболовъ,
Печальной пасынокъ природы,
Одинъ у низкихъ береговъ
Бросалъ въ невѣдомыя воды
Свой ветхій неводъ,—нынѣ тамъ,
По оживленнымъ берегамъ,
Громады стройныя тѣснятся
Дворцовъ и башенъ; корабли
Толпой со всѣхъ концовъ земли
Къ богатымъ пристанямъ стремятся;
Въ гранитъ одѣлася Нева;
Мосты повисли надъ водами;
Темнозелеными садами
Ея покрылись острова—
И передъ младшею столицей
Главой склонилася Москва,
Какъ передъ новою царицей
Порфироносная вдова....

III.

ИЗЪ РАЗСКАЗА

„АРАПЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО“.

(1827 г.)

Въ числѣ молодыхъ людей, отправленныхъ Петромъ Великимъ въ чужіе края для пріобрѣтенія свѣдѣній, необходимыхъ государству преобразованному, находился его крестникъ, арапъ Ибрагимъ. Онъ обучался въ парижскомъ военномъ училищѣ, выпущенъ былъ капитаномъ артиллеріи, отличался въ испанской войнѣ — и, тяжело раненый, возвратился въ Парижъ. Императоръ посреди обширныхъ своихъ трудовъ, не переставалъ освѣдомляться о своемъ любимцѣ и всегда получалъ лестные отзывы насчетъ его успѣховъ и поведенія. Петръ былъ чрезвычайно имъ доволенъ и неоднократно звалъ его въ Россію, но Ибрагимъ не торопился. Онъ отговаривался подъ различными предлогами: то раною, то желаніемъ усовершенствовать свои познанія, то недостаткомъ въ деньгахъ—и Петръ снисходительствовалъ его просьбамъ, просилъ заботиться о своемъ здоровьѣ, благодарилъ за ревность къ ученію — и, крайне бережливый въ собственныхъ своихъ расходахъ, не жалѣлъ для него своей казны, присовокупляя къ червонцамъ отеческіе совѣты и предостерегательныя наставленія...

Однажды Ибрагимъ былъ у выхода герцога Орлеанскаго. Герцогъ, проходя мимо его, остановился и, вручивъ ему письмо, приказалъ прочесть на досугѣ. Это было письмо Петра I.

Государь писалъ герцогу, что онъ ни въ чемъ неволить Ибрагима не намѣренъ, что предоставляетъ его доброй волѣ возвратиться въ Россію, или нѣтъ, что во всякомъ случаѣ, онъ никогда не оставитъ прежняго своего питомца. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца. Съ той минуты участь его была рѣшена. На другой день онъ объявилъ регенту [1]) свое намѣреніе немедленно отправиться въ Россію...

Въ ту же ночь онъ отправился въ Россію.

Путешествіе не показалось ему столь ужасно, какъ онъ того ожидалъ. Воображеніе его восторжествовало надъ существенностью. Чѣмъ болѣе удалялся онъ отъ Парижа, тѣмъ живѣе, тѣмъ ближе представлялъ онъ себѣ предметы, имъ покидаемые навѣкъ.

Нечувствительнымъ образомъ очутился онъ на русской границѣ. Осень уже наступала; но ямщики, несмотря на дурную дорогу, везли его съ быстротою вѣтра—и въ 17 дней своего путешествія прибылъ онъ утромъ въ Красное Село, черезъ которое шла тогдашняя большая дорога.

Оставалось 28 верстъ до Петербурга Пока закладывали лошадей, Ибрагимъ вошелъ въ ямскую избу. Въ углу человѣкъ высокаго роста, въ зеленомъ кафтанѣ, съ глиняною трубкою во рту, облокотясь на столъ, читалъ гамбургскія газеты. Услышавъ, что кто-то вошелъ, онъ поднялъ голову.

— Ба, Ибрагимъ!—закричалъ онъ, вставая съ лавки:—здорово, крестникъ!

Ибрагимъ узналъ Петра, въ радости къ нему бросился, но почтительно остановился. Государь приблизился, обнялъ его, и поцѣловалъ въ голову.

— Я былъ предувѣдомленъ о твоемъ пріѣздѣ,—сказалъ Петръ:—и поѣхалъ тебѣ навстрѣчу. Жду тебя здѣсь со вчерашняго дня.

Ибрагимъ не находилъ словъ для изъявленія своей благодарности.

— Вели же,—продолжалъ государь:—твою повозку везти за нами, а самъ садись со мною—и поѣдемъ ко мнѣ.

---

[1]) Регентъ—правитель, которымъ былъ въ то время во Франціи, за малолѣтствомъ короля Людовика XV, герцогъ Орлеанскій.

Подали государеву коляску; онъ сѣлъ съ Ибрагимомъ — и они поскакали. Черезъ полтора часа они пріѣхали въ Петербургъ. Ибрагимъ съ любопытствомъ смотрѣлъ на новорожденную столицу, которая подымалась изъ болота по манію своего государя. Обнаженныя плотины, каналы безъ набережной, деревянные мосты, повсюду являли недавнюю побѣду человѣческой воли надъ сопротивленіемъ стихій. Дома, казалось, наскоро построены. Во всемъ городѣ не было ничего великолѣпнаго, кромѣ Невы, не украшенной еще гранитною рамою, но уже покрытой военными и торговыми судами. Государева коляска остановилась у дворца, такъ называемаго Царицына-Сада.

На крыльцѣ встрѣтила Петра женщина лѣтъ 35-ти, прекрасная собою, одѣтая по послѣдней парижской модѣ. Петръ поцѣловалъ ее и, взявъ Ибрагима за руку, сказалъ:

— Узнала ли ты, Катенька, моего крестника? Прошу любить и жаловать его попрежнему.

Екатерина устремила на него черные, проницательные глаза и благосклонно протянула ему ручку. Двѣ юныя красавицы, высокія, стройныя, свѣжія, какъ розы, стояли за нею и почтительно приблизились къ Петру.

— Лиза! — сказалъ онъ одной изъ нихъ: — помнишь ли ты маленькаго арапа, который для тебя кралъ у меня яблоки въ Ораніенбаумѣ? Вотъ онъ; представляю тебѣ его.

Великая княжна засмѣялась и покраснѣла. Пошли въ столовую. Въ ожиданіи государя столъ былъ накрытъ. Петръ со всѣмъ семействомъ сѣлъ обѣдать, пригласивъ и Ибрагима. Во время обѣда государь съ нимъ разговаривалъ о разныхъ предметахъ, разспрашивалъ его объ испанской войнѣ, о внутреннихъ дѣлахъ Франціи, о регентѣ, котораго онъ любилъ, хотя и осуждалъ въ немъ многое. Ибрагимъ отличался умомъ точнымъ и наблюдательнымъ. Петръ былъ очень доволенъ его отвѣтами; онъ вспомнилъ нѣкоторыя черты Ибрагимова младенчества и разсказывалъ ихъ съ такимъ добродушіемъ и веселостью, что никто въ ласковомъ и гостепріимномъ хозяинѣ не могъ бы подозрѣвать героя Полтавскаго, могучаго и грознаго преобразователя Россіи.

Послѣ обѣда государь, по русскому обыкновенію, пошелъ

отдохнуть. Ибрагимъ остался съ императрицей и великими княжнами. Онъ старался удовлетворить ихъ любопытству, описывалъ образъ парижской жизни, тамошніе праздники и своенравныя моды. Между тѣмъ нѣкоторыя изъ особъ, приближенныхъ къ государю, собрались во дворецъ. Ибрагимъ узналъ великолѣпнаго князя Меншикова, который, увидя арапа, разговаривающаго съ Екатериной, гордо на него покосился; князя Якова Долгорукаго, крутого совѣтника Петра; ученаго Брюсса; молодого Рагузинскаго, бывшаго своего товарища—и другихъ, пришедшихъ къ государю съ докладами и за приказаніями.

Государь вышелъ часа черезъ два.

— Посмотримъ,—сказалъ онъ Ибрагиму:—не забылъ ли ты своей старой должности. Возьми-ка аспидную доску, да ступай за мною.

Петръ заперся въ токарнѣ и занялся государственными дѣлами. Онъ по очереди работалъ съ Брюссомъ, съ княземъ Долгорукимъ, съ генералъ-полицмейстеромъ Девіеромъ, и продиктовалъ Ибрагиму нѣсколько указовъ и рѣшеній.

Ибрагимъ не могъ надивиться быстрому и твердому его разуму, силѣ и гибкости вниманія и разнообразію дѣятельности. По окончаніи трудовъ, Петръ вынулъ карманную книжку, чтобы справиться, все ли имъ предполагаемое на сей день исполнено. Потомъ, выходя изъ токарни, сказалъ Ибрагиму:

— Ужъ поздно; ты, я чай, усталъ: ночуй здѣсь, какъ и бывало въ старину; завтра я тебя разбужу....

На другой день Петръ, по своему обѣщанію, разбудилъ Ибрагима и поздравилъ его капитанъ-лейтенантомъ бомбардирской роты Преображенскаго полка, въ которой онъ самъ былъ капитаномъ. Придворные окружили Ибрагима, всякій посвоему стараясь обласкать новаго любимца. Надменный князь Меншиковъ дружески пожалъ ему руку; Шереметевъ освѣдомился о своихъ парижскихъ знакомыхъ, а Головинъ позвалъ обѣдать. Сему послѣднему примѣру послѣдовали и прочіе, такъ что Ибрагимъ получилъ приглашеній, по крайней мѣрѣ, на цѣлый мѣсяцъ.

Ибрагимъ проводилъ дни однообразные, но дѣятельные — слѣдственно, не зналъ скуки. Онъ день-ото-дня болѣе при-

вязывался къ государю, лучше постигалъ его высокую душу. Слѣдовать за мыслями великаго человѣка есть наука самая занимательная. Ибрагимъ видалъ Петра въ сенатѣ, оспариваемаго Бутурлинымъ и Долгорукимъ, разбирающаго важные вопросы законодательства; въ адмиралтейской коллегіи, утверждающаго морское величіе Россіи; видалъ его съ Ѳеофаномъ [1]), Гавріиломъ Бужинскимъ [2]) и Копіевичемъ [3]), въ часы отдохновенія, разсматривающаго переводы иностранныхъ публицистовъ [4]), или посѣщающаго фабрику купца, рабочую ремесленника и кабинетъ ученаго. Россія представлялась Ибрагиму огромной мастерскою, гдѣ движутся однѣ машины, гдѣ каждый работникъ, подчиненный заведенному порядку, занятъ своимъ дѣломъ. Онъ почиталъ и себя обязаннымъ трудиться у собственнаго станка, и старался какъ можно менѣе сожалѣть объ увеселеніяхъ парижской жизни.

Однажды утромъ сидѣлъ онъ въ своемъ кабинетѣ, окруженный дѣловыми бумагами, какъ вдругъ услышалъ громкое привѣтствіе на французскомъ языкѣ. Ибрагимъ съ живостью оборотился—и молодой Корсаковъ, котораго оставилъ онъ въ Парижѣ, въ вихрѣ большого свѣта, обнялъ его съ радостными восклицаніями.

— Я сейчасъ только пріѣхалъ,—сказалъ Корсаковъ:—и прямо прибѣжалъ къ тебѣ. Всѣ наши парижскіе знакомые тебѣ кланяются, жалѣютъ о твоемъ отсутствіи...

— Какъ я радъ,—продолжалъ Корсаковъ,—что ты еще не умеръ отъ скуки въ этомъ варварскомъ Петербургѣ! Что здѣсь дѣлаютъ? чѣмъ занимаются? кто твой портной? заведена ли у васъ хоть опера?

Ибрагимъ въ разсѣяніи отвѣчалъ,—что, вѣроятно, государь работаетъ теперь на корабельной верфи.—Корсаковъ засмѣялся.

---

[1]) Ѳеофанъ Прокоповичъ—архіепископъ Новгородскій (1681—1736) сподвижникъ Петра въ талантливыхъ проповѣдяхъ объяснявшій пользу Петровскихъ преобразованій.

[2]) Гавріилъ Бужинскій—епископъ Рязанскій и Муромскій, писатель, горячій приверженецъ Петра.

[3]) Копіевичъ—одинъ изъ сотрудниковъ Петра Вел. по распространенію просвѣщенія, владѣлецъ типографіи и составитель учебниковъ.

[4]) Публицисты—писатели о государственныхъ дѣлахъ.

— Вижу,—сказалъ онъ,—что тебѣ теперь не до меня; въ другое время наговоримся досыта; ѣду представляться государю.

— Съ этимъ словомъ онъ перевернулся на одной ножкѣ и выбѣжалъ изъ комнаты....

Ибрагимъ собрался ѣхать въ адмиралтейство [1]), надѣясь тамъ застать еще Корсакова, но дверь отворилась и самъ Корсаковъ явился опять. Онъ уже представлялся государю —и, по своему обыкновенію, казался очень собою доволенъ.

— Entre nous, (между нами)—сказалъ онъ Ибрагиму:— государь — престранный человѣкъ; вообрази, что я засталъ его въ какой-то холстяной фуфайкѣ, на мачтѣ новаго корабля, куда принужденъ я былъ карабкаться съ моими депешами. Я стоялъ на веревочной лѣстницѣ и не имѣлъ довольно мѣста, чтобы сдѣлать приличный реверансъ (поклонъ) и совершенно замѣшался, чего отъ роду со мною не случалось. Однакожъ государь, прочитавъ бумаги, посмотрѣлъ на меня съ головы до ногъ и, вѣроятно, былъ пріятно пораженъ вкусомъ и щегольствомъ моего наряда: по крайней мѣрѣ, онъ улыбнулся и позвалъ меня на сегодняшнюю ассамблею. Но я въ Петербургѣ —совершенно чужестранецъ; во время шестилѣтняго отсутствія я вовсе позабылъ здѣшнія обыкновенія; пожалуйста, будь сегодня моимъ менторомъ [2]), заѣзжай за мной и представь меня.

Ибрагимъ согласился....

Посмотрѣвъ на часы, увидѣлъ онъ, что время ѣхать. Ибрагимъ былъ бы очень радъ избавиться, но ассамблея была — дѣло должностное, и государь строго требовалъ присутствія своихъ приближенныхъ. Онъ одѣлся и поѣхалъ за Корсаковымъ.

Корсаковъ сидѣлъ въ шлафрокѣ [3]), читая французскую книгу.

— Такъ рано?—сказалъ онъ Ибрагиму, увидя его.

— Помилуй!—отвѣчалъ тотъ:—ужъ половина шестого, мы опоздаемъ; скорѣй одѣвайся и поѣдемъ.

---

[1]) Адмиралтейство—мѣсто постройки военныхъ судовъ.

[2]) Учитель.

[3]) Халатъ.

Корсаковъ засуетился, сталъ звонить изо всей мочи; люди сбѣжались; онъ сталъ поспѣшно одѣваться. Французъ-камердинеръ подалъ ему башмаки съ красными каблуками, голубые бархатные штаны, розовый кафтанъ, шитый блестками; въ передней наскоро пудрили парикъ; его принесли; Корсаковъ всунулъ въ него стриженую голову, потребовалъ шпагу и перчатки, разъ десять перевернулся передъ зеркаломъ и объявилъ Ибрагиму, что онъ готовъ. Гайдуки [1]) подали имъ медвѣжьи шубы—и они поѣхали въ Зимній дворецъ.

Корсаковъ осыпалъ Ибрагима вопросами: кто въ Петербургѣ первая красавица? кто славится первымъ танцовщикомъ? какой танецъ нынче въ модѣ? Ибрагимъ весьма неохотно удовлетворялъ его любопытству. Между тѣмъ они подъѣхали ко дворцу. Множество длинныхъ саней, старыхъ колымагъ и раззолоченныхъ каретъ стояло уже на лугу. У крыльца толпились кучера въ ливреяхъ и въ усахъ; скороходы, блистающіе мишурою, въ перьяхъ и съ булавами; гусары, пажи, неуклюжіе гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своихъ господъ — свита, необходимая по понятіямъ бояръ того времени. При видѣ Ибрагима поднялся между ними общій шопотъ:—арапъ, арапъ, царскій арапъ! Онъ скорѣе провелъ Корсакова сквозь эту пеструю челядь. Придворный лакей отворилъ имъ двери настежь, и они вошли въ залу. Корсаковъ остолбенѣлъ.. Въ большой комнатѣ, освѣщенной сальными свѣчами, которыя тускло горѣли въ облакахъ табачнаго дыма, вельможи съ голубыми лентами черезъ плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардіи въ зеленыхъ мундирахъ, корабельные мастера въ курткахъ и полосатыхъ панталонахъ, толпою двигались взадъ и впередъ при безпрерывныхъ звукахъ духовой музыки. Дамы сидѣли около стѣнъ; молодыя убраны были со всею роскошью моды. Золото и серебро сіяло на ихъ робахъ [2]), изъ пышныхъ фижмъ [3]) возвышалась, какъ стебель, ихъ узкая талія; алмазы сверкали въ ушахъ, въ длинныхъ локонахъ и около шеи. Онѣ весело

---

[1]) Лакеи.

[2]) Платьяхъ.

[3]) Пышныя юбки.

повертывались направо и налѣво, ожидая кавалеровъ и начала танцевъ. Барыни пожилыя старались хитро сочетать новый образъ одежды съ гонимой стариною: чепцы сбивались на соболью шапочку царицы Натальи Кириловны, а робронды и мантильи какъ-то напоминали сарафанъ и душегрѣйку. Казалось, онѣ болѣе съ удивленіемъ, нежели съ удовольствіемъ, присутствовали на этихъ нововведенныхъ игрищахъ и съ досадою косились на женъ и дочерей голландскихъ шкиперовъ, которыя, въ канифасныхъ юбкахъ и въ красныхъ кофточкахъ, вязали свой чулокъ, между собою смѣялись и разговаривали, какъ будто дома.

Замѣтя новыхъ гостей, слуга подошелъ къ нимъ съ пивомъ и стаканами на подносѣ. Корсаковъ не могъ опомниться.

— Que diable est-ce que tout cela? (Что за чертовщина) спрашивалъ Корсаковъ вполголоса у Ибрагима.

Ибрагимъ не могъ не улыбнуться. Императрица и великія княжны, блистая красотою и нарядами, прохаживались между рядами гостей, привѣтливо съ ними разговаривая. Государь былъ въ другой комнатѣ. Корсаковъ, желая ему показаться, насилу могъ туда пробраться сквозь безпрестанно движущуюся толпу. Тамъ сидѣли большею частію иностранцы, важно покуривая свои глиняныя трубки и опоражнивая глиняныя кружки. На столахъ разставлены были бутылки пива и вина, кожаные мѣшки съ табакомъ, стаканы съ пуншемъ и шахматныя доски. За однимъ изъ нихъ Петръ игралъ въ шашки съ однимъ широкоплечимъ англійскимъ шкиперомъ. Они усердно салютовали другъ друга залпами табачнаго дыма, и государь такъ былъ озадаченъ нечаяннымъ ходомъ своего противника, что не замѣтилъ Корсакова, какъ онъ около нихъ ни вертѣлся. Въ это время толстый господинъ, съ толстымъ букетомъ на груди, суетливо вошелъ, объявилъ громогласно, что танцы начались, и тотчасъ ушелъ; за нимъ послѣдовало множество гостей, въ томъ числѣ и Корсаковъ.

Неожиданное зрѣлище его поразило. Во всю длину танцовальной залы, при звукахъ самой плачевной музыки, дамы и кавалеры стояли въ два ряда другъ противъ друга; кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже присѣдали, сперва прямо противъ себя, потомъ поворотясь направо, потомъ налѣво,

тамъ опять прямо, опять направо, и такъ далѣе. Корсаковъ, смотря на это затѣйливое препровожденіе времени, таращилъ глаза и кусалъ себѣ губы. Присѣданія и поклоны продолжались около получаса; наконецъ они прекратились, и толстый господинъ съ букетомъ провозгласилъ, что церемоніальные танцы кончились, и приказалъ музыкантамъ играть менуэтъ [1].

Корсаковъ обрадовался и приготовился блеснуть. Между молодыми гостьями одна въ особенности ему понравилась. Ей было около шестнадцати лѣтъ; она была одѣта богато, но со вкусомъ, и сидѣла подлѣ мужчины пожилыхъ лѣтъ, вида важнаго и суроваго. Корсаковъ къ ней разлетѣлся и просилъ сдѣлать честь пойти съ нимъ танцовать. Молодая красавица смотрѣла на него съ замѣшательствомъ и, казалось, не знала, что ему сказать. Мужчина, сидѣвшій подлѣ нея, нахмурился еще болѣе. Корсаковъ ждалъ ея рѣшенія; но господинъ съ букетомъ подошелъ къ нему, отвелъ на средину залы и важно сказалъ:

— Государь мой, ты провинился; во-первыхъ, подошелъ къ этой молодой персонѣ, не отдавъ ей три должные реверанса, а во-вторыхъ, взявъ на себя самому ее выбрать, тогда какъ въ менуэтахъ право сіе подобаетъ дамѣ, а не кавалеру; сего ради имѣешь ты быть весьма наказанъ, именно: долженъ выпить „кубокъ большого орла“.

Корсаковъ часъ-отъ-часу болѣе дивился. Въ одну минуту гости его окружили, шумно требуя немедленнаго исполненія закона. Петръ, услыша хохотъ и крики, вышелъ изъ другой комнаты, будучи большой охотникъ лично присутствовать при таковыхъ наказаніяхъ. Передъ нимъ толпа раздвинулась, и онъ вступилъ въ кругъ, гдѣ стоялъ осужденный и передъ нимъ маршалъ [2]) ассамблеи съ огромнымъ кубкомъ, наполненнымъ мальвазіей [3]). Онъ тщетно уговаривалъ преступника добровольно повиноваться закону.

— Ага! сказалъ Петръ, увидя Корсакова, попался братъ. Изволь же, мосье, пить и не морщиться.

---

[1]) Танецъ.

[2]) Распорядитель.

[3]) Вино.

Дѣлать было нечего: бѣдный щеголь, не переводя духу, осушилъ весь кубокъ и отдалъ его маршалу.

— Послушай, Корсаковъ,—сказалъ ему Петръ:—штаны-то на тебѣ бархатные, какихъ и я не ношу, а я тебя гораздо богаче. Это—мотовство; смотри, чтобъ я съ тобой не побранился.

Выслушавъ сей выговоръ, Корсаковъ хотѣлъ выйти изъ круга, но зашатался и чуть не упалъ, къ неописанному удовольствію государя и всей веселой компаніи. Этотъ эпизодъ не только не повредилъ единству и занимательности главнаго дѣйствія, но еще оживилъ его. Кавалеры стали шаркать и кланяться, а дамы присѣдать и постукивать каблуками съ большимъ усердіемъ и ужъ вовсе не наблюдая каданса [1]). Корсаковъ не могъ участвовать въ общемъ весельѣ. Дама, имъ выбранная, по повелѣнію отца своего, Гаврилы Аѳанасьевича Ржевскаго, подошла къ Ибрагиму и, потупя голубые глаза, робко подала ему руку. Ибрагимъ протанцовалъ съ нею менуэтъ и отвелъ ее на прежнее мѣсто; потомъ, отыскавъ Корсакова, вывелъ его изъ залы, посадилъ въ карету и отвезъ домой. Дорогою Корсаковъ сначала невнятно лепеталъ: „проклятая ассамблея!... проклятый кубокъ большого орла!...“ но вскорѣ заснулъ крѣпкимъ сномъ, не чувствовалъ, какъ онъ пріѣхалъ домой, какъ его раздѣли и уложили, и проснулся на другой день съ головною болью, смутно помня шарканья, присѣданья, табачный дымъ, господина съ букетомъ и кубокъ большого орла.

Теперь долженъ я благосклоннаго читателя познакомить съ Гаврилою Аѳанасьевичемъ Ржевскимъ. Онъ происходилъ отъ древняго боярскаго рода, владѣлъ огромнымъ имѣніемъ, былъ хлѣбосолъ, любилъ соколиную охоту, дворня его была многочисленна; словомъ, онъ былъ коренной русскій баринъ; по его выраженію, не терпѣлъ нѣмецкаго духа и старался въ домашнемъ быту сохранить обычай любезной ему старины. Дочери его было семнадцать лѣтъ отъ роду. Еще ре-

---

[1]) Равномѣрность движенія.

бенкомъ лишилась она матери. Она была воспитана по-старинному, т.-е. окружена мамушками, нянюшками, подружками и сѣнными дѣвушками; шила золотомъ и не знала грамоты. Отецъ ея, несмотря на отвращеніе свое отъ всего заморскаго, не могъ противиться ея желанію учиться пляскамъ нѣмецкимъ у плѣннаго шведскаго офицера, живущаго въ ихъ домѣ. Этотъ заслуженный танцмейстеръ имѣлъ лѣтъ пятьдесятъ отъ роду; правая нога была у него прострѣлена подъ Нарвою, и потому была не весьма способна къ менуэтамъ, зато лѣвая съ удивительнымъ искусствомъ и легкостью выдѣлывала самыя трудныя па [1]). Ученица дѣлала честь его стараніямъ. Наталья Гавриловна славилась на ассамблеяхъ лучшею танцовщицей, что и было отчасти причиною проступка Корсакова, который на другой день пріѣзжалъ извиниться передъ Гаврилою Аѳанасьевичемъ; но ловкость и щегольство молодого франта не понравились гордому боярину, который прозвалъ его остроумно—французской обезьяною.

День былъ праздничный. Гаврила Аѳанасьевичъ ожидалъ нѣсколько родныхъ и пріятелей. Въ старинной залѣ накрывали длинный столъ. Гости съѣзжались съ женами и дочерьми, наконецъ, освобожденными отъ затворничества домашняго указами государя и собственнымъ его примѣромъ. Наталья Гавриловна поднесла каждому гостю серебряный подносъ, уставленный золотыми чарочками, и каждый выпилъ свою, жалѣя, что поцѣлуй, получаемый въ старину при такомъ случаѣ, вышелъ ужъ изъ обыкновенія. Пошли за столъ. На первомъ мѣстѣ, подлѣ хозяина, сѣлъ тесть его, князь Борисъ Алексѣевичъ Лыковъ, семидесятилѣтній бояринъ; прочіе гости, наблюдая старшинство рода и тѣмъ поминая счастливыя времена мѣстничества, сѣли—мужчины по одной сторонѣ, женщины по другой; на концѣ заняли свои привычныя мѣста—барская барыня, въ старинномъ шушунѣ и кичкѣ; карлица, тридцатилѣтняя малютка, чопорная и сморщенная, и плѣнный танцмейстеръ въ синемъ, поношенномъ мундирѣ. Столъ, уставленный множествомъ блюдъ, былъ окруженъ суетливой челядью, между которою отличался дворецкій строгимъ взо-

[1]) Фигуры въ танцахъ.

ромъ, толстымъ брюхомъ и величавой неподвижностью. Первыя минуты обѣда посвящены были единственно на вниманіе къ произведеніямъ старинной нашей кухни; звонъ тарелокъ и дѣятельныхъ ложекъ возмущалъ одинъ общее безмолвіе. Наконецъ, хозяинъ, видя, что время занять гостей пріятною бѣсѣдою, оборотился и спросилъ:

— А гдѣ же Екимовна? Позвать ее сюда!

Нѣсколько слугъ бросились было въ разныя стороны, но въ ту же минуту старая женщина, набѣленная и нарумяненная, убранная цвѣтами и мишурою, въ штофномъ роброндѣ, съ открытой шеей и грудью, вошла, припѣвая и подплясывая. Ея появленіе произвело общее удовольствіе.

— Здравствуй, Екимовна, сказалъ князь Лыковъ,—каково поживаешь?

— По-добру, по-здорову, кумъ: поючи да пляшучи, женишковъ поджидаючи.

— Гдѣ ты была, дура? спросилъ хозяинъ.

— Наряжалась, кумъ, для дорогихъ гостей, для Божія праздника, по царскому наказу, по боярскому приказу, на смѣхъ всему міру, по нѣмецкому маниру.

При этихъ словахъ поднялся громкій хохотъ, и дура стала на свое мѣсто, за стуломъ хозяина.

— А дура-то вретъ, вретъ, да и правду совретъ,—сказала Татьяна Аѳанасьевна, старшая сестра хозяина, сердечно имъ уважаемая.

— Подлинно, нынѣшніе наряды—на смѣхъ всему міру. Коли ужъ и вы, батюшки, обрили себѣ бороду и надѣли кургузый кафтанъ, такъ про женское тряпье толковать, конечно, нечего; а право, жаль сарафана, дѣвичьей ленты и повойника! Вѣдь посмотрѣть на нынѣшнихъ красавицъ—и смѣхъ, и жалость: волоски-то взбиты, что войлокъ, насалены, засыпаны французской мукою; животикъ перетянутъ такъ, что еле не перервется; исподницы напялены на обручи: въ колымагу садятся бочкомъ, въ двери входятъ—нагибаются: ни стать, ни сѣсть, ни духъ перевесть—сущія мученицы, мои голубушки!

— Охъ, матушка Татьяна Аѳанасьевна!—сказалъ Кирила Петровичъ Т., бывшій въ Рязани воеводой, гдѣ нажилъ себѣ

300 душъ и молодую жену, то и другое съ грѣхомъ пополамъ.—По мнѣ, жена какъ хочешь одѣвайся: хоть кутафьей, хоть болдыханомъ, только бъ не каждый мѣсяцъ заказывала себѣ новыя платья, а прежнія бросала новенькія. Бывало, внучкѣ въ приданое доставался бабушкинъ сарафанъ; а нынѣшніе робронды—поглядишь: сегодня на барынѣ, а завтра на холопкѣ. Что дѣлать? Разореніе русскому дворянству! бѣда, да и только!

При этихъ словахъ онъ со вздохомъ посмотрѣлъ на свою Марью Ильинишну, которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старинѣ, ни порицанія новѣйшихъ обычаевъ. Прочія красавицы раздѣляли ея неудовольствіе, но молчали, ибо скромность почиталась тогда необходимой принадлежностью молодой женщины.

— А кто виноватъ?—сказалъ Гаврила Аѳанасьевичъ, напѣня кружку кислыхъ щей:—не мы ли сами? Молоденькія бабы дурачатся, а мы имъ потакаемъ.

— А что намъ дѣлать, коли не наша воля?—возразилъ Кирила Петровичъ:—иной бы радъ былъ запереть жену въ теремѣ, а ее съ барабаннымъ боемъ требуютъ на ассамблею; мужъ за плетку, а жена за наряды. Охъ ужъ эти ассамблеи! наказалъ насъ ими Господь за прегрѣшенія наши.

Марья Ильинишна сидѣла, какъ на иголкахъ; языкъ у ней такъ и свербѣлъ; наконецъ, она не вытерпѣла и, обратясь къ мужу, спросила его съ кисленькой улыбкой, что находитъ онъ дурного въ ассамблеяхъ?

— А то въ нихъ дурно,—отвѣчалъ разгоряченный супругъ:—что съ тѣхъ поръ, какъ онѣ завелись, мужья не сладятъ съ женами; жены позабыли слово апостольское: жена да боится своего мужа; хлопочутъ не о хозяйствѣ, а объ обновахъ; не думаютъ, какъ бы мужу угодить, а какъ бы приглянуться офицерамъ-вертопрахамъ. Да и прилично ли, сударыня, русской боярынѣ или боярышнѣ находиться вмѣстѣ съ нѣмцами-табачниками, да съ ихъ работницами? Слыхано ли дѣло—до ночи плясать и разговаривать съ молодыми мужчинами! и добро бы еще съ родственниками, а то съ чужими, съ незнакомыми!

— Сказалъ бы словечко, да волкъ недалечко, — сказалъ,

нахмурясь, Гаврила Аѳанасьевичъ:—а признаюсь, ассамблеи и мнѣ не по нраву—того и гляди, что на пьянаго натолкнешься, аль и самого на смѣхъ пьянымъ напоятъ. Того и гляди, чтобъ какой-нибудь повѣса не напроказилъ чего съ дочерью, а нынче молодежь такъ избаловалась, что ни на что не похоже. Вотъ, напримѣръ, сынъ покойнаго Евграфа Сергѣевича Корсакова на прошедшей ассамблеѣ надѣлалъ такого шуму съ Наташей, что привелъ меня въ краску. На другой день, гляжу, катитъ ко мнѣ прямо на дворъ; я думалъ: кого-то Богъ несетъ — ужъ не князя ли Александра Даниловича? — Не тутъ-то было: Ивана Евграфовича! Небось, не могъ остановиться у воротъ, да потрудиться пѣшкомъ дойти до крыльца—куды! влетѣлъ, расшаркался, разболтался, что и Боже упаси! Дура Екимовна уморительно его передразниваетъ; кстати, представь, дура, заморскую обезьяну.

Дура Екимовна схватила крышку съ одного блюда, взяла подъ мышку шляпу и начала кривляться, шаркать и кланяться во всѣ стороны, приговаривая: „мусье... мамзель... ассамблея... пардонъ". Общій и продолжительный хохотъ снова изъявилъ удовольствіе гостей.

— Ни дать, ни взять—Корсаковъ!—сказалъ старый Лыковъ, отирая слезы отъ смѣха, когда спокойствіе мало-по-малу возстановилось. — А что грѣха таить? Не онъ первый, не онъ послѣдній, воротился изъ Нѣметчины на святую Русь скоморохомъ. Чему тамъ научаются наши дѣти? Шаркать, болтать, Богъ вѣсть на какомъ нарѣчіи, не почитать старшихъ, да волочиться за чужими женами. Изо всѣхъ молодыхъ людей, воспитанныхъ въ чужихъ краяхъ (прости Господи!), царскій арапъ всѣхъ болѣе на человѣка походитъ.

— Ахти-батюшки, князь,—сказала Татьяна Аѳанасьевна: — видѣла, видѣла его близехонько... какая ужъ у него страшная морда! перепугалъ онъ меня, грѣшную!

— Конечно, — замѣтилъ Гаврила Аѳанасьевичъ:—человѣкъ онъ степенный и порядочный, не чета вѣтрогону... Это кто еще въѣхалъ въ ворота на дворъ? Ужъ не опять ли онъ, обезьяна заморская? Вы что зѣваете,—скоты? продолжалъ онъ обращаясь къ слугамъ:—бѣгите отказать ему; да чтобъ и впредь....

— Старая борода, не бредишь ли?—прервала дура Екимовна:—али ты слѣпъ?—сани-то государевы; царь пріѣхалъ.

Гаврила Аѳанасьевичъ всталъ поспѣшно изъ-за стола; всѣ бросились къ окнамъ, и въ самомъ дѣлѣ увидѣли государя, который входилъ на крыльцо, опираясь на плечо своего денщика. Сдѣлалась суматоха. Хозяинъ бросился на встрѣчу Петра; слуги разбѣгались, какъ одурѣлые; гости перетрусились; иные даже думали, какъ бы убраться поскорѣе домой. Вдругъ въ передней раздался громозвучный голосъ Петра; все утихло, и царь вошелъ въ сопровожденіи хозяина, оторопѣлаго отъ радости.

— Здорово, господа!—сказалъ Петръ съ весѣлымъ лицомъ.

Всѣ низко поклонились. Быстрые взоры царя отыскали въ толпѣ молодую хозяйскую дочь; онъ подозвалъ ее. Наталья Гавриловна приблизилась довольно смѣло, но покраснѣвъ не только по уши, а даже по плеча.

— Ты часъ отъ часу хорошѣешь,—сказалъ ей государь, и по своему обыкновенію поцѣловалъ ее въ голову; потомъ, обратясь къ гостямъ:—что же? я вамъ помѣшалъ? обѣдали? прошу садиться опять, а мнѣ, Гаврила Аѳанасьевичъ, дай-ка анисовой водки.

Хозяинъ бросился къ величавому дворецкому, выхватилъ изъ рукъ у него подносъ, самъ налилъ золотую чарочку и подалъ ее съ поклономъ государю. Петръ, выпивъ, закусилъ кренделемъ и вторично пригласилъ гостей продолжать обѣдъ. Всѣ заняли свои прежнія мѣста, кромѣ карлицы и барской барыни, которыя не смѣли оставаться за столомъ, удостоеннымъ царскимъ присутствіемъ. Петръ сѣлъ подлѣ хозяина и спросилъ себѣ щей. Государевъ денщикъ подалъ ему деревянную ложку, оправленную слоновой костью, ножикъ и вилку съ зелеными костяными черенками, ибо Петръ никогда не употреблялъ другого прибора, кромѣ своего. Обѣдъ, за минуту предъ тѣмъ шумно оживленный весельемъ и говорливостью, продолжался въ тишинѣ и принужденности.

Хозяинъ, изъ почтенія и радости, ничего не ѣлъ; гости также чинились и съ благоговѣніемъ слушали, какъ государь по-нѣмецки разговаривалъ съ плѣннымъ шведомъ о походѣ 1701 года. Дура Екимовна, нѣсколько разъ вопрошаемая

государемъ, отвѣчала съ какою-то робкой холодностью, что (замѣчу мимоходомъ) вовсе не доказывало природной ея глупости. Наконецъ, обѣдъ кончился. Государь всталъ, за нимъ и всѣ гости.

— Гаврила Аѳанасьевичъ,—сказалъ онъ хозяину:—мнѣ нужно съ тобою поговорить наединѣ,—и взявъ его подъ руку, увелъ въ гостиную и заперъ за собою дверь.

Гости остались въ столовой, шопотомъ толкуя объ этомъ неожиданномъ посѣщеніи, и опасаясь быть нескромными, вскорѣ разъѣхались одинъ за другимъ, не поблагодаривъ хозяина за его хлѣбъ-соль. Тесть его, дочь и сестра, провожали ихъ тихонько до порога и остались одни въ столовой, ожидая выхода государева.

Чрезъ полчаса дверь отворилась, и Петръ вышелъ. Важнымъ наклоненіемъ головы отвѣтствовалъ онъ на тройной поклонъ Лыкова, Татьяны Аѳанасьевны и Наташи, и пошелъ прямо въ переднюю. Хозяинъ подалъ ему красный его тулупъ, проводилъ его до саней и на крыльцѣ еще благодарилъ за оказанную честь.

Петръ уѣхалъ.

Возвратясь въ столовую, Гаврила Аѳанасьевичъ казался очень озабоченъ; сердито приказалъ онъ слугамъ скорѣе сбирать со стола, отослалъ Наташу въ ея свѣтлицу, и объявивъ сестрѣ и тестю, что ему съ ними надобно поговорить, повелъ ихъ въ опочивальню, гдѣ обыкновенно отдыхалъ онъ послѣ обѣда. Старый князь легъ на дубовую кровать; Татьяна Аѳанасьевна сѣла на старинныя штофныя кресла, придвинувъ подъ ноги скамеечку; Гаврила Аѳанасьевичъ заперъ всѣ двери, сѣлъ на кровать въ ногахъ князя Лыкова и началъ въ полголоса слѣдующій разговоръ.

— Недаромъ государь ко мнѣ пожаловалъ: угадайте, о чемъ онъ изволилъ со мною бесѣдовать?

— Какъ намъ знать, батюшка-братецъ!—сказала Татьяна Аѳанасьевна.

— Не приказалъ ли тебѣ царь вѣдать какое-либо воеводство?—сказалъ тесть:—давно пора; али предложилъ быть

въ отвѣтѣ? что же? вѣдь не однихъ дьяковъ — и знатныхъ людей посылаютъ къ чужимъ государямъ.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ зять, нахмурясь:—я человѣкъ стараго покроя, а нынѣ служба наша не нужна, хоть, можетъ быть, православный русскій дворянинъ стоитъ нынѣшнихъ новичковъ, блинниковъ да басурмановъ. Но это статья особая.

Такъ о чемъ же, братецъ?—сказала Татьяна Аѳанасьевна.—Ужъ не бѣда ли какая съ тобою приключилась? Господь упаси и помилуй!

— Бѣда не бѣда, а признаюсь, я было призадумался.

— Что же такое, братецъ? О чемъ дѣло?

— Дѣло о Наташѣ: царь пріѣзжалъ ее сватать.

— Слава Богу!—сказала Татьяна Аѳанасьевна, перекрестясь:—дѣвушка на-выданьи, а каковъ сватъ, таковъ и женихъ. Дай Богъ любовь да совѣтъ, а чести много. За кого-же царь ее сватаетъ?

— Гм!—крякнулъ Гаврила Аѳанасьевичъ:—за кого? то-то, за кого!

— А за кого же?—повторилъ князь Лыковъ, начинавшій уже дремать.

— Отгадайте,—сказалъ Гаврила Аѳанасьевичъ.

— Батюшка-братецъ,—отвѣчала старушка:—какъ намъ угадать! Мало ли жениховъ при дворѣ: всякій радъ взять за себя твою Наташу. Долгорукій, что ли?

— Нѣтъ, не Долгорукій.

— Да и Богъ съ нимъ: больно спѣсивъ. Шеинъ? Троекуровъ?

— Нѣтъ, ни тотъ, ни другой.

— Богъ съ нимъ: богатъ и глупъ. Что же? Елецкій? Львовъ? Неужто Рагузинскій? Воля твоя: ума не приложу. Да за кого же царь сватаетъ Наташу?

— За арапа Ибрагима.

Старушка ахнула и всплеснула руками. Князь Лыковъ приподнялъ голову съ подушекъ и съ изумленіемъ повторилъ.

— За арапа Ибрагима?

— Батюшка-братецъ!—сказала старушка слезливымъ го-

лосомъ:—не погуби ты своего родимаго дитяти, не дай ты Наташеньки въ когти черному дьяволу.

— Но какъ же, — возразилъ Гаврила Аѳанасьевичъ: — отказать государю, который за то обѣщаетъ намъ свою милость, мнѣ и всему нашему роду?

— Какъ!—воскликнулъ старый князь, у котораго сонъ совсѣмъ прошелъ:—Наташу, внучку мою, выдать за купленнаго арапа?

— Онъ роду не простого,—сказалъ Гаврила Аѳанасьевичъ:—онъ сынъ—арапскаго султана. Басурмане взяли его въ плѣнъ и продали въ Цареградѣ, а нашъ посланникъ выручилъ и подарилъ его царю. Старшій братъ арапа пріѣзжалъ въ Россію съ знатнымъ выкупомъ и...

— Батюшка, Гаврила Аѳанасьевичъ! — прервала старушка:—слыхали мы сказку про Бову Королевича да Еруслана Лазаревича! Разскажи-тко намъ лучше, какъ отвѣчалъ государю на его сватанье.

— Я сказалъ, что власть его съ нами, а наше холопье дѣло повиноваться ему во всемъ...

Неожиданное сватовство удивило Ибрагима по крайней мѣрѣ столько же, какъ и Гаврилу Аѳанасьевича. Вотъ какъ это случилось. Петръ, занимаясь дѣлами съ Ибрагимомъ, сказалъ ему:

— Я замѣчаю, братъ, что ты пріунылъ; говори прямо, чего тебѣ недостаетъ?

Ибрагимъ увѣрялъ государя, что онъ доволенъ своей участью и лучшей не желаетъ.

— Добро,—сказалъ государь:—если ты скучаешь безо всякой причины, такъ я знаю, чѣмъ тебя развеселить.

По окончаніи работы, Петръ спросилъ Ибрагима:

— Нравится ли тебѣ дѣвушка, съ которой ты танцовалъ менуэтъ на прошедшей ассамблеѣ?

— Она, государь, очень мила и, кажется, дѣвушка скромная и добрая.

— Такъ я-жъ тебя съ нею познакомлю покороче. Хочешь ли ты на ней жениться?

— Я, государь?

— Послушай, Ибрагимъ: ты человѣкъ одинокій, безъ

роду и племени, чужой для всѣхъ, кромѣ одного меня. Умри я сегодня, завтра что съ тобою будетъ, бѣдный мой арапъ? Надобно тебѣ пристроиться, пока есть еще время, найти опору въ новыхъ связяхъ, вступить въ союзъ съ русскимъ боярствомъ.

— Государь, я счастливъ покровительствомъ и милостями вашего величества. Дай Богъ мнѣ не пережить моего царя и благодѣтеля—болѣе ничего не желаю; но если бъ и имѣлъ въ виду жениться, то согласится ли молодая дѣвушка и ея родственники? Моя наружность...

— Твоя наружность? какой вздоръ! чѣмъ ты не молодецъ? Молодая дѣвушка должна повиноваться волѣ родителей, а посмотримъ, что скажетъ старый Гаврила Ржевскій, когда я самъ буду твоимъ сватомъ.

При этихъ словахъ государь велѣлъ подавать сани и оставилъ Ибрагима, погруженнаго въ глубокія размышленія....

Ибрагимъ, по своему обыкновенію, хотѣлъ заняться дѣломъ, но воображеніе его слишкомъ было развлечено. Онъ оставилъ бумаги и пошелъ бродить по Невской набережной. Вдругъ услышалъ онъ голосъ Петра, оглянулся и увидѣлъ государя, который, отпустя сани, шелъ за нимъ съ веселымъ видомъ.

— Все, братъ, кончено!—сказалъ Петръ, взявъ его подъ руку:—я тебя сосваталъ. Завтра поѣзжай къ своему тестю, но, смотри, потѣшь его боярскую спѣсь: оставь сани у воротъ, пройди черезъ дворъ пѣшкомъ, поговори съ нимъ о его заслугахъ и знатности—и онъ будетъ отъ тебя безъ памяти.— Теперь,—продолжалъ онъ, потряхивая дубинкою: — заведи меня къ плуту-Данилычу, съ которымъ надо мнѣ перевѣдаться за его новыя проказы.

Ибрагимъ, сердечно отблагодаривъ Петра за его отеческую заботливость о немъ, довелъ его до великолѣпныхъ палатъ князя Меншикова и возвратился домой.

IV.

ПИРЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

(1835 г.)

Надъ Невою рѣзво вьются
Флаги пестрые судовъ;
Звучно съ лодокъ раздаются
Пѣсни дружныя гребцовъ:
Въ царскомъ домѣ пиръ веселый;
Рѣчь гостей хмельна, шумна;
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.
Что пируетъ царь великій
Въ Питербургѣ-городкѣ?
Отчего пальба и клики,
И эскадра [1]) на рѣкѣ?
Озаренъ ли честью новой
Русскій штыкъ, иль русскій флагъ?
Побѣжденъ ли шведъ суровый?
Мира-ль проситъ грозный врагъ?
Иль въ отъятый край у шведа
Прибылъ Брантовъ утлый ботъ,
И пошелъ на встрѣчу дѣда
Всей семьей нашъ юный флотъ,
И воинственные внуки
Стали въ строй предъ старикомъ,
И раздался въ честь науки
Пѣсенъ хоръ и пушекъ громъ?
Годовщину ли Полтавы
Торжествуетъ государь—
День, какъ жизнь своей державы
Спасъ отъ Карла русскій царь?

[1]) Собраніе нѣсколькихъ кораблей, которыми командуетъ одинъ главный начальникъ—адмиралъ.

Родила-ль Екатерина?
Именинница-ль она,
Чудотворца-исполина
Чернобровая жена?
Нѣтъ, онъ съ подданнымъ мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пѣнитъ съ нимъ одну;
И въ чело его цѣлуетъ,
Свѣтелъ сердцемъ и лицомъ;
И прощенье торжествуетъ,
Какъ побѣду надъ врагомъ.
Оттого-то шумъ и клики
Въ Питербургѣ-городкѣ,
И пальба, и громъ музыки,
И эскадра на рѣкѣ;
Оттого-то въ часъ веселый
Чаша царская полна,
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.

V.

СТАНСЫ [1]).

Въ надеждѣ славы и добра,
Гляжу впередъ я безъ боязни:
Начало славныхъ дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Но правдой онъ привлекъ сердца,
Но нравы укротилъ наукой,

[1]) Стихотвореніе написано въ 1826 г., по возвращеніи Пушкина изъ Михайловскаго, и обращено къ Императору Николаю I, котораго поэтъ сопоставляетъ съ Петромъ Великимъ.

И былъ отъ буйнаго стрѣльца
Предъ нимъ отличенъ Долгорукой.
Самодержавною рукой
Онъ смѣло сѣялъ просвѣщенье,
Не презиралъ страны родной:
Онъ зналъ ея предназначенье!
То академикъ, то герой,
То мореплаватель, то плотникъ,
Онъ всеобъемлющей душой
На тронѣ вѣчный былъ работникъ.
Семейнымъ сходствомъ будь же гордъ,
Во всемъ будь пращуру подобенъ:
Какъ онъ, неутомимъ и твердъ,
И памятью, какъ онъ, незлобенъ.

VI.

ПАМЯТНИКЪ ПЕТРУ ПЕРВОМУ.

(Изъ „Мѣднаго Всадника“)

Надъ огражденною скалою,
Гигантъ съ простертою рукою
Сидитъ на бронзовомъ конѣ.....
Какая дума на челѣ!
Какая сила въ немъ сокрыта!
А въ семъ конѣ какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И гдѣ опустишь ты копыта?

Отдѣлъ четвертый:

ВѢКЪ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ.

ИМПЕРАТРИЦА
Екатерина II, Великая
1762—1796 г.

ВНѢШНІЯ ДѢЛА И ПУГАЧЕВСКІЙ БУНТЪ.

Сильно возрасло и расширилось Русское Государство при Императрицѣ Екатеринѣ II, супругѣ Императора Петра III, послѣ котораго она вступила на престолъ въ 1762 г. Царствованіе ея полно великихъ побѣдъ и славы русскаго оружія. Въ первые же годы ея правленія началась война съ турками, которая велась и на сушѣ, и на морѣ. На сушѣ побѣды надъ врагами одерживалъ графъ Петръ Александровичъ Румянцевъ; особенно славна побѣда его надъ турками при р. Кагулѣ, близъ р. Дуная, гдѣ онъ съ 17-ти-тысячнымъ войскомъ разбилъ 150-ти-тысячную турецкую армію. А на морѣ флотъ нашъ одерживалъ побѣды подъ начальствомъ графа Алексѣя Григорьевича Орлова. Обоимъ героямъ турецкой войны Екатерина поставила памятники въ Царскосельскомъ саду, близъ роскошнаго своего дворца, гдѣ любила она проводить время, отдыхая отъ тяжелыхъ государственныхъ заботъ. Въ особомъ зданіи, смежномъ съ дворцомъ, впослѣдствіи помѣщался при Императорѣ Александрѣ I Царскосельскій лицей, гдѣ учился и Пушкинъ. Велики были заслуги Екатерины, много надо было мужества и государственной мудрости, чтобы оберегать Россію отъ смутъ внутреннихъ и внѣшнихъ враговъ. Недаромъ и прозвали ее Великой. Въ то время, когда на границахъ государства велась жестокая война съ турками, и главныя войска были стянуты къ Дунаю, страшныя бѣдствія, одно за другимъ, обрушились на Россію: въ 1770 году появилась чума и съ особенной силой свирѣпствовала въ Москвѣ. Не успѣла оправиться Россія отъ заразы, погубившей тысячи народу, какъ въ 1773 году вспыхнулъ народный мятежъ, охватившій всю восточную Россію, оба берега Волги и грозившій перейти и въ среднюю Россію. Появился на Уралѣ самозванецъ, донской казакъ Емельянъ Пугачевъ и объявилъ себя Петромъ III.

Недовольные распоряженіями правительства раскольники, вольные уральскіе казаки, разбойники и бродяги собрались около самозваннаго государя; быстро образовалось нестройное, буйное войско, примкнули къ нему восточные кочевники, калмыки и башкиры, почуявъ добрую поживу; грабежи и пожары охватили всю восточную Русь. Безъ пощады вѣшалъ и разстрѣливалъ Пугачевъ всѣхъ, кто не хотѣлъ признавать въ немъ законнаго, будто бы, государя Петра Ѳеодоровича; вѣрилъ черный людъ, что будто бы за его права вступается государь, присягалъ ему и вмѣстѣ съ мятежниками грабилъ и жегъ усадьбы своихъ помѣщиковъ. Безъ труда взялъ Пугачевъ нѣсколько маленькихъ крѣпостей и городковъ на границѣ степныхъ башкирскихъ земель; не трудно и было ему захватить ничѣмъ не защищенныя крѣпостцы съ сотней гарнизонныхъ солдатъ, когда за нимъ шли тысячныя толпы мятежниковъ. Не сдались ему только крѣпости Яицкій-городокъ и Оренбургъ; стали подходить къ осажденнымъ военныя подкрѣпленія; обученныя войска разбивали нестройныя шайки мятежниковъ, и власть Пугачева стала ослабѣвать. Въ 1775 году выступилъ противъ него Суворовъ, войсками своими окружилъ его шайку со всѣхъ сторонъ, и мятежники сами выдали самозваннаго государя царскимъ войскамъ. Пугачева заковали въ кандалы и въ желѣзной клѣткѣ отвезли въ Москву, гдѣ онъ и былъ казненъ на Болотной площади.

В. О.

I.

ВОСПОМИНАНІЯ ВЪ ЦАРСКОМЪ СЕЛѢ.

(1815 г.)

Нависъ покровъ угрюмой нощи
На сводѣ дремлющихъ небесъ;
Въ безмолвной тишинѣ почили долъ и рощи,
Въ сѣдомъ туманѣ дальній лѣсъ;
Чуть слышится ручей, бѣгущій въ сѣнь дубравы,
Чуть дышитъ вѣтерокъ, уснувшій на листахъ,
И тихая луна, какъ лебедь величавый,
Плыветъ въ сребристыхъ облакахъ.

Плыветъ— и блѣдными лучами
Предметы освѣтила вкругъ:
Аллеи древнихъ лицъ открылись предъ очами,
Прогляпули и холмъ, и лугъ.
Здѣсь, вижу, съ тополемъ сплелась младая ива
И отразилася въ кристалѣ зыбкихъ водъ;
Царицей средь полей лилея горделива
Въ роскошной красотѣ цвѣтетъ.

Съ холмовъ кремнистыхъ водопады
Стекаютъ бисерной рѣкой,
Тамъ въ тихомъ озерѣ плескаются наяды [1])
Его лѣнивою волной;

---

[1]) Русалки, которыя, по народному повѣрію, при мѣсяцѣ плещутся въ водахъ.

А тамъ, въ безмолвіи, огромные чертоги,
На своды опершись, несутся къ облакамъ...
Увы! промчалися тѣ времена златыя,
Когда подъ скипетромъ великія жены
Вѣнчалась славою счастливая Россія,
Цвѣтя подъ кровомъ тишины.

Здѣсь каждый шагъ въ душѣ рождаетъ
Воспоминанья прежнихъ лѣтъ,—
Воззрѣвъ вокругъ себя, со вздохомъ россъ вѣщаетъ:
„Исчезло все, Великой нѣтъ!“
И, въ думу углубленъ, надъ злачными брегами
Сидитъ въ безмолвіи, склоняя вѣтрамъ слухъ:
Протекшія лѣта мелькаютъ предъ очами
И въ тихомъ восхищеньи духъ.

Онъ видитъ: окруженъ волнами,
Надъ твердой, мшистою скалой
Вознесся памятникъ. Ширяяся крылами,
Надъ нимъ сидитъ орелъ младой.
И цѣпи тяжкія, и стрѣлы громовыя
Вкругъ грознаго столпа трикраты обвились,
Кругомъ подножія, шумя, валы сѣдые
Въ блестящей пѣнѣ улеглись.

Въ тѣни густой угрюмыхъ сосенъ
Воздвигся памятникъ простой.
О, сколь онъ для тебя, Кагульскій брегъ, поносенъ
И славенъ родинѣ драгой!
Безсмертны вы во вѣкъ, о, русски исполины!
Въ бояхъ воспитанны средь бранныхъ непогодъ,
О васъ, сподвижники, друзья Екатерины,
Пройдетъ молва изъ рода въ родъ [1]).

---

[1]) Это стихотвореніе читалъ мальчикъ Пушкинъ на экзаменѣ въ Лицеѣ передъ Державинымъ; см. объ этомъ раньше въ біографіи.

II.

ОТРОКЪ [1]).

(1830 г.)

Неводъ рыбакъ разстилалъ по брегу студенаго моря;
Мальчикъ отцу помогалъ. Отрокъ, оставь рыбака!
Мрежи иныя тебя ожидаютъ, иныя заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощникъ царямъ.

---

[1]) Въ стихотвореніи этомъ говорится о первомъ русскомъ ученомъ и писателѣ, сынѣ холмогорскаго рыбака, Михаилѣ Васильевичѣ Ломоносовѣ (род. 1711 г., умер. 1765 г.), которому покровительствовали императрицы Елизавета Петровна, дочь Петра Великаго, и Екатерина II, въ царствованіе которой Ломоносовъ и умеръ.

III.

ИЗЪ ПОВѢСТИ „КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА“.

Я [1]) приближался къ мѣсту моего назначенія. Вокругъ меня простирались печальныя пустыни, пересѣченныя холмами и оврагами. Все покрыто было снѣгомъ. Солнце садилось. Кибитка ѣхала по узкой дорогѣ, или, точнѣе, по слѣду, проложенному крестьянскими санями. Вдругъ ямщикъ сталъ посматривать въ сторону, и, наконецъ, снявъ шапку, обратился ко мнѣ и сказалъ:

— Баринъ, не прикажешь ли воротиться?

— Это зачѣмъ?

— Время ненадежно: вѣтеръ слегка подымается; вишь, какъ онъ сметаетъ порошу.

Ямщикъ указалъ кнутомъ на востокъ.

— Я ничего не вижу, кромѣ бѣлой степи да яснаго неба.

— А вонъ—вонъ: это облачко.

Я увидѣлъ въ самомъ дѣлѣ на краю неба бѣлое облачко, которое принялъ было сперва за отдаленный холмикъ. Ямщикъ изъяснилъ мнѣ, что облачко предвѣщало буранъ.

Я слыхалъ о тамошнихъ метеляхъ и зналъ, что цѣлые обозы бывали ими занесены. Савельичъ, согласно съ мнѣніемъ ямщика, совѣтовалъ воротиться. Но вѣтеръ показался мнѣ не силенъ: я понадѣялся добраться заблаговременно до слѣдующей станціи и велѣлъ ѣхать скорѣе.

---

[1]) Гриневъ, молодой офицеръ, назначенный на службу въ Бѣлогорскую крѣпость.

Ямщикъ поскакалъ, но все поглядывалъ на востокъ. Лошади бѣжали дружно. Вѣтеръ между тѣмъ часъ отъ часу становился сильнѣе. Облачко обратилось въ бѣлую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошелъ мелкій снѣгъ и вдругъ повалилъ хлопьями. Вѣтеръ завылъ; сдѣлалась метель. Въ одно мгновеніе темное небо смѣшалось съ снѣжнымъ моремъ. Все исчезло.

— Ну, баринъ,—закричалъ ямщикъ: бѣда—буранъ!...

Я выглянулъ изъ кибитки: все было мракъ и вихорь. Вѣтеръ вылъ съ такой свирѣпой выразительностью, что казался одушевленнымъ; снѣгъ засыпалъ меня и Савельича; лошади шли шагомъ и скоро стали.

— Что же ты не ѣдешь?—спросилъ я ямщика съ нетерпѣніемъ.

— Да что ѣхать?—отвѣчалъ онъ, слѣзая съ облучка:—невѣсть и такъ, куда заѣхали: дороги нѣтъ, и мгла кругомъ.

Я сталъ было его бранить. Савельичъ за него заступился.

— И охота было не слушаться,—говорилъ онъ сердито:—воротился бы на постоялый дворъ, накушался бы чаю, почивалъ бы себѣ до утра, буря бъ утихла, отправились бы далѣе. И куда спѣшимъ? Добро бы на свадьбу!

Савельичъ былъ правъ. Дѣлать было нечего. Снѣгъ такъ и валилъ. Около кибитки подымался сугробъ. Лошади стояли, понуря головы и изрѣдка вздрагивая. Ямщикъ ходилъ кругомъ, отъ нечего дѣлать улаживая упряжь. Савельичъ ворчалъ; я глядѣлъ во всѣ стороны, надѣясь увидѣть хоть признакъ жилья или дороги, но ничего не могъ различить, кромѣ мутнаго крученія метели. Вдругъ увидѣлъ я что-то черное.

— Эй, ямщикъ!—закричалъ я:—смотри—что̀ тамъ такое чернѣется?

Ямщикъ сталъ всматриваться.

— А Богъ знаетъ, баринъ,—сказалъ онъ, садясь на свое мѣсто:—возъ не возъ, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волкъ, или человѣкъ.

Я приказалъ ѣхать на незнакомый предметъ, который тотчасъ и сталъ подвигаться намъ навстрѣчу. Черезъ двѣ минуты мы поровнялись съ человѣкомъ.

— Гей, добрый человѣкъ!—закричалъ ему ямщикъ:—скажи, не знаешь ли, гдѣ дорога?

— Дорога-то здѣсь; я стою на твердой полосѣ,—отвѣчалъ дорожный:—да что толку?

— Послушай, мужичекъ,—сказалъ я ему:—знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?

— Сторона мнѣ знакомая,—отвѣчалъ дорожный:—слава Богу, исхожена и изъѣзжена вдоль и поперекъ. Да вишь, какая погода: какъ разъ собьешься съ дороги. Лучше здѣсь остановиться, да переждать, авось буранъ утихнетъ, да небо прояснится; тогда найдемъ дорогу по звѣздамъ.

Его хладнокровіе ободрило меня. Я ужъ рѣшился, предавъ себя Божьей волѣ, ночевать посреди степи, какъ вдругъ дорожный сѣлъ проворно на облучекъ и сказалъ ямщику:

— Ну, слава Богу, жило недалеко; сворачивай вправо, да поѣзжай.

— А почему ѣхать мнѣ вправо?—спросилъ ямщикъ съ неудовольствіемъ:—гдѣ ты видишь дорогу? Небось, лошади чужія, хомутъ не свой, погоняй, не стой.

Ямщикъ казался мнѣ правъ.

— Въ самомъ дѣлѣ,—сказалъ я:—почему думаешь ты, что жило недалече?

— А потому, что вѣтеръ оттолѣ потянулъ,—отвѣчалъ дорожный:—и я слышу, дымомъ пахнуло; знать, деревня близко.

Смѣтливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велѣлъ ямщику ѣхать. Лошади тяжело ступали по глубокому снѣгу. Кибитка тихо подвигалась, то въѣзжая на сугробъ, то обрушаясь въ оврагъ и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плаваніе судна по бурному морю. Савельичъ охалъ, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустилъ цыновку, закутался въ шубу и задремалъ, убаюканный пѣніемъ бури и качкою тихой ѣзды.

Мнѣ приснился сонъ, котораго никогда не могъ я позабыть, и въ которомъ до сихъ поръ вижу нѣчто пророческое, когда соображаю съ нимъ странныя обстоятельства моей жизни. Читатель извинитъ меня, ибо, вѣроятно, знаетъ по опыту, какъ сродно человѣку предаваться суевѣрію, несмотря на всевозможное презрѣніе къ предразсудкамъ.

Я находился въ томъ состояніи чувствъ и души, когда существенность, уступая мечтаніямъ, сливается съ ними въ неясныхъ видѣніяхъ первосонія. Мнѣ казалось, буранъ еще свирѣпствовалъ, и мы еще блуждали по снѣжной пустынѣ... Вдругъ увидѣлъ я ворота и въѣхалъ на барскій дворъ нашей усадьбы. Первою мыслью моею было опасеніе, чтобъ батюшка не прогнѣвался на меня за невольное возвращеніе подъ кровлю родительскую, и не почелъ бы его умышленнымъ ослушаніемъ. Съ безпокойствомъ я выпрыгнулъ изъ кибитки и вижу: матушка встрѣчаетъ меня на крыльцѣ съ видомъ глубокаго огорченія. „Тише, говоритъ она мнѣ: отецъ боленъ, при смерти, и желаетъ съ тобою проститься". Пораженный страхомъ, я иду за нею въ спальню. Вижу комната слабо освѣщена; у постели стоятъ люди съ печальными лицами. Я тихонько подхожу къ постели; матушка приподнимаетъ пологъ и говоритъ: „Андрей Петровичъ! Петруша пріѣхалъ; онъ воротился, узнавъ о твоей болѣзни; благослови его". Я сталъ на колѣни и устремилъ глаза мои на больного. Что-жъ?... Вмѣсто отца моего, вижу, въ постели лежитъ мужикъ съ черной бородою, весело на меня поглядывая. Я въ недоумѣніи оборотился къ матушкѣ, говоря ей: „Что это значитъ? Это не батюшка. И съ какой мнѣ стати просить благословенія мужика?"—„Все равно, Петруша, отвѣчала мнѣ матушка: это твой посаженый отецъ; поцѣлуй у него ручку, и пусть онъ тебя благословитъ"... Я не соглашался. Тогда мужикъ вскочилъ съ постели, выхватилъ топоръ изъ-за спины и сталъ махать во всѣ стороны. Я хотѣлъ бѣжать... и не могъ; комната наполнилась мертвыми тѣлами; я спотыкался о тѣла и скользилъ въ кровавыхъ лужахъ... Страшный мужикъ ласково меня кликалъ, говоря: „Не бойсь, подойди подъ мое благословеніе"... Ужасъ и недоумѣніе овладѣли мною... И въ эту минуту я проснулся. Лошади стояли; Савельичъ держалъ меня за руку, говоря:

— Выходи, сударь, пріѣхали.

— Куда пріѣхали?—спросилъ я, протирая глаза.

— На постоялый дворъ. Господь помогъ, наткнулись прямо на заборъ. Выходи, сударь, скорѣй, да обогрѣйся.

Я вышелъ изъ кибитки. Буранъ еще продолжался, хотя

съ меньшею силою. Было такъ темно, что хоть глазъ выколи. Хозяинъ встрѣтилъ насъ у воротъ, держа фонарь подъ полою, и ввелъ меня въ горницу, тѣсную, но довольно чистую; лучина освѣщала ее. На стѣнѣ висѣла винтовка и высокая казацкая шапка.

Хозяинъ, родомъ яицкій [1]) казакъ, казался мужикъ лѣтъ шестидесяти, еще свѣжій и бодрый. Савельичъ внесъ за мною погребецъ, потребовалъ огня, чтобъ готовить чай, который никогда такъ не казался мнѣ нуженъ. Хозяинъ пошелъ хлопотать.

— Гдѣ же вожатый?—спросилъ я у Савельича.

— Здѣсь, ваше благородіе,—отвѣчалъ мнѣ голосъ сверху.

— Я взглянулъ на полати и увидѣлъ черную бороду и два сверкающіе глаза.

— Что, братъ, прозябъ?

— Какъ не прозябнуть въ одномъ худенькомъ армякѣ! Былъ тулупъ, да что грѣха таить—заложилъ вечоръ у цѣловальника: морозъ показался невеликъ.

Въ эту минуту хозяинъ вошелъ съ кипящимъ самоваромъ; я предложилъ вожатому нашему чашку чаю; мужикъ слѣзъ съ полатей. Наружность его показалась мнѣ замѣчательна. Онъ былъ лѣтъ сорока, росту средняго, худощавъ и широкоплечъ. Въ черной бородѣ его показывалась просѣдь; живые, большіе глаза такъ и бѣгали. Лицо его имѣло выраженіе довольно пріятное, но плутовское. Волоса были обстрижены въ кружокъ; на немъ былъ оборванный армякъ и татарскіе шаровары. Я поднесъ ему чашку чаю; онъ отвѣдалъ и поморщился.

— Ваше благородіе, сдѣлайте мнѣ такую милость... прикажите поднести стаканъ вина; чай—не наше казацкое питье.

Я съ охотой исполнилъ его желаніе. Хозяинъ вынулъ изъ ставца штофъ и стаканъ, подошелъ къ нему и, взглянувъ ему въ лицо:

— Эхе,—сказалъ онъ:—опять ты въ нашемъ краю! Отколѣ Богъ принесъ?

---

[1]) Яикъ—рѣка, впадающая въ Каспійское море, переименованная Екатериною II въ Уралъ. Яицкій казакъ то же что уральскій.

Вожатый мой мигнулъ значительно и отвѣчалъ поговоркою:

— Въ огородѣ леталъ, конопли клевалъ; швырнула бабушка камушкомъ, да мимо! Ну, а что ваши?

— Да что наши!—отвѣчалъ хозяинъ, продолжая иносказательный разговоръ:—стали было къ вечернѣ звонить, да попадья не велитъ: попъ въ гостяхъ, черти на погостѣ.

— Молчи, дядя,—возразилъ мой бродяга:—будетъ дождикъ, будутъ и грибки; а будутъ грибки, будетъ и кузовъ; а теперь (тутъ онъ мигнулъ опять) заткни топоръ за спину: лѣсничій ходитъ. Ваше благородіе! за ваше здоровье!

При этихъ словахъ онъ взялъ стаканъ, перекрестился и выпилъ однимъ духомъ, потомъ поклонился мнѣ и воротился на полати.

Я ничего не могъ тогда понять изъ этого воровского разговора, но послѣ уже догадался, что дѣло шло о дѣлахъ яицкаго войска, въ то время только что усмиреннаго послѣ бунта 1772 года. Савельичъ слушалъ съ видомъ большого неудовольствія. Онъ посматривалъ съ подозрѣніемъ то на хозяина, то на вожатаго. Постоялый дворъ, или по-тамошнему умётъ, находился въ сторонѣ, въ степи, далече отъ всякаго селенія, и очень походилъ на разбойническую пристань. Но дѣлать было нечего. Нельзя было и подумать о продолженіи пути. Безпокойство Савельича очень меня забавляло. Между тѣмъ, я расположился ночевать и легъ на лавку. Савельичъ рѣшился убраться на печь; хозяинъ легъ на полу. Скоро вся изба захрапѣла, и я заснулъ, какъ убитый.

Проснувшись по утру довольно поздно, я увидѣлъ, что буря утихла. Солнце сіяло. Снѣгъ лежалъ ослѣпительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился съ хозяиномъ, который взялъ съ насъ такую умѣренную плату, что даже Савельичъ съ нимъ не заспорилъ и не сталъ торговаться по своему обыкновенію, и вчерашнія подозрѣнія изгладились совершенно изъ головы его. Я позвалъ вожатаго, благодарилъ за оказанную помощь и велѣлъ Савельичу дать ему полтину на водку. Савельичъ нахмурился.

— Полтину на водку?—сказалъ онъ:—за что это? За то, что ты же изволилъ подвезти его къ постоялому двору? Воля

твоя, сударь, нѣтъ у насъ лишнихъ полтинъ. Всякому давать на водку, такъ самому скоро придется голодать.

Я не могъ спорить съ Савельичемъ. Деньги, по моему обѣщанію, находились въ полномъ его распоряженіи. Мнѣ было досадно однакожъ, что не могъ отблагодарить человѣка, выручившаго меня если не изъ бѣды, то, по крайней мѣрѣ, изъ очень непріятнаго положенія.

— Хорошо, сказалъ я хладнокровно:—если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь изъ моего платья. Онъ одѣтъ слишкомъ легко. Дай ему мой заячій тулупъ.

— Помилуй, батюшка Петръ Андреичъ!—сказалъ Савельичъ:—зачѣмъ ему твой заячій тулупъ? Онъ его пропьетъ, собака, въ первомъ кабакѣ.

— Это, старинушка, ужъ не твоя печаль,—сказалъ мой бродяга:—пропью ли я, или нѣтъ. Его благородіе жалуетъ мнѣ шубу съ своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дѣло не спорить и слушаться.

— Бога ты не боишься, разбойникъ!—отвѣчалъ ему Савельичъ сердитымъ голосомъ:—ты видишь, что дитя еще не смыслитъ, а ты и радъ его обобрать, простоты его ради. Зачѣмъ тебѣ барскій тулупчикъ? Ты и не напялишь его на свои окаянныя плечища.

— Прошу не умничать,—сказалъ я своему дядькѣ:—сейчасъ неси сюда тулупъ.

— Господи, владыко!—простоналъ мой Савельичъ:—заячій тулупъ почти новенькій! И добро бы кому, а то пьяницѣ оголтѣлому!

Однако заячій тулупъ явился. Мужичекъ тутъ же сталъ его примѣривать. Въ самомъ дѣлѣ, тулупъ, изъ котораго успѣлъ и я вырости, былъ немножко для него узокъ. Однако онъ кое-какъ умудрился и надѣлъ его, распоровъ по швамъ. Савельичъ чуть не завылъ, услышавъ, какъ нитки затрещали. Бродяга былъ чрезвычайно доволенъ моимъ подаркомъ. Онъ проводилъ меня до кибитки и сказалъ съ низкимъ поклономъ:

— Спасибо, ваше благородіе! Награди васъ Господь за вашу добродѣтель. Вѣкъ не забуду вашихъ милостей.

Онъ пошелъ въ свою сторону, а я отправился далѣе, не

обращая вниманія на Савельича, и скоро позабылъ о вчерашней вьюгѣ, о своемъ вожатомъ и о заячьемъ тулупѣ.

Бѣлогорская крѣпость находилась въ сорока верстахъ отъ Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Рѣка еще не замерзала, и ея свинцовыя волны грустно чернѣли въ однообразныхъ берегахъ, покрытыхъ бѣлымъ снѣгомъ. За ними простирались киргизскія степи. Я погрузился въ размышленія, большей частью печальныя. Гарнизонная жизнь мало имѣла для меня привлекательности. Я старался вообразить себѣ капитана Миронова, моего будущаго начальника, и представлялъ его строгимъ, сердитымъ старикомъ, не знающимъ ничего, кромѣ своей службы, и готовымъ за всякую бездѣлицу сажать меня подъ арестъ на хлѣбъ и на воду. Между тѣмъ начало смеркаться. Мы ѣхали довольно скоро.

— Далече ли до крѣпости?—спросилъ я у своего ямщика.

— Недалече,—отвѣчалъ онъ:—вонъ ужъ видна.

Я глядѣлъ во всѣ стороны, ожидая увидѣть грозные бастіоны, башни и валъ, но ничего не видалъ, кромѣ деревушки, окруженной бревенчатымъ заборомъ. Съ одной стороны стояли три или четыре скирды сѣна, полузанесенныя снѣгомъ; съ другой—скривившаяся мельница, съ лубочными крыльями, лѣниво опущенными.

— Гдѣ же крѣпость?—спросилъ я съ удивленіемъ.

— Да вотъ она,—отвѣчалъ ямщикъ, указывая на деревушку, и съ этимъ словомъ мы въ нее въѣхали.

У воротъ увидѣлъ я старую чугунную пушку; улицы были тѣсны и кривы; избы низки и большей частью покрыты соломою. Я велѣлъ ѣхать къ коменданту, и черезъ минуту кибитка остановилась передъ деревяннымъ домикомъ, выстроеннымъ на высокомъ мѣстѣ, близъ деревянной же церкви.

Никто не встрѣтилъ меня. Я пошелъ въ сѣни и отворилъ дверь въ переднюю. Старый инвалидъ, сидя на столѣ, нашивалъ синюю заплатку на локоть зеленаго мундира. Я велѣлъ ему доложить обо мнѣ.

— Войди, батюшка,—отвѣчалъ инвалидъ:—наши дома.

Я вошелъ въ чистенькую комнату, убранную по-старин-

ному. Въ углу стоялъ шкафъ съ посудой; на стѣнѣ висѣлъ дипломъ офицерскій за стекломъ и въ рамкѣ; около него красовались лубочныя картины, представляющія взятіе Кюстрина и Очакова, также выборъ невѣсты и погребеніе кота. У окна сидѣла старушка въ тѣлогрѣйкѣ и съ платкомъ на головѣ. Она разматывала нитки, которыя держалъ, распяливъ на рукахъ, кривой старичекъ въ офицерскомъ мундирѣ.

— Что вамъ угодно, батюшка?—спросила она, продолжая свое занятіе.

Я отвѣчалъ, что пріѣхалъ на службу и явился по долгу своему къ господину капитану, и съ этимъ словомъ обратился было къ кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною рѣчь.

— Ивана Кузьмича дома нѣтъ,—отвѣчала она:—онъ пошелъ въ гости къ отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я—его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка.

Она кликнула дѣвку и велѣла ей позвать урядника [1]). Старичекъ своимъ одинокимъ глазомъ поглядывалъ на меня съ любопытствомъ.

— Смѣю спросить,—сказалъ онъ:—вы въ какомъ полку изволили служить?

Я удовлетворилъ его любопытству.

— А смѣю спросить,—продолжалъ онъ:—зачѣмъ изволили вы перейти изъ гвардіи въ гарнизонъ?

Я отвѣчалъ, что такова была воля начальства.

— Чаятельно, за неприличные гвардіи офицеру поступки?—продолжалъ неутомимый вопрошатель.

— Полно врать пустяки,—сказала ему капитанша:—ты видишь, молодой человѣкъ съ дороги усталъ; ему не до тебя... держи-ка руки прямѣе...

— А ты, мой батюшка,—продолжала она, обращаясь ко мнѣ:—не печалься, что тебя упекли въ наше захолустье. Не ты первый, не ты послѣдній. Стерпится, слюбится. Швабринъ, Алексѣй Иванычъ, вотъ ужъ пятый годъ какъ къ намъ переведенъ за смертоубійство. Богъ знаетъ, какой грѣхъ его попуталъ; онъ, изволишь видѣть, поѣхалъ за городъ съ од-

---

[1]) Урядникъ—казацкій унтеръ-офицеръ.

нимъ поручикомъ, да взяли съ собою шпаги, да и ну другъ друга пырять, а Алексѣй Иванычъ и закололъ поручика, да еще при двухъ свидѣтеляхъ! Что прикажешь дѣлать? На грѣхъ мастера нѣтъ.

Въ эту минуту вошелъ урядникъ, молодой и статный казакъ.

— Максимычъ!—сказала ему капитанша:—отведи г. офицеру квартиру, да почище.

— Слушаю, Василиса Егоровна,—отвѣчалъ урядникъ:—не помѣстить ли его благородіе къ Ивану Полежаеву?

— Врешь, Максимычъ,—сказала капитанша:—у Полежаева и такъ тѣсно; онъ же мнѣ кумъ и помнитъ, что мы его начальники. Отведи г. офицера... Какъ ваше имя и отчество, мой батюшка?

— Петръ Андреичъ.

— Отведи Петра Андреича къ Семену Кузову. Онъ, мошенникъ, лошадь свою пустилъ ко мнѣ въ огородъ. Ну, что, Максимычъ, все ли благополучно?

— Все, слава Богу, тихо,—отвѣчалъ казакъ.

Ну, Максимычъ, ступай себѣ съ Богомъ. Петръ Андреичъ! Максимычъ отведетъ васъ на вашу квартиру.

Я откланялся. Урядникъ привелъ меня въ избу, стоявшую на высокомъ берегу рѣки, на самомъ краю крѣпости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мнѣ. Она состояла изъ одной горницы, довольно опрятной, раздѣленной на-двое перегородкой. Савельичъ сталъ въ ней распоряжаться; я сталъ глядѣть въ узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло нѣсколько избушекъ; по улицѣ бродило нѣсколько курицъ. Старуха, стоя на крыльцѣ съ корытомъ, кликала свиней, которыя отвѣчали ей дружелюбнымъ хрюканьемъ. И вотъ, въ какой сторонѣ осужденъ я былъ проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошелъ отъ окошка и легъ спать безъ ужина, несмотря на увѣщанія Савельича, который повторялъ съ сокрушеніемъ:

— Господи, владыко! ничего кушать не изволитъ! Что скажетъ барыня, коли дитя занеможетъ?

На другой день поутру я только что сталъ одѣваться,

какъ дверь отворилась, и ко мнѣ вошелъ молодой офицеръ, невысокаго роста, съ лицомъ смуглымъ и отмѣнно некрасивымъ, но чрезвычайно живымъ.

— Извините меня,—сказалъ онъ мнѣ по-французски:—что я безъ церемоніи прихожу съ вами познакомиться. Вчера узналъ я о вашемъ пріѣздѣ; желаніе увидѣть наконецъ человѣческое лицо такъ овладѣло мною, что я не вытерпѣлъ. Вы это поймете, когда проживете здѣсь нѣсколько времени.

Я догадался, что это былъ офицеръ, выписанный изъ гвардіи за поединокъ. Мы тотчасъ познакомились. Швабринъ былъ очень не глупъ. Разговоръ его былъ остеръ и занимателенъ. Онъ съ большой веселостью описалъ мнѣ семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смѣялся отъ чистаго сердца, какъ вошелъ ко мнѣ инвалидъ, который чинилъ мундиръ въ передней коменданта, и отъ имени Василисы Егоровны позвалъ меня къ нимъ обѣдать. Швабринъ вызвался идти со мною вмѣстѣ.

Подходя къ комендантскому дому, мы увидѣли на площадкѣ человѣкъ двадцать старенькихъ инвалидовъ съ длинными косами и въ треугольныхъ шляпахъ. Они выстроены были во фрунтъ. Впереди стоялъ комендантъ, старикъ бодрый и высокаго роста, въ колпакѣ и въ китайчатомъ халатѣ. Увидя насъ, онъ къ намъ подошелъ, сказалъ мнѣ нѣсколько ласковыхъ словъ и сталъ опять командовать. Мы остановились было смотрѣть на ученіе; но онъ просилъ насъ идти къ Василисѣ Егоровнѣ, обѣщаясь быть вслѣдъ за нами.

— А здѣсь,—прибавилъ онъ:—нечего вамъ смотрѣть.

Василиса Егоровна приняла насъ запросто и радушно, и обошлась со мною, какъ бы вѣкъ была знакома. Инвалидъ и Палашка накрывали на столъ.

— Что это мой Иванъ Кузьмичъ сегодня такъ заучился! —сказала комендантша:—Палашка, позови барина обѣдать. Да гдѣ же Маша?

Тутъ вошла дѣвушка лѣтъ восемнадцати, круглолицая, румяная, съ свѣтлорусыми волосами, гладко зачесанными за уши, которыя у ней такъ и горѣли. Съ перваго взгляда она мнѣ не очень понравилась. Я смотрѣлъ на нее съ предубѣжденіемъ: Швабринъ описалъ мнѣ Машу, капитанскую дочь,

совершенною дурочкою. Марья Ивановна сѣла въ уголъ и стала шить. Между тѣмъ подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за нимъ Палашку.

— Скажи барину: гости-де ждутъ, щи простынутъ; слава Богу, ученье не уйдетъ; успѣетъ накричаться.

Капитанъ вскорѣ явился, сопровождаемый кривымъ старичкомъ.

— Что это, мой батюшка?—сказала ему жена: — кушанье давнымъ-давно подано, а тебя не дозовешься.

— А слышь ты, Василиса Егоровна,—отвѣчалъ Иванъ Кузьмичъ:—я былъ занятъ службой, солдатушекъ училъ.

— И, полно,—возразила капитанша:—только слава, что солдатъ учишь—ни имъ служба не дается, ни ты въ ней толку не вѣдаешь. Сидѣлъ бы дома, да Богу молился, такъ было бы лучше. Дорогіе гости, милости просимъ за столъ.

Мы сѣли обѣдать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, гдѣ живутъ и каково ихъ состояніе? Услыша, что у батюшки триста душъ крестьянъ, „легко ли!—сказала она:—вѣдь есть же на свѣтѣ богатые люди! А у насъ, мой батюшка, всего-то одна дѣвка Палашка; да, слава Богу, живемъ помаленьку. Одна бѣда: Маша — дѣвка на-выданьи, а какое у ней приданое? частый гребень, да вѣникъ, да алтынъ денегъ (прости Богъ!), съ чѣмъ въ баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человѣкъ, а то сиди въ дѣвкахъ вѣковѣчной невѣстою".

Я взглянулъ на Марью Ивановну; она вся покраснѣла, и даже слезы капнули на ея тарелку. Мнѣ стало жаль ее, и я спѣшилъ перемѣнить разговоръ.

— Я слышалъ,—сказалъ я довольно не кстати:—что на вашу крѣпость собираются напасть башкирцы.

— Отъ кого, батюшка, ты изволилъ это слышать?—спросилъ Иванъ Кузьмичъ.

— Мнѣ такъ сказывали въ Оренбургѣ,—отвѣчалъ я.

— Пустяки!—сказалъ комендантъ:—у насъ давно ничего не слыхать. Башкирцы—народъ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось, на насъ не сунутся; а насунутся, такъ я такую задамъ острастку, что лѣтъ на десять угомоню.

— И вамъ не страшно,—продолжалъ я, обращаясь къ капитаншѣ:—оставаться въ крѣпости, подверженной такимъ опасностямъ?

— Привычка, мой батюшка,—отвѣчала она:—тому лѣтъ двадцать, какъ насъ изъ полка перевели сюда, и не приведи Господи, какъ я боялась проклятыхъ этихъ нехристей! Какъ завижу, бывало, рысьи шапки, да какъ заслышу ихъ визгъ, вѣришь ли, отецъ мой, сердце такъ и замретъ! А теперь такъ привыкла, что и съ мѣста не тронусь, какъ придутъ намъ сказать, что злодѣи около крѣпости рыщутъ.

— Василиса Егоровна — прехрабрая дама,—замѣтилъ важно Швабринъ:—Иванъ Кузьмичъ можетъ это засвидѣтельствовать.

— Да, слышь ты,—сказалъ Иванъ Кузьмичъ:—баба-то не робкаго десятка.

— А Марья Ивановна?—спросилъ я:—такъ же ли смѣла, какъ и вы?

— Смѣла ли Маша?—отвѣчала ея мать:—нѣтъ, Маша трусиха. До сихъ поръ не можетъ слышать выстрѣла изъ ружья: такъ и затрепещется. А какъ тому два года Иванъ Кузьмичъ выдумалъ въ мои именины палить изъ нашей пушки, такъ она, моя голубушка, чуть со страха на тотъ свѣтъ не отправилась. Съ тѣхъ поръ ужъ и не палимъ изъ проклятой пушки.

Мы встали изъ-за стола. Капитанъ съ капитаншею отправились спать, а я пошелъ къ Швабрину, съ которымъ и провелъ цѣлый вечеръ....

Однажды вечеромъ (это было въ началѣ октября 1773 года) сидѣлъ я дома одинъ, слушая вой осенняго вѣтра и смотря въ окно на тучи, бѣгущія мимо луны. Пришли меня звать отъ имени коменданта. Я тотчасъ отправился. У коменданта нашелъ я Швабрина, Ивана Игнатьича и казацкаго урядника. Въ комнатѣ не было ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендантъ со мною поздоровался съ видомъ озабоченнымъ. Онъ заперъ двери, всѣхъ усадилъ, кромѣ урядника, который стоялъ у дверей, вынулъ изъ кармана бумагу

и сказалъ намъ:—„Господа офицеры, важная новость! Слушайте, что пишетъ генералъ“. Тутъ онъ надѣлъ очки и прочелъ слѣдующее:

„Господину коменданту Бѣлогорской крѣпости
Капитану Миронову.
По секрету.

„Симъ извѣщаю васъ, что убѣжавшій изъ-подъ караула донской казакъ и раскольникъ Емельянъ Пугачевъ, учиня непростительную дерзость принятіемъ на себя имени покойнаго императора Петра III, собралъ злодѣйскую шайку, произвелъ возмущеніе въ яицкихъ селеніяхъ и уже взялъ и разорилъ нѣсколько крѣпостей, произведя вездѣ грабежи и смертоубійства. Того ради, съ полученіемъ сего, имѣете вы, господинъ капитанъ, немедленно принять надлежащія мѣры къ отраженію помянутаго злодѣя и самозванца, а буде можно, и къ совершенному уничтоженію онаго, если онъ обратится на крѣпость, ввѣренную вашему попеченію“.

— „Принять надлежащія мѣры!“—сказалъ комендантъ, снимая очки и складывая бумагу:—Слышь ты, легко сказать. Злодѣй-то, видно, силенъ; а у насъ всего сто-тридцать человѣкъ, не считая казаковъ, на которыхъ плоха надежда, не въ укоръ буди тебѣ сказано, Максимычъ (урядникъ усмѣхнулся). Однако, дѣлать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры; въ случаѣ нападенія, запирайте ворота да выводите солдатъ. Ты Максимычъ, смотри крѣпко за своими казаками. Пушку осмотрѣть, да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите все это втайнѣ, чтобъ въ крѣпости никто не могъ о томъ узнать преждевременно.

Раздавъ эти повелѣнія, Иванъ Кузьмичъ насъ распустилъ. Я вышелъ вмѣстѣ со Швабринымъ, разсуждая о томъ, что мы слышали.

— Какъ ты думаешь, чѣмъ это кончится?—спросилъ я его.

— Богъ знаетъ,—отвѣчалъ онъ:—посмотримъ. Важнаго покамѣстъ еще ничего не вижу. Если же...

Тутъ онъ задумался и въ разсѣяніи сталъ насвистывать французскую арію.

Несмотря на всѣ наши предосторожности, вѣсть о появленіи Пугачева разнеслась по крѣпости. Иванъ Кузьмичъ хоть и очень уважалъ свою супругу, но ни за что на свѣтѣ не открылъ бы ей тайны, ввѣренной ему по службѣ. Получивъ письмо отъ генерала, онъ довольно искуснымъ образомъ выпроводилъ Василису Егоровну, сказавъ ей, будто бы отецъ Герасимъ получилъ изъ Оренбурга какія-то чудныя извѣстія, которыя содержитъ въ великой тайнѣ. Василиса Егоровна тотчасъ захотѣла отправиться въ гости къ попадьѣ, и по совѣту Ивана Кузьмича, взяла съ собою и Машу, чтобъ ей не было скучно одной.

Иванъ Кузьмичъ, оставшись полнымъ хозяиномъ, тотчасъ послалъ за нами, а Палашку заперъ въ чуланъ, чтобъ она не могла насъ подслушать.

Василиса Егоровна возвратилась домой, не успѣвъ ничего вывѣдать отъ попадьи, и узнала, что во время ея отсутствія было у Ивана Кузьмича совѣщаніе, и что Палашка была подъ замкомъ. Она догадалась, что была обманута мужемъ, и приступила къ нему съ допросомъ. Но Иванъ Кузьмичъ приготовился къ нападенію. Онъ ни мало не смутился и бодро отвѣчалъ своей любопытной сожительницѣ:

— А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою; а какъ оттого можетъ произойти несчастіе, то я и отдалъ строгій приказъ впередъ соломою бабамъ печей не топить, а топить хворостомъ и валежникомъ.

— А для чего-жъ было тебѣ запирать Палашку?—спросила комендантша:—за что бѣдная дѣвка просидѣла въ чуланѣ, пока мы не воротились?

Иванъ Кузьмичъ не былъ приготовленъ къ такому вопросу; онъ запутался и пробормоталъ что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидѣла коварство своего мужа, но, зная, что ничего отъ него не добьется, прекратила свои вопросы и завела рѣчь о соленыхъ огурцахъ, которые Акулина Памфиловна приготовляла совершенно особеннымъ образомъ. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никакъ не могла догадаться, что бы такое было въ головѣ ея мужа, о чемъ бы ей нельзя было знать.

На другой день, возвращаясь отъ обѣдни, она увидѣла

Ивана Игнатьича, который вытаскивалъ изъ пушки тряпички, камешки, щепки, бабки и соръ всякаго рода, запиханный въ нее ребятишками.

— „Что бы значили эти военныя приготовленія?—думала комендантша—ужъ не ждутъ ли нападенія отъ киргизцевъ? Но неужто Иванъ Кузьмичъ сталъ бы отъ меня таить такіе пустяки?“ Она кликнула Ивана Игнатьича съ твердымъ намѣреніемъ вывѣдать отъ него тайну, которая мучила ея дамское любопытство.

Василиса Егоровна сдѣлала ему нѣсколько замѣчаній касательно хозяйства, какъ судья, начинающій слѣдствіе вопросами посторонними, чтобы сперва усыпить осторожность отвѣтчика. Потомъ, помолчавъ нѣсколько минутъ, она глубоко вздохнула и сказала, качая головою:

— Господи, Боже мой! Вишь какія новости! Что изъ этого будетъ?

— И, матушка!—отвѣчалъ Иванъ Игнатьичъ:—Богъ милостивъ; солдатъ у насъ довольно, пороху много, пушку я вычистилъ. Авось дадимъ отпоръ Пугачеву. Господь не выдастъ, свинья не съѣстъ!

— А что за человѣкъ этотъ Пугачевъ?—спросила комендантша.

Тутъ Иванъ Игнатьичъ, замѣтилъ, что проговорился, и закусилъ языкъ. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всемъ признаться, давъ ему слово не разсказывать о томъ никому.

Василиса Егоровна сдержала свое обѣщаніе и никому не сказала ни одного слова, кромѣ попадьи, и то потому только, что корова ея ходила еще въ степи и могла быть захвачена злодѣями.

Вскорѣ всѣ заговорили о Пугачевѣ. Толки были различны. Комендантъ послалъ урядника съ порученіемъ развѣдать хорошенько обо всемъ по сосѣднимъ селеніямъ и крѣпостямъ. Урядникъ возвратился черезъ два дня и объявилъ, что въ степи, верстъ за шестьдесятъ отъ крѣпости, видѣлъ онъ множество огней и слышалъ отъ башкирцевъ, что идетъ невѣдомая сила. Впрочемъ, не могъ онъ сказать ничего положительнаго, потому что ѣхать далѣе побоялся.

Въ крѣпости между казаками замѣтно стало необыкновенное волненіе: во всѣхъ улицахъ они толпились въ кучки, тихо разговаривали между собою и расходились, увидя драгуна или гарнизоннаго солдата. Подосланы были къ нимъ лазутчики. Юлай, крещеный калмыкъ, сдѣлалъ коменданту важное донесеніе. Показанія урядника, по словамъ Юлая, были ложны; по возвращеніи своемъ, лукавый казакъ объявилъ своимъ товарищамъ, что онъ былъ у бунтовщиковъ, представлялся самому ихъ предводителю, который допустилъ его къ своей рукѣ и долго съ нимъ разговаривалъ. Комендантъ немедленно посадилъ урядника подъ караулъ, а Юлая назначилъ на его мѣсто. Эта новость принята была казаками съ явнымъ неудовольствіемъ. Они громко роптали, и Иванъ Игнатьичъ, исполнитель комендантскаго распоряженія, слышалъ своими ушами, какъ они говорили: „Вотъ ужо тебѣ будетъ, гарнизонная крыса!“ Комендантъ думалъ въ тотъ же день допросить своего арестанта; но урядникъ бѣжалъ изъ-подъ караула, вѣроятно, при помощи своихъ единомышленниковъ.

Новое обстоятельство усилило безпокойство коменданта. Схваченъ былъ башкирецъ съ возмутительными листами. По этому случаю комендантъ думалъ опять собрать своихъ офицеровъ и для того хотѣлъ опять удалить Василису Егоровну подъ благовиднымъ предлогомъ. Но какъ Иванъ Кузьмичъ былъ человѣкъ самый прямодушный и правдивый, то и не нашелъ другого способа, кромѣ какъ единожды уже имъ употребленнаго.

— Слышь ты, Василиса Егоровна,—сказалъ онъ ей, покашливая:—отецъ Герасимъ получилъ, говорятъ, изъ города...

— Полно врать, Иванъ Кузьмичъ,—прервала комендантша: —ты, знать, хочешь собрать совѣщаніе, да безъ меня потолковать объ Емельянѣ Пугачевѣ; да лихъ, не проведешь..

Иванъ Кузьмичъ вытаращилъ глаза.

— Ну, матушка,—сказалъ онъ:—коли ты уже все знаешь, такъ, пожалуй, оставайся, мы потолкуемъ и при тебѣ.

— То-то, батька мой,—отвѣчала она:—не тебѣ бы хитрить; посылай-ка за офицерами.

Мы собрались опять. Иванъ Кузьмичъ въ присутствіи

жены прочелъ намъ воззваніе Пугачева, писанное какимъ-нибудь полуграмотнымъ казакомъ. Разбойникъ объявлялъ о своемъ намѣреніи немедленно идти на нашу крѣпость; приглашалъ казаковъ и солдатъ въ свою шайку, а командировъ увѣщевалъ не сопротивляться, угрожая казнью въ противномъ случаѣ. Воззваніе написано было въ грубыхъ, но сильныхъ выраженіяхъ, и должно было произвести опасное впечатлѣніе на умы простыхъ людей.

— Каковъ мошенникъ!—воскликнула комендантша:—что смѣетъ еще намъ предлагать! Выйти къ нему навстрѣчу и положить къ ногамъ его знамена! Ахъ, онъ собачій сынъ! Да развѣ не знаетъ онъ, что мы уже сорокъ лѣтъ въ службѣ, и всего, слава Богу, насмотрѣлись. Неужто нашлись такіе командиры, которые послушались разбойника?

— Кажется, не должно бы,—отвѣчалъ Иванъ Кузьмичъ:—а слышно, злодѣй завладѣлъ ужъ многими крѣпостями.

— Видно, онъ въ самомъ дѣлѣ силенъ,—замѣтилъ Швабринъ.

— А вотъ, сейчасъ узнаемъ настоящую его силу,—сказалъ комендантъ:—Василиса Егоровна, дай мнѣ ключъ отъ амбара. Иванъ Игнатьичъ, приведи-ка башкирца, да прикажи Юлаю принести сюда плетей.

— Постой, Иванъ Кузьмичъ,—сказала комендантша, вставая съ мѣста:—дай уведу Машу куда-нибудь изъ дому; а то услышитъ крикъ, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться.

Пытка встарину была такъ укоренена въ обычаяхъ судопроизводства, что благодѣтельный указъ, уничтожившій ее, долго оставался безъ всякаго дѣйствія. Иванъ Игнатьичъ отправился за башкирцемъ, который сидѣлъ въ амбарѣ подъ ключемъ у комендантши, и черезъ нѣсколько минутъ невольника привели въ переднюю. Комендантъ велѣлъ его къ себѣ представить.

Башкирецъ съ трудомъ шагнулъ черезъ порогъ (онъ былъ въ колодкѣ) и, снявъ высокую свою шапку, остановился. Никогда не забуду этого человѣка. Ему казалось лѣтъ за семьдесятъ. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; вмѣсто бороды, торчало нѣсколько сѣ-

дыхъ волосъ; онъ былъ малаго роста, тощъ и сгорбленъ; но узенькіе глаза его сверкали еще огнемъ.

— Эхе!—сказалъ комендантъ, узнавъ, по страшнымъ его примѣтамъ, одного изъ бунтовщиковъ, наказанныхъ въ 1741 году:—да ты, видно, старый волкъ, побывалъ въ нашихъ капканахъ. Ты, знать, не впервой уже бунтуешь, коли у тебя такъ гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослалъ?

Старый башкирецъ молчалъ и глядѣлъ на коменданта съ видомъ совершеннаго безсмыслія.

— Что же ты молчишь?—продолжалъ Иванъ Кузьмичъ: —али бельмеса по-русски не разумѣешь? Юлай, спроси-ка у него по-вашему, кто его подослалъ въ нашу крѣпость?

Юлай повторилъ на татарскомъ языкѣ вопросъ Ивана Кузьмича. Но башкирецъ глядѣлъ на него съ тѣмъ же выраженіемъ и не отвѣчалъ ни слова.

— Якши,—сказалъ комендантъ:—ты у меня заговоришь. Ребята! снимите-ка съ него дурацкій полосатый халатъ, да выстрочите ему спину. Смотри-жъ, Юлай, хорошенько его!

Два инвалида стали башкирца раздѣвать. Лицо несчастнаго изобразило безпокойство. Онъ оглядывался на всѣ стороны, какъ звѣрекъ, пойманный дѣтьми! Когда-жъ одинъ изъ инвалидовъ взялъ его руки и положилъ ихъ себѣ около шеи, поднялъ старика на свои плечи, а Юлай взялъ плеть и замахнулся—тогда башкирецъ застоналъ слабымъ умоляющимъ голосомъ и, кивая головою, открылъ ротъ, въ которомъ, вмѣсто языка, шевелился короткій обрубокъ.

Всѣ были поражены.

— Ну,—сказалъ комендантъ:—видно, намъ отъ него толку не добиться. Юлай, отведи башкирца въ амбаръ. А мы, господа, кой о чемъ еще потолкуемъ.

Мы стали разсуждать о нашемъ положеніи, какъ вдругъ Василиса Егоровна вошла въ комнату, задыхаясь и съ видомъ чрезвычайно встревоженнымъ.

— Что это съ тобою сдѣлалось?—спросилъ изумленный комендантъ.

— Батюшка, бѣда!—отвѣчала Василиса Егоровна:—Нижнеозерная взята сегодня утромъ. Работникъ отца Герасима

сейчасъ оттуда воротился. Онъ видѣлъ, какъ ее брали. Комендантъ и всѣ офицеры перевѣшаны. Всѣ солдаты взяты въ полонъ. Того и гляди, злодѣи будутъ сюда.

Неожиданная вѣсть сильно меня поразила. Комендантъ Нижнеозерной крѣпости, тихій и скромный молодой человѣкъ, былъ мнѣ знакомъ: мѣсяца за два передъ тѣмъ проѣзжалъ онъ изъ Оренбурга съ молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузьмича. Нижнеозерная находилась отъ нашей крѣпости верстахъ въ двадцати-пяти. Съ часу на часъ должно было и намъ ожидать нападенія Пугачева...

Въ эту ночь я не спалъ и не раздѣвался...

Ночь прошла незамѣтно. Я хотѣлъ уже выйти изъ дому, какъ дверь моя отворилась, и ко мнѣ явился капралъ съ донесеніемъ, что наши казаки ночью выступили изъ крѣпости, взявъ съ собою насильно Юлая, и что около крѣпости разъѣзжаютъ невѣдомые люди.

Ужъ разсвѣтало. Я летѣлъ по улицѣ, какъ услышалъ, что зовутъ меня. Я остановился.

— Куда вы?—сказалъ Иванъ Игнатьичъ, догоняя меня: —Иванъ Кузьмичъ на валу и послалъ меня за вами. Пугачъ пришелъ.

Мы пошли на валъ—возвышеніе, образованное природой и укрѣпленное частоколомъ. Тамъ уже толпились всѣ жители крѣпости. Гарнизонъ стоялъ въ ружьѣ. Пушку туда перетащили наканунѣ. Комендантъ расхаживалъ передъ своимъ малочисленнымъ строемъ. Близость опасности одушевляла стараго воина бодростью необыкновенной. По степи, не въ дальнемъ разстояніи отъ крѣпости, разъѣзжали человѣкъ двадцать верхами. Они, казалося, были казаки, но между ними находились и башкирцы, которыхъ легко было распознать по ихъ рысьимъ шапкамъ и по колчанамъ. Комендантъ обошелъ свое войско, говоря солдатамъ: „Ну, дѣтушки, постоимъ сегодня за матушку-государыню и докажемъ всему свѣту, что мы люди бравые и присяжные!“ Солдаты громко изъявили усердіе. Швабринъ стоялъ подлѣ меня и пристально глядѣлъ на непріятеля. Люди, разъѣзжающіе въ степи, замѣтя

движеніе въ крѣпости, съѣхались въ кучку и стали между собою толковать. Комендантъ велѣлъ Ивану Игнатьичу навести пушку на ихъ толпу и самъ приставилъ фитиль. Ядро зажужжало и пролетѣло надъ ними, не сдѣлавъ никакого вреда. Наѣздники разсѣялись, тотчасъ ускакали изъ виду, и степь опустѣла.

Тутъ явилась на валу Василиса Егоровна и съ нею Маша, не хотѣвшая отстать отъ нея.

— Ну, что?—сказала комендантша:—каково идетъ баталія? Гдѣ же непріятель?

— Непріятель недалече,—отвѣчалъ Иванъ Кузьмичъ:—Богъ дастъ, все будетъ ладно. Что, Маша, страшно тебѣ?

— Нѣтъ, папенька,—отвѣчала Марья Ивановна:—дома одной страшнѣе.

Въ это время изъ-за высоты, находившейся въ пол-верстѣ отъ крѣпости, показались новыя конныя толпы, и вскорѣ степь усѣялась множествомъ людей, вооруженныхъ копьями и сайдаками. Между ними, на бѣломъ конѣ, ѣхалъ человѣкъ въ красномъ кафтанѣ съ обнаженной саблею въ рукѣ: это былъ самъ Пугачевъ. Онъ остановился; его окружили и, какъ видно, по его повелѣнію, четыре человѣка отдѣлились и во весь опоръ подскакали подъ самую крѣпость. Мы въ нихъ узнали своихъ измѣнниковъ. Одинъ изъ нихъ держалъ надъ шапкою листъ бумаги; у другого на копьѣ воткнута была голова Юлая, которую, стряхнувъ, перекинулъ онъ къ намъ чрезъ частоколъ. Голова бѣднаго калмыка упала къ ногамъ коменданта. Измѣнники кричали:

— Не стрѣляйте: выходите вонъ къ государю. Государь здѣсь!

— Вотъ я васъ!—закричалъ Иванъ Кузьмичъ:—ребята, стрѣляй!

Солдаты наши дали залпъ. Казакъ, державшій письмо, зашатался и свалился съ лошади; другіе поскакали назадъ. Я взглянулъ на Марью Ивановну. Пораженная видомъ окровавленной головы Юлая, оглушенная залпомъ, она казалась безъ памяти. Комендантъ подозвалъ капрала [1]) и велѣлъ ему

---

[1]) Капралъ—капралами называли въ арміи до царствованія Николая I младшихъ унтеръ-офицеровъ.

взять листъ изъ рукъ убитаго казака. Капралъ вышелъ въ поле и возвратился, ведя подъ устцы лошадь убитаго. Онъ вручилъ коменданту письмо. Иванъ Кузьмичъ прочелъ его про себя и разорвалъ потомъ въ клочки. Между тѣмъ мятежники, видимо, приготовлялись къ дѣйствію. Вскорѣ пули начали свистать около нашихъ ушей, и нѣсколько стрѣлъ воткнулись около насъ въ землю и въ частоколъ.

— Василиса Егоровна!—сказалъ комендантъ:—здѣсь не бабье дѣло, уведи Машу; видишь, дѣвка ни жива, ни мертва.

Василиса Егоровна, присмирѣвшая подъ пулями, взглянула на степь, на которой замѣтно было большое движеніе; потомъ обратилась къ мужу и сказала ему:

— Иванъ Кузьмичъ, въ животѣ и смерти Богъ воленъ: благослови Машу. Маша, подойди къ отцу.

Маша, блѣдная и трепещущая, подошла къ Ивану Кузьмичу, стала на колѣни и поклонилась ему въ землю. Старый комендантъ перекрестилъ ее трижды; потомъ поднялъ и, поцѣловавъ, сказалъ ей измѣнившимся голосомъ:

— Ну, Маша, будь счастлива. Молись Богу: Онъ тебя не оставитъ. Коли найдется добрый человѣкъ, дай Богъ вамъ любовь да совѣтъ. Живите, какъ жили мы съ Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорѣе.

Маша кинулась ему на шею и зарыдала

— Поцѣлуемся-жъ и мы,—сказала, заплакавъ, комендантша:—прощай, мой Иванъ Кузьмичъ. Отпусти мнѣ, коли въ чемъ я тебѣ досадила!

— Прощай, прощай, матушка!—сказалъ комендантъ, обнявъ свою старуху:—ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успѣешь, надѣнь на Машу сарафанъ.

Комендантша съ дочерью удалились. Я глядѣлъ вослѣдъ Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мнѣ головой. Тутъ Иванъ Кузьмичъ оборотился къ намъ, и все вниманіе его устремилось на непріятеля. Мятежники съѣзжались около своего предводителя и вдругъ начали слѣзать съ лошадей.

— Теперь стойте крѣпко,—сказалъ комендантъ:—будетъ приступъ...

Въ эту минуту раздался страшный визгъ и крики; мятеж-

ники бѣгомъ бѣжали къ крѣпости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендантъ подпустилъ ихъ на самое близкое разстояніе и вдругъ выпалилъ опять. Картечь хватила въ самую средину толпы. Мятежники отхлынули въ обѣ стороны и попятились. Предводитель ихъ остался одинъ впереди... Онъ махалъ саблею и, казалось, съ жаромъ ихъ уговаривалъ... Крикъ и визгъ, умолкнувшіе на минуту, тотчасъ снова возобновились.

Ну, ребята,—сказалъ комендантъ:—теперь отворяй ворота, бей въ барабанъ. Ребята! впередъ, на вылазку, за мною!

Комендантъ, Иванъ Игнатьичъ и я—мигомъ очутились за крѣпостнымъ валомъ; но оробѣлый гарнизонъ не тронулся.

— Что-жъ вы, дѣтушки, стоите?—закричалъ Иванъ Кузьмичъ:—умирать, такъ умирать, дѣло служивое!

Въ эту минуту мятежники набѣжали на насъ и ворвались въ крѣпость. Барабанъ умолкъ; гарнизонъ бросилъ ружья; меня сшибли было съ ногъ, но я всталъ и вмѣстѣ съ мятежниками вошелъ въ крѣпость. Комендантъ, раненый въ голову, стоялъ въ кучкѣ злодѣевъ, которые требовали отъ него ключей. Я бросился было къ нему на помощь: нѣсколько дюжихъ казаковъ схватили меня и связали кушаками, приговаривая: „вотъ ужо вамъ будетъ, государевымъ ослушникамъ!“ Насъ потащили по улицамъ; жители выходили изъ домовъ съ хлѣбомъ и солью. Раздавался колокольный звонъ. Вдругъ закричали въ толпѣ, что государь на площади ожидаетъ плѣнныхъ и принимаетъ присягу. Народъ повалилъ на площадь; насъ погнали туда же.

Пугачевъ сидѣлъ въ креслахъ на крыльцѣ комендантскаго дома. На немъ былъ красный казацкій кафтанъ, обшитый галунами. Высокая соболья шапка съ золотыми кистями была надвинута на его сверкающіе глаза. Лицо его показалось мнѣ знакомо. Казацкіе старшины окружали его. Отецъ Герасимъ, блѣдный и дрожащій, стоялъ у крыльца, съ крестомъ въ рукахъ и, казалось, молча умолялъ его за предстоящія жертвы. На площади ставили наскоро висѣлицу. Когда мы приблизились, башкирцы разогнали народъ, и насъ представили Пугачеву. Колокольный звонъ утихъ; настала глубокая тишина.

— Который комендантъ?—спросилъ самозванецъ.

Нашъ урядникъ выступилъ изъ толпы и указалъ на Ивана Кузьмича. Пугачевъ грозно взглянулъ на старика и сказалъ ему:

— Какъ ты смѣлъ противиться мнѣ, своему государю?

Комендантъ, изнемогая отъ раны, собралъ послѣднія силы и отвѣчалъ твердымъ голосомъ:

— Ты мнѣ не государь; ты—воръ и самозванецъ, слышь ты!

Пугачевъ мрачно нахмурился и махнулъ бѣлымъ платкомъ. Нѣсколько казаковъ подхватили стараго капитана и потащили къ висѣлицѣ. На ея перекладинѣ очутился верхомъ изувѣченный башкирецъ, котораго допрашивали мы наканунѣ. Онъ держалъ въ рукѣ веревку, и черезъ минуту увидѣлъ я бѣднаго Ивана Кузьмича, вздернутаго на воздухъ. Тогда привели къ Пугачеву Ивана Игнатьича.

— Присягай, — сказалъ ему Пугачевъ: — государю Петру Ѳеодоровичу!

— Ты намъ не государь,—отвѣчалъ Иванъ Игнатьичъ, повторяя слова своего капитана:—ты, дядюшка—воръ и самозванецъ!

Пугачевъ махнулъ опять платкомъ, и добрый поручикъ повисъ подлѣ своего стараго начальника.

Очередь была за мною. Я глядѣлъ смѣло на Пугачева, готовясь повторить отвѣтъ великодушныхъ моихъ товарищей. Тогда, къ неописанному моему изумленію, увидѣлъ я среди мятежныхъ старшинъ Швабрина, обстриженнаго въ кружокъ и въ казацкомъ кафтанѣ. Онъ подошелъ къ Пугачеву и сказалъ ему на ухо нѣсколько словъ.

— Вѣшать его!—сказалъ Пугачевъ, не взглянувъ уже на меня.

Мнѣ накинули на шею петлю. Я сталъ читать про себя молитву, принося Богу искреннее раскаяніе во всѣхъ моихъ прегрѣшеніяхъ и моля его о спасеніи всѣхъ близкихъ моему сердцу. Меня притащили подъ висѣлицу.

— Небось, небось,—повторяли мнѣ губители, — можетъ быть, и вправду желая меня ободрить.

Вдругъ услышалъ я крики: „Постойте, окаянные! пого-

дите!...“ Палачи остановились. Гляжу: Савельичъ лежитъ въ ногахъ у Пугачева.

— Отецъ родной!— говорилъ бѣдный дядька:—что тебѣ въ смерти барскаго дитяти? Отпусти его; за него тебѣ выкупъ дадутъ; а для примѣра и страха ради, вели повѣсить хоть меня, старика!

Пугачевъ далъ знакъ, и меня тотчасъ развязали и оставили.

— Батюшка нашъ тебя милуетъ,—говорили мнѣ.

Въ эту минуту, не могу сказать, чтобъ я обрадовался своему избавленію, не скажу однакожъ, чтобъ я о немъ и сожалѣлъ. Чувствованія мои были слишкомъ смутны. Меня снова привели къ самозванцу и поставили передъ нимъ на колѣни. Пугачевъ протянулъ мнѣ жилистую свою руку.

— Цѣлуй руку, цѣлуй руку!—говорили около меня.

Но я предпочелъ бы самую лютую казнь такому подлому униженію.

— Батюшка, Петръ Андреичъ!—шепталъ Савельичъ, стоя за мною и толкая меня:—не упрямься! что тебѣ стоитъ? плюнь да поцѣлуй у злод... (тьфу!), поцѣлуй у него ручку.

Я не шевелился. Пугачевъ опустилъ руку, сказавъ съ усмѣшкою:

— Его благородіе, знать, одурѣлъ отъ радости. Подымите его!

Меня подняли и оставили на свободѣ. Я сталъ смотрѣть на продолженіе ужасной комедіи.

Жители начали присягать. Они подходили одинъ за другимъ, цѣлуя распятіе и потомъ кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тутъ же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, рѣзалъ у нихъ косы. Они, отряхиваясь, подходили къ рукѣ Пугачева, который объявлялъ имъ прощеніе и принималъ въ свою шайку. Все это продолжалось около трехъ часовъ. Наконецъ, Пугачевъ всталъ съ креселъ и сошелъ съ крыльца въ сопровожденіи своихъ старшинъ. Ему подвели бѣлаго коня, украшеннаго богатой сбруей. Два казака взяли его подъ руки и посадили на сѣдло. Онъ объявилъ отцу Герасиму, что будетъ обѣдать у него. Въ эту минуту раздался женскій крикъ. Нѣсколько разбойниковъ вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и

раздѣтую до-нага. Одинъ изъ нихъ успѣлъ уже нарядиться въ ея душегрѣйку. Другіе таскали перины, сундуки, чайную посуду, бѣлье и всю рухлядь.

— Батюшки мои!—кричала бѣдная старушка:—отпустите душу на покаяніе. Отцы родные, отведите меня къ Ивану Кузьмичу.

Вдругъ она взглянула на висѣлицу и узнала своего мужа.

— Злодѣи!—закричала она въ изступленіи:—что это вы съ нимъ сдѣлали? Свѣтъ ты мой, Иванъ Кузьмичъ, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусскіе, ни пули турецкія; не въ честномъ бою положилъ ты свой животъ, а сгинулъ отъ бѣглаго каторжника!

— Унять старую вѣдьму!—сказалъ Пугачевъ.

Тутъ молодой казакъ ударилъ ее саблею по головѣ, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачевъ уѣхалъ; народъ бросился за нимъ....

Площадь опустѣла. Я все стоялъ на одномъ мѣстѣ и не могъ привести въ порядокъ мысли, смущенныя столь ужасными впечатлѣніями.

Неизвѣстность о судьбѣ Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Гдѣ она? что съ нею? успѣла ли спрятаться? надежно ли ея убѣжище? Полный тревожными мыслями, я вошелъ въ комендантскій домъ... Все было пусто; посуда перебита; все растаскано. Я побѣжалъ по маленькой лѣстницѣ, которая вела въ свѣтлицу, и въ первый разъ отроду вошелъ въ комнату Марьи Ивановны. Я увидѣлъ ея постель, перерытую разбойниками; шкапъ былъ разломанъ и ограбленъ; лампадка теплилась еще передъ опустѣлымъ кивотомъ. Уцѣлѣло и зеркальце, висѣвшее въ простѣнкѣ... Гдѣ-жъ была хозяйка этой смиренной дѣвической кельи? Страшная мысль мелькнула въ умѣ моемъ: я вообразилъ ее въ рукахъ у разбойниковъ... Сердце мое сжалось... Я горько, горько заплакалъ и громко произнесъ имя моей любезной... Въ эту минуту послышался легкій шумъ, и изъ-за шкапа явилась Палаша, блѣдная и трепещущая.

— Ахъ, Петръ Андреичъ! — сказала она, всплеснувъ руками:—какой денекъ! какія страсти!..

— А Марья Ивановна? — спросилъ я нетерпѣливо: — что Марья Ивановна?

— Барышня жива, — отвѣчала Палаша; — она спрятана у Акулины Памфиловны.

— У попадьи! — вскричалъ я съ ужасомъ: — Боже мой! да тамъ Пугачевъ!..

Я бросился вонъ изъ комнаты, мигомъ очутился на улицѣ и опрометью побѣжалъ въ домъ священника, ничего не видя и не чувствуя. Тамъ раздавались крики, хохотъ и пѣсни... Пугачевъ пировалъ съ своими товарищами. Палаша прибѣжала туда же за мною. Я подослалъ ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Черезъ минуту попадья вышла ко мнѣ въ сѣни съ пустымъ штофомъ въ рукахъ?

— Ради Бога! гдѣ Марья Ивановна? — спросилъ я съ неизъяснимымъ волненіемъ.

— Лежитъ моя голубушка у меня на кровати, тамъ за перегородкою, — отвѣчала попадья. — Ну, Петръ Андреичъ, чуть-было не стряслась бѣда; да, слава Богу, все прошло благополучно: злодѣй только что усѣлся обѣдать, какъ она, моя бѣдняжка, очнется, да застонетъ!... Я такъ и обмерла. Онъ услышалъ: — «А кто это у тебя охаетъ, старуха?" Я вору въ поясъ: „Племянница моя, государь, захворала, лежитъ, вотъ ужъ другая недѣля". — „А молодая твоя племянница?" — „Молода, государь". — „А покажи-ка мнѣ, старуха, свою племянницу". У меня сердце такъ и екнуло, да нечего было дѣлать. „Изволь, государь; только дѣвка-то не можетъ встать и прійти къ твоей милости". — „Ничего, старуха, я и самъ пойду погляжу". И вѣдь пошелъ, окаянный, за перегородку; какъ ты думаешь? вѣдь отдернулъ занавѣсъ, взглянулъ ястребиными своими глазами — и ничего... Богъ вынесъ! А вѣришь ли я и батька мой такъ ужъ и приготовились къ мученической смерти. Къ счастью, она, моя голубушка, не узнала его. Господи, Владыко, дождались мы праздника! нечего сказать! Бѣдный Иванъ Кузьмичъ! кто бы подумалъ!... А Василиса-то Егоровна? А Иванъ-то Игнатьичъ? Его-то за что?... Какъ это васъ пощадили? А каковъ Швабринъ, Алексѣй Иванычъ? Вѣдь остригся въ кружокъ, и теперь у насъ тутъ же съ ними пируетъ! Проворенъ, нечего сказать! А какъ сказала я про

больную племянницу, такъ онъ,—вѣришь ли,—такъ взглянулъ на меня, какъ бы ножомъ насквозь; однако не выдалъ, спасибо ему и за то.

Въ эту минуту раздались пьяные крики гостей и голосъ отца Герасима. Гости требовали вина, хозяинъ кликалъ сожительницу. Попадья расхлопоталась.

— Ступайте себѣ домой, Петръ Андреичъ,—сказала она:— теперь не до васъ; у злодѣевъ попойка идетъ. Бѣда, попадетесь подъ пьяную руку. Прощайте, Петръ Андреичъ. Что будетъ, то будетъ; авось, Богъ не оставитъ.

Попадья ушла. Нѣсколько успокоенный, я отправился къ себѣ на квартиру. Проходя мимо площади, я увидѣлъ нѣсколько башкирцевъ, которые тѣснились около висѣлицы и стаскивали сапоги съ повѣшенныхъ; съ трудомъ удержалъ я порывъ негодованія, чувствуя безполезность заступленія. По крѣпости бѣгали разбойники, грабя офицерскіе дома. Вездѣ раздавались крики пьянствующихъ мятежниковъ. Я пришелъ домой. Савельичъ встрѣтилъ меня у порога.

— Славу Богу!—вскричалъ онъ, увидя меня:—я было думалъ, что злодѣи опять тебя подхватили. Ну, батюшка, Петръ Андреичъ! вѣришь ли, все у насъ разграбили, мошенники: платье, бѣлье, вещи, посуду — ничего не оставили. Да что ужъ! Слава Богу, что тебя живого отпустили! А узналъ ли ты, сударь, атамана?

— Нѣтъ, не узналъ; а кто онъ такой?

— Какъ, батюшка? Ты и позабылъ того пьяницу, который выманилъ у тебя тулупъ на постояломъ дворѣ? Заячій тулупчикъ совсѣмъ новешенькій; а онъ, бестія, его такъ и распоролъ, напяливая на себя!

Я изумился. Въ самомъ дѣлѣ, сходство Пугачева съ моимъ вожатымъ было разительно. Я удостовѣрился, что Пугачевъ и онъ были одно и то же лицо, и понялъ тогда причину пощады, мнѣ оказанной. Я не могъ не подивиться странному сцѣпленію обстоятельствъ; дѣтскій тулупъ, подаренный бродягѣ, избавлялъ меня отъ петли, и пьяница, шатавшійся по постоялымъ дворамъ, осаждалъ крѣпости и потрясалъ государствомъ!

— Не изволишь ли покушать?—спросилъ Савеличъ, неиз-

мѣнный въ своихъ привычкахъ:—дома ничего нѣтъ; пойду, пошарю, да что-нибудь тебѣ изготовлю.

Оставшись одинъ, я погрузился въ размышленія. Что мнѣ было дѣлать? Оставаться въ крѣпости, подвластной злодѣю, или слѣдовать за его шайкою, было неприлично офицеру. Долгъ требовалъ, чтобъ я явился туда, гдѣ служба моя могла еще быть полезна отечеству въ настоящихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ... Но любовь сильно совѣтовала мнѣ оставаться при Марьѣ Ивановнѣ и быть ей защитникомъ и покровителемъ. Хотя я и предвидѣлъ скорую и несомнѣнную перемѣну въ обстоятельствахъ, но все же не могъ не трепетать, воображая опасность ея положенія.

Размышленія мои были прерваны приходомъ одного изъ казаковъ, который прибѣжалъ съ объявленіемъ, что-де „великій государь требуетъ тебя къ себѣ".

— Гдѣ же онъ?—спросилъ я, готовясь повиноваться.

— Въ комендантскомъ,—отвѣчалъ казакъ:—послѣ обѣда батюшка нашъ отправился въ баню, а теперь отдыхаетъ. Ну, ваше благородіе, по всему видно, что персона знатная: за обѣдомъ скушать изволилъ двухъ жареныхъ поросятъ, а парится такъ жарко, что и Тарасъ Курочкинъ не вытерпѣлъ, отдалъ вѣникъ Ѳомкѣ Бикбаеву, да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: всѣ пріемы такіе важные... А въ банѣ, слышно, показывалъ царскіе свои знаки на грудяхъ: на одной—двуглавый орелъ, величиною съ пятакъ, а на другой — персона его.

Я не нашелъ нужнымъ оспаривать мнѣнія казака и съ нимъ вмѣстѣ отправился въ комендантскій домъ, заранѣе воображая себѣ свиданіе съ Пугачевымъ и стараясь предугадать, чѣмъ оно кончится. Читатель легко можетъ себѣ представить, что я не былъ совершенно хладнокровенъ.

Начинало смеркаться, когда пришелъ я къ комендантскому дому. Висѣлица съ своими жертвами страшно чернѣла. Тѣло бѣдной комендантши все еще валялось подъ крыльцомъ, у котораго два казака стояли на караулѣ. Казакъ, приведшій меня, отправился про меня доложить и, тотчасъ же воротившись, ввелъ меня въ комнату.

Необыкновенная картина мнѣ представилась. За столомъ,

накрытымъ скатертью и установленнымъ штофами и стаканами, Пугачевъ и человѣкъ десять казацкихъ старшинъ сидѣли, въ шапкахъ и цвѣтныхъ рубашкахъ, разгоряченные виномъ, съ красными рожами и блистающими глазами. Между ними не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобранныхъ измѣнниковъ.

— А, ваше благородіе!—сказалъ Пугачевъ, увидя меня:—добро пожаловать; честь и мѣсто, милости просимъ.

Собесѣдники потѣснились. Я молча сѣлъ на краю стола. Сосѣдъ мой, молодой казакъ, стройный и красивый, налилъ мнѣ стаканъ простого вина, до котораго я не коснулся. Съ любопытствомъ сталъ я разсматривать сборище. Пугачевъ на первомъ мѣстѣ сидѣлъ, облокотясь на столъ и подпирая черную бороду своимъ широкимъ кулакомъ. Черты лица его, правильныя и довольно пріятныя, не изъявили ничего свирѣпаго. Онъ часто обращался къ человѣку лѣтъ пятидесяти, называя его то графомъ, то Тимоѳеичемъ, а иногда величая его дядюшкою. Всѣ обходились между собою, какъ товарищи, и не оказывали никакого особеннаго предпочтенія своему предводителю. Разговоръ шелъ объ утреннемъ приступѣ, объ успѣхѣ возмущенія и о будущихъ дѣйствіяхъ. Каждый хвасталъ, предлагалъ свои мнѣнія и свободно оспаривалъ Пугачева. И на этомъ-то странномъ военномъ совѣтѣ рѣшено было идти къ Оренбургу: движеніе дерзкое, и которое чуть было не увѣнчалось бѣдственнымъ успѣхомъ! Походъ былъ объявленъ къ завтрашнему дню.

— Ну, братцы,—сказалъ Пугачевъ:—затянемъ-ка на сонъ грядущій мою любимую пѣсенку. Чумаковъ! начинай!

Сосѣдъ мой затянулъ тонкимъ голоскомъ заунывную бурлацкую пѣсню, и всѣ подхватили хоромъ:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мѣшай мнѣ, доброму молодцу, думу думати.
Что заутра мнѣ, доброму молодцу, во допросъ идти
Передъ грознаго судью, самого царя.
Еще станетъ государь-царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи, дѣтинушка, крестьянскій сынъ,
Ужъ какъ съ кѣмъ ты воровалъ, съ кѣмъ разбой держалъ,
Еще много ли съ тобой было товарищей?
Я скажу тебѣ, надёжа-православный царь,

Всю правду скажу тебѣ, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первый мой товарищъ—темная ночь;
А второй мой товарищъ—булатный ножъ;
А какъ третій-то товарищъ—то мой добрый конь,
А четвертый мой товарищъ—то тугой лукъ;
Что разсыльщики мои—то калены стрѣлы.
Что возговоритъ надёжа-православный царь:
Исполать тебѣ, дѣтинушка, крестьянскій сынъ,
Что умѣлъ ты воровать, умѣлъ отвѣтъ держать!
Я за то тебя, дѣтинушка, пожалую
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами съ перекладиной.

Невозможно разсказать, какое дѣйствіе произвела на меня эта простонародная пѣсня про висѣлицу, распѣваемая людьми, обреченными висѣлицѣ. Ихъ грозныя лица, стройные голоса, унылое выраженіе, которое придавали они словамъ, безъ того выразительнымъ—все потрясало меня какимъ-то ужасомъ.

Гости выпили еще по стакану, встали изъ-за стола и простились съ Пугачевымъ. Я хотѣлъ за ними послѣдовать; но Пугачевъ сказалъ мнѣ:

— Сиди; я хочу съ тобою переговорить.

Мы остались глазъ-на-глазъ. Нѣсколько минутъ продолжалось обоюдное наше молчаніе. Пугачевъ смотрѣлъ на меня пристально, изрѣдка прищуривая правый глазъ съ удивительнымъ выраженіемъ плутовства и насмѣшливости. Наконецъ, онъ засмѣялся, и съ такою непритворной веселостью, что и я, глядя на него, сталъ смѣяться, самъ не зная, чему.

— Что, ваше благородіе?—сказалъ онъ мнѣ:—струсилъ ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебѣ веревку на шею? Я чаю, небо съ овчинку показалось... А покачался бы на перекладинѣ, если бъ не твой слуга. Я тотчасъ узналъ стараго хрыча. Ну, думалъ ли ты, ваше благородіе, что человѣкъ, который вывелъ тебя къ умету, былъ самъ великій государь? (Тутъ онъ взялъ на себя видъ важный и таинственный). Ты крѣпко предо мною виноватъ,—продолжалъ онъ:—но я помиловалъ тебя за твою добродѣтель, за то, что ты оказалъ мнѣ услугу, когда принужденъ я былъ скрываться отъ своихъ недруговъ. То ли еще увидишь!

Такъ ли тебя пожалую, когда получу свое государство! Обѣщаешься ли служить мнѣ съ усердіемъ?

Вопросъ мошенника и его дерзость показались мнѣ такъ забавны, что я не могъ не усмѣхнуться.

— Чему ты усмѣхаешься?—спросилъ онъ меня, нахмурясь. Или ты не вѣришь, что я великій государь? отвѣчай прямо.

Я смутился. Признать бродягу государемъ былъ я не въ состояніи: это казалось мнѣ малодушіемъ непростительнымъ. Назвать его въ глаза обманщикомъ, значило подвергнуть себя погибели, и то, на что былъ я готовъ подъ висѣлицею въ глазахъ всего народа и въ первомъ пылу негодованія, теперь показалось мнѣ безполезной хвастливостью. Я колебался. Пугачевъ мрачно ждалъ моего отвѣта. Наконецъ (и еще нынѣ съ самодовольствіемъ поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мнѣ надъ слабостью человѣческою. Я отвѣчалъ Пугачеву:

— Слушай, скажу тебѣ всю правду. Разсуди, могу ли я признать въ тебѣ государя? Ты человѣкъ смышленый, ты самъ увидѣлъ бы, что я лукавствую.

— Кто же я таковъ, по твоему разумѣнію?

— Богъ тебя знаетъ: но кто бы ты ни былъ, ты шутишь опасную шутку.

Пугачевъ взглянулъ на меня быстро.

— Такъ ты не вѣришь,—сказалъ онъ,—чтобъ я былъ государь Петръ Ѳедоровичъ? Ну, добро. А развѣ нѣтъ удачи удалому? Развѣ встарину Гришка Отрепьевъ не царствовалъ? Думай про меня, что хочешь, а отъ меня не отставай. Какое тебѣ дѣло до иного прочаго? Кто ни попъ, тотъ батька. Послужи мнѣ вѣрой и правдою, и тебя пожалую и въ фельдмаршалы, и въ князья. Какъ ты думаешь?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ я съ твердостью:—я природный дворянинъ; я присягалъ государынѣ императрицѣ: тебѣ служить не могу. Коли ты въ самомъ дѣлѣ желаешь мнѣ добра, такъ отпусти меня въ Оренбургъ.

Пугачевъ задумался.

— А коли отпущу,—сказалъ онъ:—такъ обѣщаешься ли, по крайней мѣрѣ, противъ меня не служить?

— Какъ могу тебѣ въ этомъ обѣщаться?—отвѣчалъ я.—

Самъ знаешь, не моя воля: велятъ идти противъ тебя—пойду, дѣлать нечего. Ты теперь самъ начальникъ; самъ требуешь повиновенія отъ своихъ. На что это будетъ похоже, если я отъ службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя въ твоей власти: отпустишь—спасибо; казнишь—Богъ тебѣ судья; а я сказалъ тебѣ правду.

Моя искренность поразила Пугачева.

— Такъ и быть,—сказалъ онъ, ударя меня по плечу:—казнить, такъ казнить, миловать, такъ миловать! Ступай себѣ на всѣ четыре стороны и дѣлай, что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себѣ спать, и меня ужъ дрема клонитъ.

Я оставилъ Пугачева и вышелъ на улицу. Ночь была тихая и морозная. Мѣсяцъ и звѣзды ярко сіяли, освѣщая площадь и висѣлицу. Въ крѣпости все было спокойно и темно. Только въ кабакѣ свѣтился огонь и раздавались крики запоздалыхъ гулякъ. Я взглянулъ на домъ священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось, все въ немъ было тихо.

Я пришелъ къ себѣ на квартиру и нашелъ Савельича, горюющаго по моемъ отсутствіи. Вѣсть о свободѣ моей обрадовала его несказанно.

— Слава тебѣ, Владыко!—сказалъ онъ, перекрестившись:—чѣмъ свѣтъ оставимъ крѣпость и пойдемъ, куда глаза глядятъ. Я тебѣ кое-что заготовилъ, покушай-ка, батюшка, да и почивай себѣ до утра, какъ у Христа за пазушкой.

Я послѣдовалъ его совѣту и, поужинавъ съ большимъ аппетитомъ, заснулъ на голомъ полу, утомленный душевно и физически.

Рано утромъ разбудилъ меня барабанъ. Я пошелъ на сборное мѣсто. Тамъ строились уже толпы пугачевскія около висѣлицы, гдѣ все еще висѣли вчерашнія жертвы. Казаки стояли верхомъ, солдаты подъ ружьемъ. Знамена развѣвались. Нѣсколько пушекъ, между которыми узналъ я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Всѣ жители находились тутъ же, ожидая самозванца. У крыльца комендантскаго дома казакъ держалъ подъ уздцы прекрасную бѣлую лошадь киргизской породы Я искалъ глазами тѣло коменданта. Оно было отнесено немного въ сторону и прикрыто рогожею. Наконецъ,

Пугачевъ вышелъ изъ сѣней. Народъ снялъ шапки. Пугачевъ остановился на крыльцѣ и со всѣми поздоровался. Одинъ изъ старшинъ подалъ ему мѣшокъ съ мѣдными деньгами, и онъ сталъ ихъ метать пригоршнями. Народъ съ крикомъ бросился ихъ подбирать, и дѣло обошлось не безъ увѣчья. Пугачева окружили главные изъ его сообщниковъ. Между ними стоялъ и Швабринъ. Взоры наши встрѣтились; въ моемъ онъ могъ прочесть презрѣніе, и онъ отворотился съ выраженіемъ искренней злобы и притворной насмѣшливости. Пугачевъ, увидѣвъ меня въ толпѣ, кивнулъ мнѣ головою и подозвалъ къ себѣ.

— Слушай,—сказалъ онъ мнѣ:—ступай сейчасъ же въ Оренбургъ и объяви отъ меня губернатору и всѣмъ генераламъ, чтобъ ожидали меня къ себѣ черезъ недѣлю. Посовѣтуй имъ встрѣтить меня съ дѣтскою любовью и послушаніемъ; нето не избѣжать имъ лютой казни. Счастливый путь, ваше благородіе!

Потомъ обратился онъ къ народу и сказалъ, указывая на Швабрина:

— Вотъ вамъ, дѣтушки, новый командиръ. Слушайтесь его во всемъ, а онъ отвѣчаетъ мнѣ за васъ и за крѣпость.

Съ ужасомъ услышалъ я эти слова: Швабринъ дѣлался начальникомъ крѣпости; Марья Ивановна оставалась въ его власти! Боже, что съ нею будетъ! Пугачевъ сошелъ съ крыльца. Ему подвели лошадь. Онъ проворно вскочилъ въ сѣдло, не дождавшись казаковъ, которые хотѣли было подсадить его. Въ это время изъ толпы народа, вижу, выступилъ мой Савельичъ, подходитъ къ Пугачеву—и подалъ ему листъ бумаги. Я не могъ придумать, что изъ того выйдетъ.

— Это что?—спросилъ важно Пугачевъ.

— Прочитай, такъ изволишь увидѣть — отвѣчалъ Савельичъ.

Пугачевъ принялъ бумагу и долго разсматривалъ съ видомъ значительнымъ.

— Что ты такъ мудрено пишешь?—сказалъ онъ наконецъ: —Наши свѣтлыя очи не могутъ тутъ ничего разобрать. Гдѣ мой оберъ-секретарь?

Молодой малый въ капральскомъ мундирѣ проворно подбѣжалъ къ Пугачеву.

— Читай вслухъ!—сказалъ самозванецъ, отдавая ему бумагу.

Я чрезвычайно любопытствовалъ узнать, о чемъ дядька мой вздумалъ писать Пугачеву. Оберъ-секретарь громогласно сталъ по складамъ читать слѣдующее:

„Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей...“

— Это что значитъ?—сказалъ, нахмурясь, Пугачевъ.

— Прикажи читать далѣе,—отвѣчалъ спокойно Савельичъ.

Оберъ-секретарь продолжалъ:

„Мундиръ изъ тонкаго зеленаго сукна, на семь рублей. Штаны бѣлые суконные, на пять рублей. Двѣнадцать рубахъ полотняныхъ голландскихъ съ манжетами, на десять рублей. Погребецъ съ чайною посудою, на два рубля съ полтиною...“

— Что за вранье?—прервалъ Пугачевъ.—Какое мнѣ дѣло до погребцовъ и до штановъ съ манжетами?

Савельичъ крякнулъ и сталъ объясняться.

— Это, батюшка, изволишь видѣть, реестръ барскому добру, раскраденному злодѣями...

— Какими злодѣями?—сказалъ грозно Пугачевъ.

— Виноватъ, обмолвился,—отвѣчалъ Савельичъ:—злодѣи не злодѣи, а твои ребята, такъ пошарили да порастаскали. Не гнѣвись: конь и о четырехъ ногахъ, да спотыкается. Прикажи ужъ дочитать.

— Дочитывай,—сказалъ Пугачевъ.

Секретарь продолжалъ:

„Одѣяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумагѣ, четыре рубля. Шуба лисья, крытая алымъ ратиномъ, сорокъ рублей. Еще заячій тулупчикъ, пожалованный твоей милости на постояломъ дворѣ, пятнадцать рублей.

— Это что еще!—вскричалъ Пугачевъ, сверкнувъ огненными глазами.

Признаюсь, я перепугался за бѣднаго моего дядьку. Онъ хотѣлъ было пуститься опять въ объясненія, но Пугачевъ его прервалъ.

— Какъ ты смѣлъ лѣзть ко мнѣ съ такими пустяками!—вскричалъ онъ, выхватя бумагу изъ рукъ секретаря и бросивъ ее въ лицо Савельичу.—Глупый старикъ! Ихъ обобрали:

экая бѣда! Да ты долженъ, старый хрычъ, вѣчно Бога молить за меня да за моихъ ребятъ—за то, что ты и съ бариномъ-то своимъ не висите здѣсь вмѣстѣ съ моими ослушниками... Заячій тулупъ! Да знаешь ли ты, что я съ тебя живого кожу велю содрать на тулупы?

— Какъ изволишь,—отвѣчалъ Савельичъ:—а я человѣкъ подневольный, и за барское добро долженъ буду отвѣчать.

Пугачевъ былъ, видно, въ припадкѣ великодушія. Онъ отворотился и отъѣхалъ, не сказавъ болѣе ни слова. Швабринъ и старшины послѣдовали за нимъ. Шайка выступила изъ крѣпости въ порядкѣ. Народъ пошелъ провожать Пугачева. Я остался на площади одинъ съ Савельичемъ. Дядька мой держалъ въ рукахъ свой реестръ и разсматривалъ его съ видомъ глубокаго сожалѣнія.

Видя мое доброе согласіе съ Пугачевымъ, онъ думалъ употребить его въ пользу; но мудрое намѣреніе ему не удалось. Я сталъ было его бранить за неумѣстное усердіе, и не могъ удержаться отъ смѣха.

— Смѣйся, сударь,—отвѣчалъ Савельичъ:—смѣйся, а какъ придется вамъ сызнова заводиться всѣмъ хозяйствомъ, такъ посмотримъ, смѣшно ли будетъ.

Я спѣшилъ въ домъ священника увидѣться съ Марьей Ивановной. Попадья встрѣтила меня съ печальнымъ извѣстіемъ. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала безъ памяти и въ бреду. Попадья ввела меня въ ея комнату. Я тихо подошелъ къ ея кровати. Перемѣна въ ея лицѣ поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоялъ я передъ нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утѣшали. Мрачныя мысли волновали меня. Состояніе бѣдной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобныхъ мятежниковъ, собственное мое безсиліе устрашили меня. Швабринъ, Швабринъ пуще всего терзалъ мое воображеніе. Облеченный властью отъ самозванца, предводительствуя въ крѣпости, гдѣ оставалась несчастная дѣвушка—невинный предметъ его ненависти, онъ могъ рѣшиться на все. Что мнѣ было дѣлать? Какъ подать ей помощь? Какъ освободить изъ рукъ злодѣя? Оставалось одно средство: я рѣшился тотъ же часъ отправиться въ Оренбургъ,

чтобы торопить освобожденіе Бѣлогорской крѣпости, и по возможности тому содѣйствовать. Я простился съ священникомъ и съ Акулиной Памфиловной, съ жаромъ поручая ей ту, которую почиталъ уже своею женою. Я взялъ руку бѣдной дѣвушки и поцѣловалъ ее, орошая слезами.

— Прощайте,—говорила мнѣ попадья, провожая меня:— прощайте, Петръ Андреевичъ. Авось увидимся въ лучшее время. Не забывайте насъ и пишите къ намъ почаще. Бѣдная Марья Ивановна, кромѣ васъ, не имѣетъ теперь ни утѣшенія, ни покровителя.

Вышедъ на площадь, я остановился на минуту, взглянулъ на висѣлицу, поклонился ей, вышелъ изъ крѣпости и пошелъ по оренбургской дорогѣ, сопровождаемый Савельичемъ, который отъ меня не отставалъ.

Я шелъ занятый своими размышленіями, какъ вдругъ услышалъ за собою конскій топотъ. Оглянулся, вижу: изъ крѣпости скачетъ казакъ, держа башкирскую лошадь въ поводья и дѣлая издали мнѣ знаки. Я остановился и вскорѣ узналъ нашего урядника. Онъ, подскакавъ, слѣзъ съ лошади и сказалъ, отдавая мнѣ поводья другой:

— Ваше благородіе! Отецъ нашъ жалуетъ вамъ лошадь и шубу съ своего плеча (къ сѣдлу привязанъ былъ овчиный тулупъ). Да еще,—промолвилъ, запинаясь, урядникъ:—жалуетъ онъ вамъ... полтину денегъ... да я растерялъ ее дорогою: простите великодушно.

Савельичъ посмотрѣлъ на него косо и проворчалъ:

— Растерялъ дорогою! А что же у тебя побрякиваетъ за пазухой? Безсовѣстный!

— Что у меня за пазухой побрякиваетъ?—возразилъ урядникъ, ни мало не смутясь:—Богъ съ тобою, старинушка! Это бренчитъ уздечка, а не полтина.

— Добро,—сказалъ я, прерывая споръ:—благодари отъ меня того, кто тебя прислалъ; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратномъ пути и возьми себѣ на водку.

— Очень благодаренъ, ваше благородіе,—отвѣчалъ онъ, поворачивая свою лошадь:—вѣчно за васъ буду Бога молить.

При этихъ словахъ онъ поскакалъ назадъ, держась одною

рукою за пазуху, и черезъ минуту скрылся изъ виду. Я надѣлъ тулупъ и сѣлъ верхомъ, посадивъ за собою Савельича.

— Вотъ видишь ли, сударь,—сказалъ старикъ:—что я не даромъ подалъ мошеннику челобитье: вору-то стало совѣстно. Хоть башкирская долговязая кляча да овчиный тулупъ не стоятъ и половины того, что они, мошенники, у насъ украли, и того, что ты ему самъ изволилъ пожаловать, да все же пригодится; а съ лихой собаки хоть шерсти клокъ.

Приближаясь къ Оренбургу, увидѣли мы толпу колодниковъ съ обритыми головами, съ лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укрѣпленій, подъ надзоромъ гарнизонныхъ инвалидовъ. Иные вывозили въ телѣжкахъ соръ, наполнявшій ровъ, другіе лопатками копали землю; на валу каменщики таскали кирпичъ и чинили городскую стѣну. У воротъ часовые остановили насъ и потребовали нашихъ паспортовъ. Какъ скоро сержантъ услышалъ, что я ѣду изъ Бѣлогорской крѣпости, то и повелъ меня прямо въ домъ генерала.

Я засталъ его въ саду. Онъ осматривалъ яблони, обнаженныя дыханіемъ осени, и съ помощью стараго садовника бережно ихъ укутывалъ теплой соломой. Лицо его изображало спокойствіе, здоровье и добродушіе. Онъ мнѣ обрадовался и сталъ разспрашивать объ ужасныхъ происшествіяхъ, коимъ я былъ свидѣтель. Я разсказалъ ему все. Старикъ слушалъ меня со вниманіемъ и между тѣмъ отрѣзывалъ сухія вѣтки.

— Бѣдный Мироновъ!—сказалъ онъ, когда кончилъ я свою печальную повѣсть:—жаль его, хорошій былъ офицеръ; и мадамъ Мироновъ добрая была дама, и какая майстерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?

Я отвѣчалъ, что она осталась въ крѣпости, на рукахъ у попадьи.

— Ай, ай, ай!—замѣтилъ генералъ:—это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойниковъ никакъ нельзя положиться. Что будетъ съ бѣдной дѣвушкою?!

Я отвѣчалъ, что до Бѣлогорской крѣпости недалеко, и что, вѣроятно, его превосходительство не замедлитъ выслать

войско для освобожденія бѣдныхъ ея жителей. Генералъ покачалъ головою съ видомъ недовѣрчивости.

— Посмотримъ, посмотримъ,—сказалъ онъ:—объ этомъ мы еще успѣемъ потолковать. Прошу ко мнѣ пожаловать на чашку чаю: сегодня у меня будетъ военный совѣтъ. Ты можешь намъ дать вѣрныя свѣдѣнія о бездѣльникѣ Пугачевѣ и объ его войскѣ. Теперь, покамѣстъ, поди отдохни.

Я пошелъ на квартиру, мнѣ отведенную, гдѣ Савельичъ уже хозяйничалъ, и съ нетерпѣніемъ сталъ ожидать назначеннаго времени. Читатель легко себѣ представитъ, что я не преминулъ явиться на совѣтъ, долженствовавшій имѣть такое вліяніе на судьбу мою. Въ назначенный часъ я уже былъ у генерала.

Я засталъ у него одного изъ городскихъ чиновниковъ, помнится, директора таможни, толстаго и румянаго старичка въ глазетовомъ кафтанѣ. Онъ сталъ разспрашивать меня о судьбѣ Ивана Кузьмича, котораго называлъ кумомъ, и часто прерывалъ мою рѣчь дополнительными вопросами и нравоучительными замѣчаніями, которыя, если и не обличали въ немъ человѣка свѣдущаго въ военномъ искусствѣ, то, по крайней мѣрѣ, обнаруживали смѣтливость и природный умъ. Между тѣмъ, собрались и прочіе приглашенные. Когда всѣ усѣлись и всѣмъ разнесли по чашкѣ чаю, генералъ изложилъ весьма ясно и пространно, въ чемъ состояло дѣло.

— Теперь, господа,—продолжалъ онъ:—надлежитъ рѣшить, какъ намъ дѣйствовать противу мятежниковъ—наступательно или оборонительно? Каждый изъ этихъ способовъ имѣетъ свою выгоду и невыгоду. Дѣйствіе наступательное представляетъ болѣе надежды на скорѣйшее истребленіе непріятеля; дѣйствіе оборонительное—болѣе вѣрно и безопасно... Итакъ, начнемъ собирать голоса по законному порядку, то-есть, начиная съ младшихъ по чину. Г-нъ прапорщикъ!—продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ:—извольте объяснить намъ ваше мнѣніе.

Я всталъ, и въ короткихъ словахъ описавъ сперва Пугачева и шайку его, сказалъ утвердительно, что самозванцу не было способа устоять противу правильнаго оружія.

Мнѣніе мое было принято чиновниками съ явной неблаго-

склонностью. Они видѣли въ немъ опрометчивость и дерзость молодого человѣка. Поднялся ропотъ, и я услышалъ явственно слово: „молокососъ“, произнесенное кѣмъ-то вполголоса. Генералъ обратился ко мнѣ и сказалъ съ улыбкою:

— Г-нъ прапорщикъ! первые голоса на военныхъ совѣтахъ подаются обыкновенно въ пользу движеній наступательныхъ: это законный порядокъ. Теперь станемъ продолжать собираніе голосовъ. Г-нъ коллежскій совѣтникъ, скажите намъ ваше мнѣніе!

Старичекъ въ глазетовомъ кафтанѣ поспѣшно допилъ третью свою чашку, значительно разбавленную ромомъ, и отвѣчалъ генералу:

— Я думаю, ваше превосходительство, что не должно дѣйствовать ни наступательно, ни оборонительно.

— Какъ же такъ, господинъ коллежскій совѣтникъ?— возразилъ изумленный генералъ:—другихъ способовъ тактика не представляетъ: движеніе оборонительное, или наступательное...

— Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.

— Э-хе, хе! мнѣніе ваше весьма благоразумно. Движенія подкупательныя тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашимъ совѣтомъ. Можно будетъ обѣщать за голову бездѣльника... рублей семьдесятъ, или даже сто... изъ секретной суммы...

— И тогда,—прервалъ таможенный директоръ:—будь я киргизскій баранъ, а не коллежскій совѣтникъ, если эти воры не выдадутъ своего атамана, скованнаго по рукамъ и по ногамъ.

— Мы еще объ этомъ подумаемъ и потолкуемъ,—отвѣчалъ генералъ.—Однако, надлежитъ во всякомъ случаѣ предпринять военныя мѣры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку.

Всѣ мнѣнія оказались противными моему. Всѣ чиновники говорили о ненадежности войскъ, о невѣрности удачи, объ осторожности и тому подобномъ. Всѣ полагали, что благоразумнѣе оставаться подъ прикрытіемъ пушекъ за крѣпкой каменной стѣной, нежели на открытомъ полѣ испытывать счастье оружія. Наконецъ, генералъ, выслушавъ всѣ мнѣнія,

вытряхнулъ пепелъ изъ трубки и произнесъ слѣдующую рѣчь:

— Государи мои! долженъ я вамъ объявить, что съ моей стороны я совершенно съ мнѣніемъ господина прапорщика согласенъ: ибо мнѣніе сіе основано на всѣхъ правилахъ здравой тактики, которая всегда почти наступательныя движенія оборонительнымъ предпочитаетъ.

Тутъ онъ остановился и сталъ набивать свою трубку. Самолюбіе мое торжествовало. Я гордо посмотрѣлъ на чиновниковъ, которые между собою перешептывались съ видомъ неудовольствія и безпокойства.

— Но, государи мои,—продолжалъ онъ, выпустивъ, вмѣстѣ съ глубокимъ вздохомъ, густую струю табачнаго дыма:—я не смѣю взять на себя столь великую отвѣтственность, когда дѣло идетъ о безопасности ввѣренныхъ мнѣ провинцій ея императорскимъ величествомъ, всемилостивѣйшею моею государыней. Итакъ, я соглашаюсь съ большинствомъ голосовъ, которое рѣшило, что всего благоразумнѣе и безопаснѣе внутри города ожидать осады, а нападенія непріятеля силой артиллеріи и (буде окажется возможнымъ) вылазками—отражать.

Чиновники въ свою очередь насмѣшливо поглядѣли на меня. Совѣтъ разошелся. Я не могъ не сожалѣть о слабости почтеннаго воина, который, наперекоръ собственному убѣжденію, рѣшился слѣдовать мнѣніямъ людей несвѣдущихъ и неопытныхъ.

Спустя нѣсколько дней послѣ этого знаменитаго совѣта, узнали мы, что Пугачевъ, вѣрный своему обѣщанію, приближался къ Оренбургу. Я увидѣлъ войско мятежниковъ съ высоты городской стѣны. Мнѣ показалось, что число ихъ вдесятеро увеличилось со времени послѣдняго приступа, которому былъ я свидѣтель. При нихъ была и артиллерія, взятая Пугачевымъ въ малыхъ крѣпостяхъ, имъ уже покоренныхъ. Вспомня рѣшеніе совѣта, я предвидѣлъ долговременное заключеніе въ стѣнахъ оренбургскихъ и чуть не плакалъ отъ досады.

Не стану описывать осаду. Скажу вкратцѣ, что эта осада, по неосторожности мѣстнаго начальства, была гибельна для жителей, которые претерпѣли голодъ и всевозможныя бѣдствія. Легко можно себѣ вообразить, что жизнь въ Оренбургѣ

была самая несносная. Всѣ съ уныніемъ ожидали рѣшенія своей участи; всѣ охали отъ дороговизны, которая въ самомъ дѣлѣ была ужасна. Жители привыкли къ ядрамъ, залетавшимъ на ихъ дворы, даже приступы Пугачева ужъ не привлекали общаго любопытства. Я умиралъ со скуки. Время шло. Писемъ изъ Бѣлогорской крѣпости я не получалъ. Всѣ дороги были отрѣзаны. Разлука съ Марьей Ивановной становилась мнѣ нестерпима. Неизвѣстность о ея судьбѣ меня мучила. Единственное развлеченіе мое состояло въ наѣздничествѣ. По милости Пугачева, я имѣлъ добрую лошадь, съ которой дѣлился скудной пищей и на которой ежедневно выѣзжалъ я за городъ перестрѣливаться съ пугачевскими наѣздниками. Въ этихъ перестрѣлкахъ перевѣсъ былъ обыкновенно на сторонѣ злодѣевъ, сытыхъ, пьяныхъ и доброконныхъ. Тощая городовая конница не могла ихъ одолѣть. Иногда выходила въ поле и наша голодная пѣхота; но глубина снѣга мѣшала ей дѣйствовать удачно противъ разсѣянныхъ наѣздниковъ. Артиллерія тщетно гремѣла съ высоты вала, а въ полѣ вязла и не двигалась по причинѣ изнуренія лошадей. Таковъ былъ образъ нашихъ военныхъ дѣйствій! И вотъ что оренбургскіе чиновники называли осторожностью и благоразуміемъ!....

Я вошелъ въ избу, или во дворецъ, какъ называли ее мужики. Она освѣщена была двумя сальными свѣчами, а стѣны оклеены были золотою бумагою; впрочемъ, лавки, столъ, рукомойникъ на веревочкѣ, полотенце на гвоздѣ, ухватъ въ углу и широкій шестокъ, уставленный горшками — все было какъ въ обыкновенной избѣ. Пугачевъ сидѣлъ подъ образами, въ красномъ кафтанѣ, въ высокой шапкѣ и важно подбочась. Около него стояло нѣсколько изъ главныхъ его сотоварищей, съ видомъ притворнаго подобострастія. Видно было, что вѣсть о прибытіи офицера изъ Оренбурга пробудила въ бунтовщикахъ сильное любопытство, и что они приготовились встрѣтить меня съ торжествомъ. Пугачевъ узналъ меня съ перваго взгляда. Поддѣльная важность его вдругъ исчезла.

— А, ваше благородіе! —сказалъ онъ мнѣ съ живостью:—

— Какъ поживаешь? Зачѣмъ тебя Богъ принесъ?

Я отвѣчалъ, что ѣхалъ по своему дѣлу, и что люди его меня остановили.

— А по какому дѣлу?—спросилъ онъ меня.

Я не зналъ, что отвѣчать. Пугачевъ, полагая, что я не хочу объясниться при свидѣтеляхъ, обратился къ своимъ товарищамъ и велѣлъ имъ выйти. Всѣ послушались, кромѣ двухъ, которые не тронулись съ мѣста.

— Говори смѣло при нихъ,—сказалъ мнѣ Пугачевъ:— отъ нихъ я ничего не таю.

Я взглянулъ наискось на наперсниковъ самозванца. Одинъ изъ нихъ, тщедушный и сгорбленный старичекъ съ сѣдою бородкою, не имѣлъ въ себѣ ничего замѣчательнаго, кромѣ голубой ленты, надѣтой черезъ плечо по сѣрому армяку. Но ввѣкъ не забуду его товарища. Онъ былъ высокаго роста, дороденъ и широкоплечъ, и показался мнѣ лѣтъ сорока-пяти. Густая рыжая борода, сѣрые сверкающіе глаза, носъ безъ ноздрей и красноватыя пятна на лбу и на щекахъ придавали его рябому, широкому лицу выраженіе неизъяснимое. Онъ былъ въ красной рубахѣ, въ киргизскомъ халатѣ и въ казацкихъ шароварахъ. Первый (какъ узналъ я послѣ) былъ бѣглый капралъ Бѣлобородовъ; второй — Аѳанасій Соколовъ (прозванный Хлопушей), ссыльный преступникъ, три раза бѣжавшій изъ сибирскихъ рудниковъ. Несмотря на чувства, исключительно меня волновавшія, общество, въ которомъ я такъ нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображеніе. Но Пугачевъ привелъ меня въ себя своимъ вопросомъ:

— Говори, по какому же дѣлу выѣхалъ ты изъ Оренбурга?

Странная мысль пришла мнѣ въ голову: мнѣ показалось, что Провидѣніе, вторично приведшее меня къ Пугачеву, подавало мнѣ случай привесть въ дѣйствіе мое намѣреніе. Я рѣшился имъ воспользоваться и, не успѣвъ обдумать то, на что рѣшался, отвѣчалъ на вопросъ Пугачева:

— Я ѣхалъ въ Бѣлогорскую крѣпость избавить сироту, которую тамъ обижаютъ.

Глаза у Пугачева засверкали.

— Кто изъ моихъ людей смѣетъ обижать сироту?— закричалъ онъ:—Будь онъ семи пядей во лбу, а отъ суда моего не уйдетъ. Говори, кто виноватый?

— Швабринъ виноватый,—отвѣчалъ я:—онъ держитъ въ неволѣ ту дѣвушку, которую ты видѣлъ, больную, у попадьи, и насильно хочетъ на ней жениться.

— Я проучу Швабрина!—сказалъ громко Пугачевъ:—онъ узнаетъ, каково у меня своевольничать и обижать народъ. Я его повѣшу.

— Прикажи слово молвить,—сказалъ Хлопуша, хриплымъ голосомъ:—ты поторопился назначить Швабрина въ коменданты крѣпости, а теперь торопишься его вѣшать. Ты ужъ оскорбилъ казаковъ, посадивъ дворянина имъ въ начальники; не пугай же дворянъ, казня ихъ по первому наговору.

— Нечего ихъ ни жалѣть, ни жаловать!—сказалъ старичекъ въ голубой лентѣ:—Швабрина сказнить не бѣда; а не худо и господина офицера допросить порядкомъ: зачѣмъ изволилъ пожаловать. Если онъ тебя государемъ не признаетъ, такъ нечего у тебя и управы искать; а коли признаетъ, что же онъ до сегодняшняго дня сидѣлъ въ Оренбургѣ съ твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его въ приказную, да запалить тамъ огоньку: мнѣ слается, что его милость подосланъ къ намъ отъ оренбургскихъ командировъ.

Логика стараго злодѣя показалась мнѣ довольно убѣдительною. Морозъ пробѣжалъ по всему моему тѣлу при мысли, въ чьихъ рукахъ я находился. Пугачевъ замѣтилъ мое смущеніе.

— Ась, ваше благородіе?—сказалъ онъ мнѣ, подмигивая:—фельдмаршалъ мой, кажется, говоритъ дѣло. Какъ ты думаешь?

Насмѣшка Пугачева возвратила мнѣ бодрость. Я спокойно отвѣчалъ, что нахожусь въ его власти, и что онъ воленъ поступить со мною, какъ ему будетъ угодно.

— Добро,—сказалъ Пугачевъ:—теперь скажи, въ какомъ состояніи вашъ городъ?

— Слава Богу,—отвѣчалъ я:—все благополучно.

— Благополучно?—повторилъ Пугачевъ:—а народъ мретъ съ голоду!

Самозванецъ говорилъ правду; но я, по долгу присяги, сталъ увѣрять, что все это пустые слухи, и что въ Оренбургѣ довольно всякихъ запасовъ.

— Ты видишь,—подхватилъ старичекъ:—что онъ тебя въ глаза обманываетъ. Всѣ бѣглецы согласно показываютъ, что въ Оренбургѣ голодъ и моръ, что тамъ ѣдятъ мертвечину, и то за честь; а его милость увѣряетъ что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повѣсить, то ужъ на той же висѣлицѣ повѣсь и этого молодца, чтобъ никому не было завидно.

Слова проклятаго старика, казалось, поколебали Пугачева. Къ счастью, Хлопуша сталъ противорѣчить своему товарищу.

— Полно, Наумычъ, сказалъ онъ ему:—тебѣ бы все душить да рѣзать. Что ты за богатырь? Поглядѣть, такъ въ чемъ душа держится. Самъ въ могилу смотришь, а другихъ губишь. Развѣ мало крови на твоей совѣсти?

— Да ты что за угодникъ?—возразилъ Бѣлобородовъ:— у тебя-то откуда жалость взялась?

— Конечно,—отвѣчалъ Хлопуша:—и я грѣшенъ, и эта рука (тутъ онъ сжалъ свой костлявый кулакъ и, засуча рукава, открылъ косматую руку), и эта рука повинна въ пролитой христіанской крови. Но я губилъ супротивника, а не гостя; на вольномъ перепутьѣ да въ темномъ лѣсу, а не дома, сидя за печью; кистенемъ и обухомъ, а не бабьимъ наговоромъ.

Старикъ отворотился и проворчалъ слова: — „рваныя ноздри..!“

— Что ты тамъ шепчешь, старый хрычъ?—закричалъ Хлопуша:— Я тебѣ дамъ „рваныя ноздри“; погоди, придетъ и твое время; Богъ дастъ, и ты щипцовъ понюхаешь... А покамѣстъ смотри, чтобъ я тебѣ бородишки не вырвалъ!

— Господа енаралы!—провозгласилъ важно Пугачевъ:— полно вамъ ссориться. Не бѣда, если бъ и всѣ оренбургскія собаки дрыгали ногами подъ одной перекладиной; бѣда, если наши кобели межъ собою перегрызутся. Ну, помиритесь.

Хлопуша и Бѣлобородовъ не сказали ни слова и мрачно смотрѣли другъ на друга. Я увидѣлъ необходимость перемѣнить разговоръ, который могъ кончиться для меня очень невыгоднымъ образомъ, и, обратясь къ Пугачеву, сказалъ ему съ веселымъ видомъ:

— Ахъ! я было и забылъ благодарить тебя за лошадь и за тулупъ. Безъ тебя я не добрался бы до города и замерзъ бы на дорогѣ.

Уловка моя удалась. Пугачевъ развеселился.

— Долгъ платежомъ красёнъ,—сказалъ онъ, мигая и прищуриваясь.—Разскажи-ка мнѣ теперь, какое тебѣ дѣло до той дѣвушки, которую Швабринъ обижаетъ? Ужъ не зазноба ли сердцу молодецкому, а?

— Она невѣста моя,—отвѣчалъ я Пугачеву, видя благопріятную перемѣну погоды и не находя нужды скрывать истину.

— Твоя невѣста! — закричалъ Пугачевъ: — Что-жъ ты прежде не сказалъ? Да мы тебя женимъ и на свадьбѣ твоей попируемъ!— Потомъ, обращаясь къ Бѣлобородову:

— Слушай, фельдмаршалъ! Мы съ его благородіемъ старые пріятели; сядемъ-ка да поужинаемъ; утро вечера мудренѣе. Завтра посмотримъ, что съ нимъ сдѣлаемъ.

Я радъ былъ отказаться отъ предлагаемой чести; но дѣлать было нечего. Двѣ молодыя казачки, дочери хозяина избы, накрыли столъ бѣлой скатертью, принесли хлѣба, ухи и нѣсколько штофовъ съ виномъ и пивомъ, и я вторично очутился за одною трапезою съ Пугачевымъ и съ его страшными товарищами.

Оргія [1]), которой я былъ невольнымъ свидѣтелемъ, продолжалась до глубокой ночи. Наконецъ, хмель началъ одолѣвать собесѣдниковъ. Пугачевъ задремалъ, сидя на своемъ мѣстѣ; товарищи его встали и дали мнѣ знакъ оставить его. Я вышелъ вмѣстѣ съ ними. По распоряженію Хлопуши, караульный отвелъ меня въ приказную избу, гдѣ я нашелъ и Савельича, и гдѣ меня оставили съ нимъ взаперти. Дядька былъ въ такомъ изумленіи при видѣ всего, что происходило, что не сдѣлалъ мнѣ никакого вопроса. Онъ улегся въ темнотѣ и долго вздыхалъ и охалъ; наконецъ захрапѣлъ, а я предался размышленіямъ, которыя всю ночь ни на одну минуту не дали мнѣ задремать.

Поутру пришли меня звать отъ имени Пугачева. Я пошелъ къ нему. У воротъ его стояла кибитка, запряженная

---

[1]) Разгульная пирушка.

тройкою татарскихъ лошадей. Народъ толпился на улицѣ. Въ сѣняхъ встрѣтилъ я Пугачева: онъ былъ одѣтъ по-дорожному, въ шубѣ и въ киргизской шапкѣ. Вчерашніе собесѣдники окружали его, принявъ на себя видъ подобострастія, который сильно противорѣчилъ всему, чему я былъ свидѣтелемъ наканунѣ. Пугачевъ весело со мною поздоровался и велѣлъ мнѣ садиться съ нимъ въ кибитку. Мы усѣлись.

— Въ Бѣлогорскую крѣпость! — сказалъ Пугачевъ широкоплечему татарину, стоя правящему тройкою.

Сердце мое сильно забилось. Лошади тронулись, колокольчикъ загремѣлъ, кибитка полетѣла...

— Стой! стой! — раздался голосъ, слишкомъ мнѣ знакомый, и я увидѣлъ Савельича, бѣжавшаго намъ навстрѣчу. Пугачевъ велѣлъ остановиться.

— Батюшка, Петръ Андреичъ! — кричалъ дядька: — не покинь меня на старости лѣтъ посреди этихъ мошен...

— А, старый хрычъ! — сказалъ ему Пугачевъ: — опять Богъ далъ свидѣться. Ну, садись на облучекъ.

— Спасибо, государь, спасибо, отецъ родной! — говорилъ Савельичъ, усаживаясь. — Дай Богъ тебѣ сто лѣтъ здравствовать за то, что меня, старика, призрилъ и успокоилъ. Вѣкъ за тебя буду Бога молить, а о заячьемъ тулупѣ и упоминать ужъ не стану.

Этотъ заячій тулупъ могъ, наконецъ, не на шутку разсердить Пугачева. Къ счастью, самозванецъ или не разслышалъ, или пренебрегъ неумѣстнымъ намекомъ. Лошади поскакали; народъ на улицѣ останавливался и кланялся въ поясъ. Пугачевъ кивалъ головою на обѣ стороны. Черезъ минуту мы выѣхали изъ слободы и помчались по гладкой дорогѣ.

Легко можно представить, что чувствовалъ я въ эту минуту. Черезъ нѣсколько часовъ долженъ я былъ увидѣться съ тою, которую почиталъ уже для меня потерянною. Я воображалъ себѣ минуту нашего соединенія... Я думалъ также и о томъ человѣкѣ, въ чьихъ рукахъ находилась моя судьба, и который, по странному стеченію обстоятельствъ, таинственно былъ со мною связанъ. Я вспоминалъ объ опрометчивой жестокости, о кровожадныхъ привычкахъ того, кто вызвался быть избави-

телемъ моей любезной! Пугачевъ не зналъ, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабринъ могъ открыть ему все; Пугачевъ могъ провѣдать истину и другимъ образомъ... Тогда что станется съ Марьей Ивановной? Холодъ пробѣжалъ по моему тѣлу, и волоса становились дыбомъ...

Вдругъ Пугачевъ прервалъ мои размышленія, обратясь ко мнѣ съ вопросомъ:

— О чемъ, ваше благородіе, изволилъ задуматься?

— Какъ не задуматься,—отвѣчалъ я ему:—я офицеръ и дворянинъ; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня ѣду съ тобой въ одной кибиткѣ, и счастіе всей моей жизни зависитъ отъ тебя.

— Что-жъ?—спросилъ Пугачевъ:—страшно тебѣ?

Я отвѣчалъ, что, бывъ однажды уже имъ помилованъ, я надѣялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.

— И ты правъ, ей-Богу, правъ!—сказалъ самозванецъ:—ты видѣлъ, что мои ребята смотрѣли на тебя косо, а старикъ и сегодня настаивалъ на томъ, что ты — шпіонъ, и что надобно тебя пытать и повѣсить, но я не согласился,—прибавилъ онъ, понизивъ голосъ, чтобъ Савельичъ и татаринъ не могли его услышать:—помня твой стаканъ вина и заячій тулупъ. Ты видишь, что я не такой еще кровопійца, какъ говоритъ обо мнѣ ваша братья.

Я вспомнилъ взятіе Бѣлогорской крѣпости, но не почелъ нужнымъ его оспаривать и не отвѣчалъ ни слова.

— Что говорятъ обо мнѣ въ Оренбургѣ?—спросилъ Пугачевъ, помолчавъ немного.

— Да говорятъ, что съ тобою сладить трудновато. Нечего сказать—далъ ты себя знать.

Лицо самозванца изобразило довольное самолюбіе.

— Да!—сказалъ онъ съ веселымъ видомъ:—я воюю хоть куда. Знаютъ ли у васъ въ Оренбургѣ о сраженіи подъ Юзеевой? Сорокъ енераловъ убито, четыре арміи взято въ полонъ. Какъ ты думаешь: прусскій король могъ ли бы со мною потягаться?

Хвастливость разбойника показалась мнѣ забавна.

— Самъ какъ ты думаешь,—сказалъ я ему:—управился ли бы ты съ Фридерикомъ.

— Съ Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ? А какъ же нѣтъ? Съ вашими енералами вѣдь я же управляюсь; а они его бивали. Доселѣ оружіе мое было счастливо. Дай срокъ, то ли еще будетъ, какъ пойду на Москву?

— А ты полагаешь идти на Москву?

Самозванецъ нѣсколько задумался и сказалъ вполголоса:

— Богъ вѣсть! Улица моя тѣсна, воли мнѣ мало. Ребята мои умничаютъ. Они—воры. Мнѣ должно держать ухо востро: при первой неудачѣ они свою шею выкупятъ моею головою.

— То-то!—сказалъ я Пугачеву: — не лучше ли тебѣ отстать отъ нихъ самому, заблаговременно, да прибѣгнуть къ милосердію государыни?

Пугачевъ горько усмѣхнулся.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ:—поздно мнѣ каяться. Для меня не будетъ помилованія. Буду продолжать, какъ началъ. Какъ знать? Авось, и удастся! Гришка Отрепьевъ вѣдь поцарствовалъ же надъ Москвою.

— А знаешь ты, чѣмъ онъ кончилъ? Его выбросили изъ окна, зарѣзали, сожгли, зарядили пепломъ пушку и выпалили!

— Слушай,—сказалъ Пугачевъ съ какимъ-то дикимъ вдохновеніемъ: — разскажу тебѣ сказку, которую въ ребячествѣ мнѣ разсказывала старая калмычка. Однажды орелъ спрашивалъ у ворона: „Скажи, воронъ-птица, отчего живешь ты на бѣломъ свѣтѣ триста лѣтъ, а я всего-на-всего только тридцать три года?“ —„Оттого, батюшка,—отвѣчалъ ему воронъ: — что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной“. Орелъ подумалъ: „давай, попробуемъ и мы питаться тѣмъ“. Хорошо. Полетѣли орелъ да воронъ. Вотъ, завидѣли палую лошадь, спустились и сѣли. Воронъ сталъ клевать, да похваливать. Орелъ клюнулъ разъ, клюнулъ другой, махнулъ крыломъ и сказалъ ворону: „нѣтъ, братъ, воронъ! чѣмъ триста лѣтъ питаться падалью, лучше разъ напиться живой кровью; а тамъ—что Богъ дастъ!“—Какова калмыцкая сказка?

—Затѣйлива,—отвѣчалъ я ему.—Но жить убійствомъ и разбоемъ значитъ, по мнѣ, клевать мертвечину.

Пугачевъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ и ничего не отвѣчалъ. Оба мы замолчали, погрузясь каждый въ свои размышленія. Татаринъ затянулъ унылую пѣсню; Савельичъ,

дремля, качался на облучкѣ. Кибитка летѣла по гладкому зимнему пути... Вдругъ увидѣлъ я деревушку на крутомъ берегу Яика, съ частоколомъ и съ колокольней — и черезъ четверть часа въѣхали мы въ Бѣлогорскую крѣпость.

Кибитка подъѣхала къ крыльцу комендантскаго дома. Народъ узналъ колокольчикъ Пугачева и толпою бѣжалъ за нами. Швабринъ встрѣтилъ самозванца на крыльцѣ. Онъ былъ одѣтъ казакомъ и отростилъ себѣ бороду. Измѣнникъ помогъ Пугачеву вылѣзть изъ кибитки, въ подлыхъ выраженіяхъ изъявляя свою радость и усердіе. Увидя меня, онъ смутился, но вскорѣ оправился, протянулъ мнѣ руку, говоря:

— И ты нашъ? Давно бы такъ!

Я отворотился отъ него и ничего не отвѣчалъ.

Сердце мое заныло, когда очутились мы въ давно-знакомой комнатѣ, гдѣ на стѣнѣ висѣлъ еще дипломъ покойнаго коменданта, какъ печальная эпитафія прошедшему времени. Пугачевъ сѣлъ на томъ диванѣ, на которомъ, бывало, дремалъ Иванъ Кузьмичъ, усыпленный ворчаніемъ своей супруги. Швабринъ самъ поднесъ ему водки. Пугачевъ выпилъ рюмку и сказалъ ему, указавъ на меня.

— Попотчуй и его благородіе.

Швабринъ подошелъ ко мнѣ съ своимъ подносомъ; но я вторично отъ него отворотился. Онъ казался самъ не свой. При обыкновенной своей смѣтливости онъ, конечно, догадался, что Пугачевъ былъ имъ недоволенъ. Онъ трусилъ передъ нимъ, а на меня поглядывалъ съ недовѣрчивостью. Пугачевъ освѣдомился о состояніи крѣпости, о слухахъ про непріятельскія войска и тому подобномъ, и вдругъ спросилъ его неожиданно:

— Скажи, братецъ, какую ты дѣвушку держишь у себя подъ карауломъ? Покажи-ка мнѣ ее.

Швабринъ поблѣднѣлъ, какъ мертвый.

— Государь,—сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ:—государь, она не подъ карауломъ.... она больна.... она въ свѣтлицѣ лежитъ

— Веди-жъ меня къ ней,—сказалъ самозванецъ, вставая съ мѣста.

Отговариваться было невозможно. Швабринъ повелъ Пугачева въ свѣтлицу Марьи Ивановны. Я за ними послѣдовалъ.

Швабринъ остановился на лѣстницѣ.

— Государь!—сказалъ онъ:—вы властны требовать отъ меня, что вамъ угодно; но не прикажите постороннему входить въ спальню къ женѣ моей.

Я затрепеталъ.

— Такъ ты женатъ!—сказалъ я Швабрину, готовясь его растерзать.

— Тише!—прервалъ меня Пугачевъ:—это мое дѣло. А ты,—продолжалъ онъ, обращаясь къ Швабрину:—не умничай и не ломайся: жена ли она тебѣ, или не жена, а я веду къ ней, кого хочу. Ваше благородіе, ступай за мной.

У дверей свѣтлицы Швабринъ опять остановился и сказалъ прерывающимся голосомъ:

— Государь! предупреждаю васъ, что она въ бѣлой горячкѣ и третій день какъ бредитъ безъ умолку.

— Отворяй!—сказалъ Пугачевъ.

Швабринъ сталъ искать у себя въ карманахъ и сказалъ, что не взялъ съ собою ключа. Пугачевъ толкнулъ дверь ногою; замокъ отскочилъ, дверь отворилась, и мы вошли.

Я взглянулъ—и обмеръ. На полу, въ крестьянскомъ оборванномъ платьѣ, сидѣла Марья Ивановна, блѣдная, худая, съ растрепанными волосами. Передъ нею стоялъ кувшинъ воды, накрытый ломтемъ хлѣба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало—не помню.

Пугачевъ посмотрѣлъ на Швабрина и сказалъ съ горькой усмѣшкою:

— Хорошъ у тебя лазаретъ!—потомъ подошелъ къ Марьѣ Ивановнѣ:—Скажи мнѣ, голубушка, за что твой мужъ тебя наказываетъ? Въ чемъ ты передъ нимъ провинилась?

— Мой мужъ!—повторила она:—Онъ мнѣ не мужъ. Я никогда не буду его женою! Я лучше рѣшилась умереть—и умру, если меня не избавятъ.

Пугачевъ взглянулъ грозно на Швабрина:

— И ты смѣлъ меня обманывать!—сказалъ онъ ему:—знаешь ли, бездѣльникъ, чего ты достоинъ?

Швабринъ упалъ на колѣни... Въ эту минуту презрѣніе заглушило во мнѣ всѣ чувства ненависти и гнѣва. Съ омерзѣніемъ глядѣлъ я на дворянина, валяющагося въ ногахъ бѣглаго казака. Пугачевъ смягчился.

— Милую тебя на сей разъ,—сказалъ онъ Швабрину:— но знай, что при первой винѣ тебѣ припомнится и эта.

Потомъ обратился къ Марьѣ Ивановнѣ и сказалъ ей ласково:

— Выходи, красная дѣвица: дарую тебѣ волю. Я—государь.

Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что передъ нею убійца ея родителей. Она закрыла лицо обѣими руками и упала безъ чувствъ. Я кинулся къ ней; но въ эту минуту очень смѣло въ комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышнею. Пугачевъ вышелъ изъ свѣтлицы, и мы трое сошли въ гостиную.

— Что, ваше благородіе?—сказалъ, смѣясь, Пугачевъ:— выручили красную дѣвицу! Какъ думаешь, не послать ли за попомъ, да не заставить ли его обвѣнчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженымъ отцомъ, Швабринъ—дружкою; закутимъ, запьемъ—и ворота запремъ!

Чего я опасался, то и случилось. Швабринъ, услыша предложеніе Пугачева, вышелъ изъ себя.

— Государь!—сказалъ онъ въ изступленіи:—я виноватъ, я вамъ солгалъ, но и Гриневъ васъ обманываетъ. Эта дѣвушка не племянница здѣшняго попа: она—дочь Ивана Миронова, который казненъ при взятіи здѣшней крѣпости.

Пугачевъ устремилъ на меня огненные свои глаза.

— Это что еще?—спросилъ онъ съ недоумѣніемъ.

— Швабринъ сказалъ тебѣ правду,—отвѣчалъ я съ твердостью.

— Ты мнѣ этого не сказалъ,—замѣтилъ Пугачевъ, у котораго лицо омрачилось.

— Самъ ты разсуди,—отвѣчалъ я ему:—можно ли было при твоихъ людяхъ объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто бы ее не спасло!

— И то правда,—сказалъ, смѣясь, Пугачевъ:—мои пья-

ницы не пощадили бы бѣдной дѣвушки. Хорошо сдѣлала кумушка-попадья, что обманула ихъ.

— Слушай,—продолжалъ я, видя его доброе расположеніе:—какъ тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу... Но Богъ видитъ, что жизнію радъ бы заплатить тебѣ за то, что ты для меня сдѣлалъ. Только не требуй того, что противно чести моей и христіанской совѣсти. Ты—мой благодѣтель. Доверши, какъ началъ: отпусти меня съ бѣдной сиротою, куда намъ Богъ путь укажетъ. А мы, гдѣ бы ты ни былъ и что бы съ тобою ни случилось, каждый день будемъ Бога молить о спасеніи грѣшной твоей души...

Казалось, суровая душа Пугачева была тронута.

— Инъ быть по-твоему!—сказалъ онъ:—казнить, такъ казнить, жаловать, такъ жаловать—таковъ мой обычай. Возьми себѣ свою красавицу, вези ее куда хочешь, и дай вамъ Богъ любовь да совѣтъ!

Тутъ онъ обратился къ Швабрину и велѣлъ выдать мнѣ пропускъ во всѣ заставы и крѣпости, подвластныя ему. Швабринъ, совсѣмъ уничтоженный, стоялъ, какъ остолбенѣлый. Пугачевъ отправился осматривать крѣпость....

Гриневъ отвезъ невѣсту къ своимъ родителямъ въ деревню, а самъ вернулся въ полкъ. По усмиреніи бунта его обвинили въ измѣнѣ, по доносу Швабрина. Марія Ивановна рѣшила ѣхать къ государынѣ и лично просить ее за жениха.

Марья Ивановна благополучно прибыла въ Софію и, узнавъ, что дворъ находился въ то время въ Царскомъ Селѣ, рѣшилась тутъ остановиться. Ей отвели уголокъ за перегородкой. Жена смотрителя тотчасъ съ нею разговорилась, объявила, что она—племянница придворнаго истопника, и посвятила ее во всѣ таинства придворной жизни. Она разсказала, въ которомъ часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофе, прогуливалась; какіе вельможи находились въ то время при ней; что изволила она вчерашній день говорить у себя за столомъ; кого принимала вечеромъ. Словомъ, разговоръ Анны Власьевны стоилъ нѣсколькихъ страницъ историческихъ записокъ и былъ бы драгоцѣненъ для

потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманіемъ. Онѣ пошли въ садъ. Анна Власьевна разсказала исторію каждой аллеи и каждаго кустика, и, нагулявшись, онѣ возвратились на станцію, очень довольныя другъ другомъ.

На другой день рано утромъ Марья Ивановна проснулась, одѣлась и тихонько пошла въ садъ. Утро было прекрасное, солнце освѣщало вершины липъ, пожелтѣвшихъ уже подъ свѣжимъ дыханіемъ осени. Широкое озеро сіяло неподвижно. Проснувшіеся лебеди важно выплывали изъ-подъ кустовъ, осѣняющихъ берегъ. Марья Ивановна пошла около прекраснаго луга, гдѣ только что поставленъ былъ памятникъ въ честь недавнихъ побѣдъ графа Петра Александровича Румянцева. Вдругъ бѣлая собачка англійской породы залаяла и побѣжала ей навстрѣчу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. Въ эту самую минуту раздался пріятный женскій голосъ:

— Не бойтесь, она не укуситъ.

И Марья Ивановна увидѣла даму, сидѣвшую на скамейкѣ противу памятника. Марья Ивановна сѣла на другомъ концѣ скамейки. Дама пристально на нее смотрѣла; а Марья Ивановна, съ своей стороны, бросивъ нѣсколько косвенныхъ взглядовъ, успѣла разсмотрѣть ее съ ногъ до головы. Она была въ бѣломъ утреннемъ платьѣ, въ ночномъ чепцѣ и въ душегрѣйкѣ. Ей казалось лѣтъ сорокъ. Лицо ея, полное и румяное, выражало важность и спокойствіе, а голубые глаза и легкая улыбка имѣли прелесть неизъяснимую. Дама первая прервала молчаніе.

— Вы, вѣрно, не здѣшняя?—сказала она.

— Точно такъ-съ:—я вчера только пріѣхала изъ провинціи.

— Вы пріѣхали съ вашими родными?

— Никакъ нѣтъ-съ, я пріѣхала одна.

— Одна! Но вы такъ еще молоды...

— У меня нѣтъ ни отца, ни матери.

— Вы здѣсь, конечно, по какимъ-нибудь дѣламъ?

— Точно такъ-съ. Я пріѣхала подать просьбу государынѣ.

— Вы сирота: вѣроятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?

— Никакъ нѣтъ-съ. Я пріѣхала просить милости, а не правосудія.

— Позвольте спросить, кто вы таковы?

— Я дочь капитана Миронова.

— Капитана Миронова! того самаго, что былъ комендантомъ въ одной изъ оренбургскихъ крѣпостей?

— Точно такъ-съ.

Дама, казалось, была тронута.

— Извините меня,—сказала она голосомъ еще болѣе ласковымъ:—если я вмѣшиваюсь въ ваши дѣла; но я бываю при дворѣ; изъясните мнѣ, въ чемъ состоитъ ваша просьба, и, можетъ быть, мнѣ удастся вамъ помочь.

Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все въ неизвѣстной дамѣ невольно привлекало сердце и внушало довѣренность. Марья Ивановна вынула изъ кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительницѣ, которая стала читать ее про себя.

Сначала она читала съ видомъ внимательнымъ и благосклоннымъ; но вдругъ лицо ея перемѣнилось—и Марья Ивановна, слѣдившая глазами за всѣми ея движеніями, испугалась строгому выраженію этого лица, за минуту столь пріятному и спокойному.

— Вы просите за Гринева?—сказала дама съ холоднымъ видомъ:—императрица не можетъ его простить. Онъ присталъ къ самозванцу не изъ невѣжества и легковѣрія, но какъ безнравственный и вредный негодяй.

— Ахъ, неправда!—вскрикнула Марья Ивановна.

— Какъ, неправда!—возразила дама, вся вспыхнувъ.

— Неправда, ей-Богу, неправда! Я знаю все, я все вамъ разскажу. Онъ для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если онъ не оправдался передъ судомъ, то развѣ потому только, что не захотѣлъ запутать меня.

Тутъ она съ жаромъ разсказала все, что уже извѣстно моему читателю.

Дама выслушала ее со вниманіемъ.

— Гдѣ вы остановились?—спросила она потомъ и услыша, что у Анны Власьевны, промолвила съ улыбкою:

— А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей

встрѣчѣ. Я надѣюсь, что вы не долго будете ждать отвѣта на ваше письмо.

Съ этимъ словомъ она встала и вышла въ крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась къ Аннѣ Власьевнѣ, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ея словамъ, для здоровья молодой дѣвушки. Она принесла самоваръ, и за чашкою чая только было принялась за безконечные разсказы о дворѣ, какъ вдругъ придворная карета остановилась у крыльца, и камеръ-лакей вошелъ съ объясненіемъ, что государыня изволитъ къ себѣ приглашать дѣвицу Миронову.

Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась.

— Ахти, Господи!—закричала она: —государыня требуетъ васъ ко двору. Какъ же это она про васъ узнала? Да какъ же вы, матушка, представитесь къ императрицѣ? Вы, я чай, и ступить по-придворному не умѣете... Не проводить ли мнѣ васъ? Все-таки я васъ хоть въ чемъ-нибудь да могу предостеречь. И какъ же вамъ ѣхать въ дорожномъ платьѣ? Не послать ли къ повивальной бабушкѣ за ея желтымъ роброномъ?

Камеръ-лакей объявилъ, что государынѣ угодно было, чтобъ Марья Ивановна ѣхала одна и въ томъ, въ чемъ ее застанутъ. Дѣлать было нечего: Марья Ивановна сѣла въ карету и поѣхала во дворецъ, сопровождаемая совѣтами и благословеніями Анны Власьевны.

Марья Ивановна предчувствовала рѣшеніе нашей судьбы; сердце ея сильно билось и замирало. Черезъ нѣсколько минутъ карета остановилась у дворца. Марья Ивановна съ трепетомъ пошла по лѣстницѣ. Двери передъ нею отворились настежь. Она прошла длинный рядъ пустыхъ великолѣпныхъ комнатъ: камеръ-лакей указывалъ дорогу. Наконецъ, подошедъ къ запертымъ дверямъ, онъ объявилъ, что сейчасъ объ ней доложитъ, и оставилъ ее одну.

Мысль увидѣть императрицу лицомъ къ лицу такъ устрашала ее, что она съ трудомъ могла держаться на ногахъ. Черезъ минуту двери отворились, и она вошла въ уборную государыни.

Императрица сидѣла за своимъ туалетомъ. Нѣсколько при-

дворныхъ окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково къ ней обратилась, и Марья Ивановна узнала въ ней ту даму, съ которой такъ откровенно объяснялась она нѣсколько минутъ тому назадъ. Государыня подозвала ее и сказала съ улыбкой:

— Я рада, что могла сдержать вамъ свое слово и исполнить вашу просьбу. Дѣло ваше кончено. Я убѣждена въ невинности вашего жениха. Вотъ письмо, которое сами потрудитесь отвезти къ будущему свекру.

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакавъ, упала къ ногамъ императрицы, которая подняла ее и поцѣловала. Государыня разговорилась съ нею.

— Знаю, что вы не богаты,—сказала она:—но я въ долгу передъ дочерью капитана Миронова. Не безпокойтесь о будущемъ. Я беру на себя устроить ваше состояніе.

Обласкавъ бѣдную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уѣхала въ той же придворной каретѣ. Анна Власьевна, нетерпѣливо ожидавшая ея возвращенія, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвѣчала кое-какъ. Анна Власьевна хотя и была недовольна ея безпамятствомъ, но приписала его провинціальной застѣнчивости и извинила великодушно. Въ тотъ же день Марья Ивановна, не полюбопытствовавъ взглянуть на Петербургъ, обратно поѣхала въ деревню.

Отдѣлъ пятый.

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВѢКЪ.

ИМПЕРАТОРЪ
Александръ I Благословенный
1801—1825 г.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА.

Въ началѣ нынѣшняго XIX-го столѣтія, почти всѣ европейскія государства испытали ужасы продолжительныхъ войнъ. Еще въ 1793 году во Франціи погибъ король Людовикъ XVI, и была провозглашена республика. Но такая форма правленія продолжалась недолго, всего 10 лѣтъ. Въ 1804 г. во Франціи былъ уже новый императоръ Наполеонъ I. Офицеръ французской арміи, Наполеонъ Бонапарте, большую часть жизни провелъ въ походахъ, отличился въ войнахъ съ Италіей и Австріей и пріобрѣлъ славу великаго полководца. Солдаты готовы были жизнь отдать за любимаго вождя. Побѣды укрѣпили властолюбіе Наполеона и честолюбивое желаніе единовластно править Франціей и вести ее по пути блестящихъ побѣдъ: онъ думалъ покорить себѣ весь міръ. Гордый своими побѣдами, онъ имѣлъ большое значеніе въ собраніяхъ Совѣта, правившаго Франціей, и принималъ большое участіе въ дѣлахъ государства. Народъ былъ утомленъ и недоволенъ правленіемъ своихъ избранниковъ, часто творившихъ несправедливости, и радъ былъ, когда Наполеонъ въ 1804 году принялъ предложенную ему французскую корону и санъ императора. Франція видѣла въ немъ великаго полководца и надѣялась найти въ немъ и мудраго правителя государства. Но не столько благоденствіе Франціи имѣлъ въ виду Наполеонъ, принимая корону, сколько одного себя, свое счастье, свою славу. Онъ думалъ, что, продолжая такъ же счастливо вести войны, какъ и раньше, онъ покоритъ себѣ всѣ государства Европы и прославитъ французскую армію. Вотъ какъ говоритъ Пушкинъ объ этомъ стремленіи Наполеона къ власти:

Когда, надеждой озаренный,
Отъ рабства пробудился міръ,

И галлъ [1]) десницей разъяренной
Низвергнулъ ветхій свой кумиръ;
Когда на площади мятежной
Во прахѣ царскій трупъ лежалъ [2]),
И день великій, неизбѣжный,
Свободы яркій день вставалъ;
Тогда въ волненьи бурь народныхъ,
Предвидя чудный свой удѣлъ,
Въ его надеждахъ благородныхъ
Ты человѣчество презрѣлъ.
Въ свое погибельное счастье
Ты дерзкой вѣровалъ душой;
Тебя плѣняло самовластье
Разочарованной красой.
И обновленнаго народа
Ты буйность юную смирилъ,
Новорожденная свобода,
Вдругъ онѣмѣвъ, лишилась силъ.
Среди рабовъ до упоенья
Ты жажду власти утолилъ,
Помчалъ къ боямъ ихъ ополченья,
Ихъ цѣпи лаврами обвилъ...

Наполеонъ не хотѣлъ щадить и не щадилъ никого: народы должны были покоряться ему. Коронами покоренныхъ враговъ распоряжался онъ какъ своими собственными: дарилъ ихъ своимъ братьямъ, дѣлалъ ихъ королями, а близкихъ родственниковъ принцами. Все свое могущество видѣлъ онъ въ одной только военной силѣ, не останавливаясь передъ затратами на вооруженіе, и войско у него было громадное. «Непобѣдимая» его армія вездѣ одерживала побѣды. Проходя постепенно всю Европу, Наполеонъ покорялъ государства одно за другимъ.—Пушкинъ продолжаетъ:

Ты велъ мечи на пиръ обильный;
Все пало съ шумомъ предъ тобой!
Европа гибла; сонъ могильный
Носился надъ ея главой.
Сбылось! Въ величіи постыдномъ
Ступилъ на грудь ея Колоссъ [3])!

Послѣдняя счастливая побѣда его надъ пруссаками, гдѣ были разбиты

---

[1]) Галлъ—французъ.
[2]) Людовникъ XVI.
[3]) Колоссъ—великанъ, исполинъ.

также и помогавшія имъ русскія войска, заключилась миромъ въ прусскомъ городѣ Тильзитѣ въ 1807 г.

Теперь Наполеонъ владѣлъ уже почти всей Европой: Италія, Австрія, Пруссія, вынуждены были признать его власть. Недоставало ему только одного владычества надъ Россіей, и онъ рѣшилъ двинуть въ эту сѣверную, полунощную страну, страну снѣговъ и морозовъ, свою непобѣдимую армію. Онъ твердо былъ убѣжденъ, что съ такимъ же торжествомъ войдетъ въ столицу Россіи, Москву, какъ входилъ въ столицы другихъ державъ, и также лишитъ престола императора Александра I, какъ лишалъ и другихъ государей. Армія его въ 600,000 человѣкъ, въ числѣ которыхъ были и австрійскія, и итальянскія, и прусскія войска, подъ предводительствомъ самого Наполеона, перешла русскую границу въ 1812 г. Россія могла выставить только 193.000 человѣкъ, и Наполеонъ не сомнѣвался въ успѣхѣ. Не предвидѣлъ онъ только, что на защиту родины встанетъ не одна армія, а поднимется весь народъ русскій; не отдастъ врагу свою столицу, а сожжетъ ее на глазахъ у великаго завоевателя. Погибла великая французская армія не въ однѣхъ битвахъ, а и въ снѣгахъ, и болотахъ, отъ холода и голода, преслѣдуемая и солдатами, и крестьянами. Не побѣдителемъ вернулся Наполеонъ въ Парижъ, а бѣглецомъ, одинъ, бросивъ на дорогѣ жалкіе остатки своей арміи. Непобѣдимый дотолѣ, онъ не упалъ однако духомъ, собралъ снова большое войско, но не было ему больше удачи; счастье измѣнило, покоренныя государства воспользовались неудачнымъ походомъ въ Россію, возстали; да и сама Франція тяготилась гнетомъ его военнаго могущества, и въ минуту несчастья Наполеону измѣнили всѣ,—и народъ, и генералы, и сенатъ, и придворные, и заставили своего императора отречься отъ престола не только за себя, но и за своихъ потомковъ: сынъ его, которому онъ хотѣлъ передать свой тронъ, такъ и не вступилъ на престолъ. Въ апрѣлѣ 1814 года, Наполеонъ простился съ солдатами,—своей старой гвардіей, и удалился на житье въ отведенный ему во владѣніе маленькій островъ Эльбу, на Средиземномъ морѣ, близъ Италіи. Но не скоро смирился гордый духъ Наполеона, и съ Эльбы смотрѣлъ онъ на далекіе берега потерянной имъ Европы, думая вернуть свою власть. Живя въ уединеніи на скалистомъ островѣ, «онъ новую въ мечтахъ Европѣ цѣпь ковалъ», онъ еще надѣялся, что «за галльскими орлами (французскими знаменами) съ мечомъ въ рукахъ побѣда полетитъ, кровавый токъ въ долинахъ закипитъ, и троны въ прахъ низвергну я громами, и сокрушу Европы дивный щитъ»... Не удалось уже снова Наполеону покорить

Европу, хотя и бѣжалъ онъ съ Эльбы въ 1815 г. и явился въ Парижъ съ преданнымъ войскомъ. Народъ радостно встрѣтилъ бывшаго императора, но собрать «великую армію» онъ уже не могъ, и разбитый англичанами Наполеонъ навсегда отказался отъ власти и былъ сосланъ на пустынный островъ святой Елены на Атлантическомъ океанѣ, гдѣ и умеръ въ 1821 г.

Много крови пролилъ Наполеонъ, много погубилъ народу, «и памятью его кровавой міръ долго, долго будетъ полнъ», но, несмотря на ненависть къ нему народовъ, имя его покрыто безсмертною славою великаго полководца. За свое властолюбіе онъ поплатился годами долгаго одиночества на о-вѣ св. Елены, лишенный семьи, друзей, власти и почета; войнами же своими онъ пробудилъ умы народовъ. Россія же, въ отечественную войну 1812 года, выполнила великую задачу и показала любовь свою къ родинѣ. Народъ русскій не жалѣлъ ни имущества, ни жизни, жертвовалъ всѣмъ во имя этой любви, защищая родную страну. На защиту эту шелъ онъ сознательно, по доброй волѣ, зная, что только одно общее народное мужество и спасетъ Россію отъ врага. Потому Пушкинъ и говоритъ про Наполеона:

Хвала!.. Онъ русскому народу
Высокій жребій указалъ,
И міру вѣчную свободу
Изъ мрака ссылки завѣщалъ.

Какъ только вѣсть о томъ, что Наполеонъ грозитъ войной, облетѣла Россію, все поднялось въ ней: и старики, и юноши шли въ ряды войска; всѣ, кто только могъ носить оружіе, поднимался на защиту родины. Всѣ горѣли ненавистью къ врагу. «Великую» французскую армію войска наши встрѣтили у западной границы и затѣмъ стали отступать въ глубь страны, разоряя по пути жилища и уничтожая хлѣбные запасы, чтобъ не доставались они врагу, который шелъ слѣдомъ. Рѣшительной битвы наши полководцы не давали и только по временамъ отдѣльные отряды сражались съ отрядами Наполеона. Наполеонъ же нетерпѣливо стремился скорѣе сразиться съ главными силами нашей арміи, разбить ее и войти побѣдителемъ въ Москву. Наконецъ, въ 100 верстахъ отъ Москвы, близъ села Бородина, 26 августа, произошло кровопролитное сраженіе. Бородинская битва, длившаяся цѣлый день, не рѣшила, на чьей сторонѣ побѣда;

потери съ обѣихъ сторонъ были почти одинаковы; русскіе и французы потеряли вмѣстѣ 100,000 человѣкъ. На другой день, русскія войска отступили къ Москвѣ. Наполеонъ слѣдовалъ за ними; остановился въ двухъ верстахъ отъ Москвы и ждалъ, когда же принесутъ ему извѣстіе, что Москва сдается, и онъ побѣдителемъ войдетъ въ нее. Но вотъ ему доносятъ, что ни войска, ни жителей въ Москвѣ нѣтъ. Наполеонъ не вѣритъ; однако, ждать больше нечего, и онъ, разгнѣванный, безъ всякой торжественной встрѣчи вступаетъ въ пустую Москву. Древняя столица точно вымерла; на улицахъ ни души, ворота заперты, окна заколочены. Наполеонъ среди могильной тишины въѣзжаетъ въ Кремль и занимаетъ царскіе покои во дворцѣ. Въ ту же ночь пожаръ охватилъ всю Москву; огненнымъ моремъ разлился онъ изъ конца въ конецъ; тушить было некому и нечѣмъ. За нѣсколько же дней передъ этимъ Москва кишѣла, какъ пчелиный улей: окна, ворота открыты настежь; на дворахъ поспѣшно укладываютъ на возы имущество, улицы запружены каретами, телѣгами, возами; всѣ—богатые, бѣдные, дворяне, купцы, духовенство, ремесленники спѣшатъ покинуть Москву. Вмѣстѣ съ горожанами покидаютъ Москву и войска: главнокомандующимъ Кутузовымъ отданъ приказъ пройти черезъ Москву на рязанскую дорогу. Въ полномъ порядкѣ, безмолвно двигается наша армія, и столица пустѣетъ. Оставшіеся жители получаютъ приказъ зажечь Москву, какъ только французы займутъ ее, и въ назначенный день Москва запылала. Пожаръ не прекращался четыре дня, сгорѣло до восьми тысячъ зданій и на нѣсколько сотъ милліоновъ имущества. Все, что уцѣлѣло отъ пожара, разграбили французы. Озлобленные, утомленные походомъ, не найдя въ Москвѣ достаточнаго количества съѣстныхъ припасовъ, солдаты Наполеона обирали оставшихся жителей; не щадили ни церквей, ни иконъ, рубили и жгли ихъ вмѣсто дровъ. Наступала осень, а съ нею и холода, къ которымъ французы не привыкли; солдаты кутались во все, что попадало подъ руку: женскія кофты, священническія ризы, шубы. Съ холодомъ и голодомъ шли и повальныя болѣзни. Наполеонъ обѣщаетъ щедрую плату за подвозъ хлѣба, но никто не выручалъ его изъ бѣды; ни одинъ русскій не хочетъ продавать хлѣба врагу. Вѣсть о потерѣ Москвы и безчинствахъ французовъ и ругательства ихъ надъ московскими святынями ожесточили русскій народъ; теперь уже не одно правильное войско готово на борьбу съ врагомъ, всякій способный носить оружіе идетъ въ ополченіе, вся Россія превращается въ огромный военный станъ: поля заброшены, плуги и сохи лежатъ на дворахъ, а крестьяне, вооруженные чѣмъ попало—вилами, косами, топорами—вездѣ стерегутъ французовъ и безъ пощады

истребляютъ цѣлые отряды ихъ, выходящіе на поиски за провизіей. Наполеонъ видитъ, что гибель арміи неизбѣжна, рѣшается покинуть Москву, и 6 октября отдаетъ приказъ о выступленіи. Голодные солдаты въ лохмотьяхъ въ безпорядкѣ покидаютъ Москву. Идти обратно приходится по разоренной ими же дорогѣ, настаетъ зима, нѣтъ ни съѣстныхъ припасовъ, ни теплой одежды, французы падаютъ безъ силъ на дорогѣ и умираютъ отъ голода, замерзаютъ или попадаютъ въ руки крестьянамъ, которые безъ пощады пристрѣливаютъ и прикалываютъ всякаго француза. Войско русское неустанно преслѣдуетъ съ тыла остатки «великой» арміи, захватываетъ въ плѣнъ генераловъ и офицеровъ и гонитъ непріятеля вонъ изъ русскихъ предѣловъ. У рѣки Березины при переправѣ гибнутъ тысячи бѣглецовъ, самъ Наполеонъ чуть не попадаетъ въ плѣнъ и, бросивъ жалкіе остатки 600,000 арміи, бѣжитъ одинъ въ Парижъ.

Главнокомандующимъ русской арміей въ началѣ отечественной войны былъ Барклай-де-Толли. Знаменитый опытный полководецъ хорошо обдумалъ планъ своихъ дѣйствій; онъ зналъ, что прежде чѣмъ разбить французское войско, втрое превосходящее численностью русское, надо завлечь его подальше вглубь незнакомой страны, утомить и разстроить постоянными мелкими нападеніями, и только тогда уже дать рѣшительное сраженіе. Выполняя задуманный планъ, онъ отступалъ передъ грозно надвигавшейся французской арміей, выжидая удобнаго времени для рѣшительнаго боя. Никто не понималъ его плана; солдаты рвались въ бой, всѣмъ хотѣлось помѣряться силами съ врагомъ, а главнокомандующій все отдаетъ приказы объ отступленіи. Въ войскахъ поднимается глухой ропотъ; солдаты уже не встрѣчаютъ своего полководца криками «ура», и мрачно выслушиваютъ приказы объ отступленіи. Изъ войска ропотъ и недовольство шло въ народъ и въ высшіе классы, и уже при дворѣ императора стали раздаваться недовольные голоса. Императоръ Александръ I, видя такое положеніе дѣлъ, назначилъ главнокомандующимъ князя Голенищева-Кутузова, а Барклай-де-Толли остался въ рядахъ арміи простымъ генераломъ. Настроеніе войска сразу измѣнилось: армія радостно привѣтствовала новаго главнокомандующаго, прославившаго себя еще въ войнахъ при императрицѣ Екатеринѣ Великой. Ему приходилось сталкиваться съ Наполеономъ уже раньше, когда Россія въ 1805 г. помогала австрійцамъ. Теперь Кутузову было уже 67 лѣтъ, но онъ былъ еще бодръ. Кутузовъ оцѣнилъ вполнѣ осторожныя распоряженія Барклая-де-Толли и видѣлъ, что постояннымъ отсту-

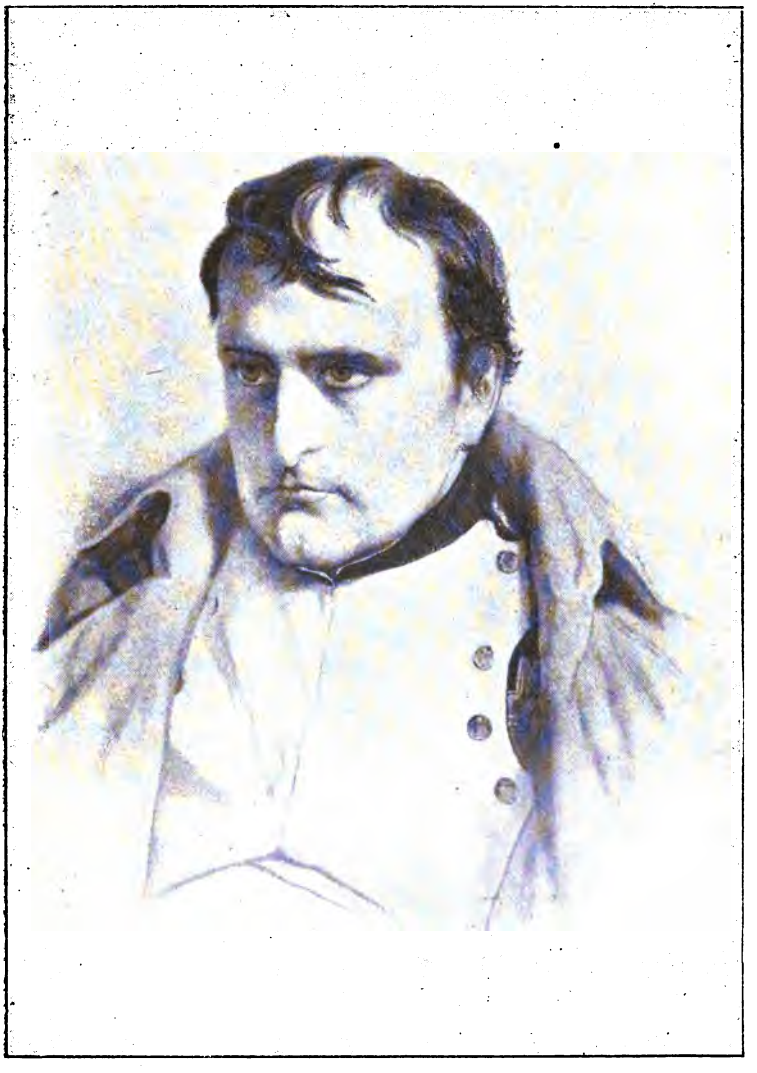
пленіемъ прежній главнокомандующій спасъ русскую армію и подготовилъ гибель Наполеону. Французы были уже далеко внутри Россіи и можно было подумать о рѣшительной битвѣ. Остановившись на Бородинскомъ полѣ, въ 100 верстахъ отъ Москвы, Кутузовъ велѣлъ строить укрѣпленія и готовиться къ бою. Войско возликовало и, несмотря на то, что французовъ было больше, никто не боялся предстоящаго сраженія. Русскихъ на Бородинскомъ полѣ стояло 100,000 ч., французовъ же 130,000. Бой Бородинскій 26 августа, былъ отчаянный: ни офицеры, ни солдаты обѣихъ армій не жалѣли себя, укрѣпленія переходили нѣсколько разъ въ руки непріятеля и снова возвращались къ намъ. Къ ночи на Бородинскомъ полѣ лежало 70.000 труповъ. На другой день, главнокомандующій отдалъ приказъ отступать къ Москвѣ. 1-го сентября армія наша остановилась въ 2-хъ верстахъ отъ Москвы. На военномъ совѣтѣ, въ деревнѣ Филяхъ, генералы совѣтовали главнокомандующему дать подъ Москвой еще битву и отстоять столицу, но Кутузовъ рѣшилъ поступить иначе; онъ сказалъ: „если отдадимъ непріятелю Москву, Россія еще не погибла, если же мы потеряемъ войско, погубимъ и всю Россію. Наполеонъ займетъ теперь Москву и найдетъ въ ней гибель себѣ и арміи". Вотъ, почему и отданъ былъ приказъ войскамъ объ отступленіи черезъ Москву по дорогѣ къ Рязани. Не понимаютъ офицеры и солдаты, почему отдаютъ безъ боя непріятелю древнюю столицу; но они вѣрятъ своему вождю, не подозрѣваютъ его въ измѣнѣ и хотя уныло и безмолвно, но въ полномъ порядкѣ проходятъ черезъ Москву, оставляя за собой врага, съ которымъ готовы бы схватиться опять, какъ на Бородинскомъ полѣ. Одинъ только Кутузовъ могъ отдать Москву непріятелю, не возбудивъ ропота; ему только вѣрилъ народъ и войско, и ему обязана Россія спасеніемъ въ великую отечественную войну. Обоимъ главнокомандующимъ — Барклаю-де-Толли и Кутузову — поставлены памятники въ Петербургѣ на площади передъ Казанскимъ соборомъ: темно-бронзовыя во весь ростъ статуи ихъ въ накинутыхъ плащахъ стоятъ на высокихъ гранитныхъ пьедесталахъ. Въ Казанскомъ же соборѣ, гдѣ стѣны увѣшаны непріятельскими знаменами, отнятыми во время войны съ французами, покоится и прахъ Кутузова.

Императоръ Александръ I Благословенный, (1801—1825 г.), вступая на престолъ прежде всего подумалъ о благѣ и процвѣтаніи Россіи. Онъ не искалъ воевать и мечталъ о счастьи не только своихъ подданныхъ, но и

о благоденствіи и процвѣтаніи въ мирѣ и тишинѣ всѣхъ народовъ и всеобщемъ ихъ братствѣ. Но войны Наполеона почти со всѣми европейскими государями разбили эти мечты, а нашествіе Наполеона на Россію заставило государя отказаться отъ мирныхъ намѣреній и обратиться къ своему народу съ воззваніемъ вооружиться и встать на защиту родины. «Соединитесь всѣ, — говорилъ государь — съ крестомъ въ сердцѣ и съ оружіемъ въ рукахъ; никакія силы человѣческія васъ не одолѣютъ». Народъ откликнулся на это воззваніе, и всѣ способные носить оружіе брались за него и клялись или умереть, или побѣдить. Самъ императоръ, послѣ сдачи Москвы, поклялся отмстить за отечество: «Я не положу оружія,—говорилъ императоръ,—доколѣ ни единаго непріятельскаго войска не останется въ царствѣ моемъ». Послѣ переправы черезъ рѣку Березину, когда Россія была уже очищена отъ врага, императоръ Александръ рѣшился встать на защиту покоренныхъ Наполеономъ государствъ и освободить ихъ отъ его господства. Гибель «великой арміи» придала бодрости покореннымъ; они какъ бы подняли головы и съ радостью примкнули къ императору Александру.

И чела приподнявъ изъ мрачности гробовъ—говоритъ Пушкинъ,—
Народы падшіе подъ бременемъ оковъ,
Тяжелой цѣпію съ восторгомъ потрясали,
И съ робкой радостью другъ друга вопрошали:
„Ужель свободны мы? Ужели грозный палъ!“

Первою присоединилась къ русскимъ войскамъ Пруссія; потомъ, Швеція, Австрія и Англія; составилось союзное войско и, побѣждая по пути вновь собранныя Наполеономъ войска, оно подвигалось къ Парижу. Подъ Парижемъ произошла битва; но французы не могли отстоять своей столицы, и Парижъ сдался. 18-го марта 1814 г., императоръ Александръ I и король прусскій торжественно вступили въ столицу Франціи, и Александръ I даровалъ Франціи — миръ. Вліяніе Россіи, какъ освободительницы Европы, было такъ велико, что многіе государи опасались, чтобы императоръ Александръ не сдѣлался для нихъ тѣмъ, чѣмъ былъ недавно Наполеонъ, т.-е. властелиномъ всей Европы. Но Александръ Благословенный думалъ только о водвореніи спокойствія въ Европѣ и благоденствіи народовъ. Благодаря его миролюбивымъ намѣреніямъ и великодушію, свиданіе европейскихъ государей въ Вѣнѣ, послѣ низложенія Наполеона, кончилось всеобщимъ европейскимъ миромъ. Всѣ государства получили обратно отнятыя у нихъ Наполеономъ владѣнія. Александръ I вернулся въ Россію; народъ встрѣчалъ его восторженными кликами. И старые екатерининскіе вельможи



Наполеонъ I,
императоръ французовъ
1804—1815 г.

и воины, и молодое русское войско, и народъ радостно привѣтствовали своего государя. Въ память отечественной войны императоръ Николай I, въ 1834 г., поставилъ въ Петербургѣ на площади передъ Зимнимъ Дворцомъ гранитную колонну съ ангеломъ мира, на вершинѣ ея, и съ надписью: «Александру I—Благодарная Россія». Въ Москвѣ же, въ память объ этой войнѣ, при императорѣ Николаѣ I, заложенъ былъ храмъ Спасителя и оконченъ при императорѣ Александрѣ III. 25-го декабря, въ день Рождества Христова, во всѣхъ церквахъ совершается и до настоящаго времени торжественное молебствіе въ память избавленія отъ нашествія «галловъ» (французовъ) и съ ними «двадесяти языковъ».

В. О.

I.

НАПОЛЕОНЪ.

(1821 г.)

Чудесный жребій совершился:
Угасъ великій человѣкъ,
Въ неволѣ мрачной закатился
Наполеона грозный вѣкъ.
Исчезъ властитель осужденный,
Могучій баловень побѣдъ,
И для изгнанника вселенной
Уже потомство настаетъ.
О ты, чьей памятью кровавой
Міръ долго, долго будетъ полнъ,
Пріосѣненъ твоею славой,
Почій среди пустынныхъ волнъ!
Великолѣпная могила...
Надъ урной [1]), гдѣ твой прахъ лежитъ,
Народовъ ненависть почила,
И лучъ безсмертія горитъ...
Когда, надеждой озаренный,
Отъ рабства пробудился міръ,
И галлъ [2]) десницей разъяренной
Низвергнулъ ветхій свой кумиръ;
Когда на площади мятежной

---

[1]) Урна—ваза, въ которой хранился у грековъ пепелъ сжигаемаго трупа; здѣсь подъ урной понимается могила Наполеона.

[2]) Французъ.

Во прахѣ царскій трупъ лежалъ [1])
И день великій, неизбѣжный,
Свободы яркій день вставалъ,—
Тогда, въ волненьи бурь народныхъ,
Предвидя чудный свой удѣлъ,
Въ его надеждахъ благородныхъ
Ты человѣчество презрѣлъ.
Въ свое погибельное счастье
Ты дерзкой вѣровалъ душой;
Тебя плѣняло самовластье
Разочарованной красой.
И обновленнаго народа
Ты буйность юную смирилъ.
Новорожденная свобода,
Вдругъ онѣмѣвъ, лишилась силъ
Среди рабовъ, до упоенья
Ты жажду власти утолилъ,
Помчалъ къ боямъ ихъ ополченья,
Ихъ цѣпи лаврами обвилъ...
Ты велъ мечи на пиръ обильный;
Все пало съ шумомъ предъ тобой!
Европа гибла; сонъ могильный
Носился надъ ея главой.
Сбылось! Въ величіи постыдномъ
Ступилъ на грудь ея колоссъ! [2])
Тильзитъ—при звукѣ семъ обидномъ
Теперь не поблѣднѣетъ россъ— [3])
Тильзитъ, надменнаго героя
Послѣдней славою вѣнчалъ,
Но скучный миръ, но хладъ покоя
Счастливца душу волновалъ.
Надменный, кто тебя подвигнулъ?
Кто обуялъ твой дивный умъ?
Какъ сердца русскихъ не постигнулъ

---

[1]) Людовикъ XVI—король французскій.
[2]) Великанъ.
[3]) Русскій.

Ты съ высоты отважныхъ думъ?
Великодушнаго пожара
Не предузнавъ, ужъ ты мечталъ,
Что мира вновь мы ждемъ какъ дара;
Но поздно русскихъ разгадалъ...
Искуплены его стяжанья
И зло воинственныхъ чудесъ—
Тоскою душнаго изгнанья,
Подъ сѣнью чуждою небесъ.
И знойный островъ заточенья
Полнощный парусъ посѣтитъ,
И путникъ слово примиренья
На ономъ камнѣ начертитъ.
Гдѣ, устремивъ на волны очи,
Изгнанникъ помнилъ звукъ мечей,
И льдистый ужасъ полуночи,
И небо Франціи своей;
Гдѣ иногда, въ своей пустынѣ,
Забывъ войну, потомство, тронъ,
Одинъ, одинъ, о миломъ сынѣ
Въ унынии горькомъ думалъ онъ.
Да будетъ омраченъ позоромъ
Тотъ малодушный, кто въ сей день
Безумнымъ возмутитъ укоромъ
Его развѣнчанную тѣнь!
Хвала!.. Онъ русскому народу
Высокій жребій указалъ,
И міру—вѣчную свободу
Изъ мрака ссылки завѣщалъ.

II.

НАПОЛЕОНЪ НА ЭЛЬБѢ [1]).

(1815 г.)

Вечерняя заря въ пучинѣ догорала,
Надъ мрачной Эльбою носилась тишина;
Сквозь тучи блѣдныя тихонько пробѣгала
Туманная луна;
Уже на западѣ, сѣдой одѣтый мглою,
Съ равниной синихъ водъ сливался небосклонъ;
Одинъ во тьмѣ ночной надъ дикою скалою
Сидѣлъ Наполеонъ.
Въ умѣ губителя тѣснились мрачны думы:
Онъ новую въ мечтахъ Европѣ цѣпь ковалъ,
И къ дальнимъ берегамъ возведши взоръ угрюмый
Свирѣпо прошепталъ:
—„Вокругъ меня все мертвымъ сномъ почило,
Легла въ туманъ пучина бурныхъ волнъ,
Не выплыветъ ни утлый въ море челнъ,
Ни гладный звѣрь не взвоетъ надъ могилой.
Я здѣсь одинъ, мятежной думы полнъ...
О, скоро ли, напѣнясь подъ рулями,
Меня помчитъ покорная волна,
И спящихъ водъ прервется тишина?...
Волнуйся, ночь, надъ эльбскими скалами,
Мрачнѣе тьмись за тучами луна!
Тамъ ждутъ меня безстрашныя дружины;
Уже сошлись, уже сомкнуты въ строй!
Ужъ міръ лежитъ въ оковахъ предо мной!
Прейду я къ вамъ сквозь черныя пучины,
И гряну вновь погибельной грозой!
И вспыхнетъ брань! За галльскими орлами,

[1]) Эльба—итальянскій островъ на Средиземномъ морѣ, гористый и мрачный. Здѣсь съ 4 мая 1814 г. по 26 февраля 1815 г. жилъ Наполеонъ въ ссылкѣ.

Съ мечомъ въ рукахъ, побѣда полетитъ,
Кровавый токъ въ долинахъ закипитъ,
И троны въ прахъ низвергну я громами,
И сокрушу Европы дивный щитъ!...
Но вкругъ меня все мертвымъ сномъ почило,
Легла въ туманъ пучина бурныхъ волнъ,
Не выплыветъ ни утлый въ море челнъ,
Ни гладный звѣрь не взвоетъ надъ могилой —
Я здѣсь одинъ, мятежной думы полнъ.....
„О счастье! злобный обольститель!
И ты, какъ сладкій сонъ, сокрылось отъ очей,
Средь бурей тайный мой хранитель
И вѣрный пестунъ [1]) съ юныхъ дней!
Давно-ль невидимой стезею
Меня ко трону ты вело,
И скрыло дерзостной рукою
Въ вѣнцахъ лавровое чело?
Давно ли съ трепетомъ народы
Несли мнѣ робко дань свободы,
Знамена чести преклоня;
Дымились громы вкругъ меня,
И слава въ блескѣ надъ главою
Неслась, прикрывъ меня крыломъ?...
Но туча грозная нависла надъ Москвою,
И грянулъ мести громъ!.....
Полнощи царь младой [2]), ты двинулъ ополченья —
И гибель вслѣдъ пошла кровавымъ знаменамъ,
Отозвалось могущаго паденье,
И миръ землѣ, и радость небесамъ;
А мнѣ — позоръ и заточенье!....
И тихо все кругомъ. Въ безмолвіи ночей
Напрасно чудится мнѣ смерти завыванье,
И стукъ блистающихъ мечей,
И падшихъ ярое стенанье.
Лишь плещущимъ волнамъ внимаетъ жадный слухъ:

---

[1]) Воспитатель.
[2]) Императоръ Александръ I.

Умолкъ сраженій кликъ знакомый,
Вражды кровавой гаснутъ громы
И факелъ мщенія потухъ.
Но близокъ часъ! Грядетъ минута роковая!....
Страшись, о Галлія [1])! Европа, мщенье, мщенье!
Рыдай! твой бичъ возсталъ—и все падетъ во прахъ,
Все гибнетъ—и тогда, въ всеобщемъ разрушеньѣ,
Царемъ возсяду на гробахъ!"
Умолкъ. На небесахъ лежали мрачны тѣни,
И мѣсяцъ, дальнихъ тучъ покинувъ темны сѣни,
Дрожащій, слабый свѣтъ на западъ изливалъ,
Восточная звѣзда играла въ океанѣ,
И зрѣлая ладья, бѣгущая въ туманѣ
Подъ сводомъ эльбскихъ грозныхъ скалъ....

III.

ИЗЪ ВОСПОМИНАНІИ ВЪ ЦАРСКОМЪ СЕЛѢ.

1812-й годъ.

Блеснулъ кровавый мечъ въ неукротимой длани
Коварствомъ, дерзостью вѣнчаннаго царя [2]);
Возсталъ вселенной бичъ—и вскорѣ лютой брани
Зардѣлась грозная заря,
И быстрымъ понеслись потокомъ
Враги на русскія поля.
Предъ ними мрачна степь лежитъ во снѣ глубокомъ,
Дымится кровію земля,
И села мирныя, и грады въ мглѣ пылаютъ,
И небо заревомъ одѣлося вокругъ,
Лѣса дремучіе бѣгущихъ укрываютъ,
И праздный въ полѣ ржавитъ плугъ....

---

[1]) Франція.
[2]) Наполеона.

Страшись, о рать иноплеменныхъ!
Россіи двинулись сыны;
Возсталъ и старъ, и младъ, летятъ на дерзновенныхъ, —
Сердца ихъ мщеньемъ возжены.
Вострепещи, тиранъ! Ужъ близокъ часъ паденья!
Ты въ каждомъ ратникѣ узришь богатыря.
Ихъ цѣль: иль побѣдить, иль пасть въ пылу сраженья
За вѣру, за царя.
Ретивы кони бранью пышутъ,
Усѣянъ ратниками долъ,
За строемъ строй течетъ, всѣ мѐстью, славой дышутъ,
Восторгъ во грудь ихъ перешелъ.
Летятъ на грозный пиръ, мечамъ добычи ищутъ,
И се—пылаетъ брань; на холмахъ громъ гремитъ,
Въ сгущенномъ воздухѣ съ мечами стрѣлы свищутъ,
И брызжетъ кровь на щитъ.
Сразились—русскій побѣдитель!
И вспять бѣжитъ надменный галлъ;
Но сильнаго въ бояхъ небесный Вседержитель
Лучемъ послѣднимъ увѣнчалъ:
Не здѣсь его сразилъ воитель посѣдѣлый [1]);
О, бородинскія кровавыя поля!
Не вы—неистовству и гордости предѣлы:
Увы, на башняхъ галлъ Кремля!..
Края Москвы, края родные,
Гдѣ на зарѣ цвѣтущихъ лѣтъ
Часы безпечности я тратилъ золотые,
Не зная горестей и бѣдъ,
И вы ихъ видѣли, враговъ моей отчизны,
И васъ багрила кровь, и пламень пожиралъ!
И въ жертву не принесъ я мщенья вамъ и жизни.
Вотще лишь гнѣвомъ духъ пылалъ!
Гдѣ ты, краса Москвы стоглавой,
Родимой прелесть стороны?
Гдѣ прежде взору градъ являлся величавый,
Развалины теперь одни.

---

[1]) Кутузовъ.

Москва! сколь русскому твой зракъ унылый страшенъ:
Исчезли зданія вельможей и царей,
Все пламень истребилъ, вѣнцы затмились башенъ,
Чертоги пали богачей.
И тамъ, гдѣ роскошь обитала,
Въ тѣнистыхъ рощахъ и садахъ,
Гдѣ миртъ благоухалъ и липа трепетала,
Тамъ нынѣ угли, пепелъ, прахъ;
Въ часы безмолвные прекрасной лѣтней нощи
Веселье шумное туда не полетитъ,
Не блещутъ ужъ въ огняхъ брега и свѣтлы рощи —
Все мертво, все молчитъ...
Утѣшься, мать градовъ Россіи,
Воззри на гибель пришлеца.
Отяготѣла днесь на ихъ надменной выи
Десница мстящая Творца.
Взгляни: они бѣгутъ, озрѣться не дерзаютъ,
Ихъ кровь не престаетъ въ снѣгахъ рѣками течь,
Бѣгутъ—и въ тьмѣ ночной ихъ гладъ и смерть срѣтаютъ,
А съ тыла гонитъ россовъ мечъ.
О вы, которыхъ трепетали
Европы сильны племена,
О галлы хищные! и вы въ могилы пали...
О страхъ! о грозны времена!

IV.

ПОЛКОВОДЕЦЪ [1]).

(1835 г.)

У русскаго царя въ чертогахъ есть палата [2]):
Она не золотомъ, не бархатомъ богата,
Не въ ней алмазъ вѣнца хранится подъ стекломъ;
Но сверху до низу, во всю длину, кругомъ,
Своею кистію свободной и широкой
Ее разрисовалъ художникъ быстроокій.... [3])
Толпою тѣсною художникъ помѣстилъ
Сюда начальниковъ народныхъ нашихъ силъ,
Покрытыхъ славою чудеснаго похода
И вѣчной памятью двѣнадцатаго года.
Нерѣдко медленно межъ ними я брожу,
И на знакомые ихъ образы гляжу,
И, мнится, слышу ихъ воинственные клики.
Изъ нихъ ужъ многихъ нѣтъ; другіе, коихъ лики
Еще такъ молоды на яркомъ полотнѣ,
Уже состарились и никнутъ въ тишинѣ
Главою лавровой.
Но въ сей толпѣ суровой
Одинъ меня влечетъ всѣхъ больше. Съ думой новой
Всегда остановлюсь предъ нимъ, и не свожу
Съ него моихъ очей. Чѣмъ долѣе гляжу,
Тѣмъ болѣе томимъ я грустію тяжелой.
Онъ писанъ во весь ростъ. Чело, какъ черепъ голый,
Восоко лоснится, и, мнится, залегла
Тамъ грусть великая. Кругомъ—густая мгла;
За нимъ—военный станъ. Спокойный и угрюмый,
Онъ, кажется, глядитъ съ презрительною думой....

---

[1]) Барклай-де-Толли.

[2]) Галлерея въ Петербургѣ, въ Зимнемъ Дворцѣ, украшенная портретами полководцевъ двѣнадцатаго года.

[3]) Англійскій художникъ Доу.

О, вождь несчастливый! суровъ былъ жребій твой:
Все въ жертву ты принесъ землѣ тебѣ чужой [1]).
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
Въ молчаньи шелъ одинъ ты съ мыслію великой;
И въ имени твоемъ звукъ чуждый не взлюбя,
Своими криками преслѣдуя тебя,
Народъ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался надъ твоей священной сѣдиною,
И тотъ, чей острый умъ тебя и постигалъ,
Въ угоду имъ, тебя лукаво порицалъ...
И долго, укрѣпленъ могущимъ убѣжденьемъ,
Ты былъ неколебимъ предъ общимъ заблужденьемъ;
И на полупути былъ долженъ, наконецъ,
Безмолвно уступить и лавровый вѣнецъ,
И власть, и замыселъ, обдуманный глубоко,—
И въ полковыхъ рядахъ сокрыться одиноко.
Тамъ, устарѣлый вождь, какъ ратникъ молодой,
Свинца веселый свистъ заслышавшій впервой,
Бросался ты въ огонь, ища желанной смерти,—
Вотще!....

V.

„МОГИЛА КУТУЗОВА“.

(1831 г.)

Передъ гробницею святой [2])
Стою съ поникшею главой...
Все спитъ кругомъ; однѣ лампады
Во мракѣ храма золотятъ
Столбовъ гранитныя громады
И ихъ знаменъ нависшій рядъ.

[1]) Неточность этого выраженія Пушкина указана впослѣдствіи учеными: Барклай родился въ Россіи, былъ нѣмецъ только по происхожденію.

[2]) Могила эта въ Петербургѣ въ Казанскомъ соборѣ.

Подъ ними спитъ сей властелинъ,
Сей идолъ сѣверныхъ дружинъ,
Маститый [1]) стражъ страны державной,
Смиритель всѣхъ ея враговъ,
Сей остальной изъ стаи славной
Екатерининскихъ орловъ.
Въ твоемъ гробу восторгъ живетъ!
Онъ русскій гласъ намъ издаетъ;
Онъ намъ твердитъ о той годинѣ,
Когда народной вѣры гласъ
Воззвалъ къ святой твоей сѣдинѣ:
„Иди, спасай!“ Ты всталъ и спасъ...

VI.

НА ВОЗВРАЩЕНІЕ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I ИЗЪ ПАРИЖА ВЪ 1815 ГОДУ.

Утихла брань племенъ; въ предѣлахъ отдаленныхъ
Не слышенъ битвы шумъ и голосъ трубъ военныхъ;
Съ небесной высоты, при звукѣ стройныхъ лиръ,
На землю мрачную нисходитъ свѣтлый миръ.
Свершилось!... Русскій царь, достигъ ты славной цѣли!
Вотще надменные на родину летѣли;
Вотще, впреди знаменъ безчисленныхъ дружинъ,
Въ могущей дерзости, вѣнчанный исполинъ
На гибель грозно шелъ, влекъ цѣпи за собою:
Мечъ огненный блеснулъ за дымною Москвою,
Звѣзда губителя потухла въ вѣчной мглѣ,
И пламенный вѣнецъ померкнулъ на челѣ!

[1]) Престарѣлый.

Содрогся счастья сынъ, и, брошенный судьбою,
Онъ землю русскую не взвидѣлъ подъ собою.
Бѣжитъ... и смерти громъ слетѣлъ ему вослѣдъ;
И съ трона гордый палъ... и вновь возсталъ... и нѣтъ!
Тебѣ, нашъ храбрый царь, хвала, благодаренье!
Когда полки враговъ покрыли отдаленье,
Во броню ополчась, взложивъ пернатый шлемъ,
Колѣна преклонивъ предъ вышнимъ алтаремъ,
Ты браней мечъ извлекъ, и клятву далъ святую
Отъ ига оградить страну свою родную.
Мы вняли клятвѣ сей: и гордыя сердца
Въ восторгѣ пламенномъ летѣли вслѣдъ отца,
И смертью роковой горѣли и дрожали;
И россы предъ врагомъ твердыней грозной стали!..
Къ мечамъ!—раздался кликъ, и вихремъ понеслись;
Знамена, воспумѣвъ, по вѣтру развились,
Обнялся съ братомъ братъ, и милымъ дали руку
Младые ратники на грустную разлуку;
Сразились: воспылалъ свободы ярый бой,
И смерть хватала ихъ холодною рукой!....
О, сколь величественъ, безсмертный, ты явился,
Когда на сильнаго съ сынами устремился;
И, чела приподнявъ изъ мрачности гробовъ,
Народы, падшіе подъ бременемъ оковъ,
Тяжелой цѣпію съ восторгомъ потрясали
И съ робкой радостью другъ друга вопрошали:
„Ужель свободны мы?... Ужели грозный палъ?...
Кто смѣлый, кто въ громахъ на сѣверѣ возсталъ?...“
И ветхую главу Европа преклонила,
Царя-спасителя колѣна окружила—
Освобожденною отъ рабскихъ узъ рукой,
И власть мятежная исчезла предъ тобой!....
И нынѣ ты къ сынамъ, о царь нашъ, возвратился,
И край полуночи восторгомъ озарился!
Склони на свой народъ смиренья полный взглядъ:
Всѣ лица радостью, любовію блестятъ.
Внемли: повсюду вѣсть отрадная несется,
Повсюду гордый кликъ веселья раздается;

По стогнамъ [1]) шумъ, вездѣ сіяетъ торжество,
И ты среди толпы, Россіи божество!
Встрѣчать вождя побѣдъ летятъ твои дружины;
Старикъ, счастливый вѣкъ забывъ Екатерины,
Взираетъ на тебя съ безмолвною слезой....
И придутъ времена спокойствія златыя,
Покроетъ шлемы ржа [2]), и стрѣлы каленыя,
Въ колчанахъ скрытыя, забудутъ свой полетъ;
Счастливый селянинъ, не зная бурныхъ бѣдъ,
По нивамъ повлечетъ плугъ, миромъ изощренный;
Суда летучія, торговлей окрыленны,
Кормами разсѣкутъ свободный океанъ;
И юные сыны воинственныхъ славянъ
Спокойной праздности съ досадой предадутся,
И молча нѣкогда вкругъ старца соберутся,
Преклонятъ жадный слухъ — и ветхимъ костылемъ
И станъ, и ратный строй, и дальній боръ съ холмомъ —
На прахѣ начертитъ онъ медленно предъ ними;
Словами истины, свободными, простыми,
Имъ славу прошлыхъ лѣтъ въ разсказахъ оживитъ
И добраго царя въ слезахъ благословитъ.

---

[1]) Площади.
[2]) Ржавчина.

Площадь Казанскаго собора, съ памятниками Кутузова и Барклая-де-Толли.

Отдѣлъ шестой:

РУССКАЯ ПРИРОДА И ЖИЗНЬ.

I.

ПРИРОДА.

1.

ИЗЪ РОМАНА «ЕВГЕНІИ ОНѢГИНЪ».

Понимы вешними лучами,
Съ окрестныхъ горъ уже снѣга
Сбѣжали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сонъ встрѣчаетъ утро года:
Синѣя, блещутъ небеса,
Еще прозрачные, лѣса
Какъ будто пухомъ зеленѣютъ.
Пчела за данью полевой
Летитъ изъ кельи восковой.
Долины сохнутъ и пестрѣютъ;
Стада шумятъ, и соловей
Ужъ пѣлъ въ безмолвіи ночей...

2.

Только что на проталинахъ весеннихъ
Показались ранніе цвѣточки,
Какъ изъ царства воскового,
Изъ душистой келейки медовой
Вылетаетъ первая пчелка.

Полетѣла по раннимъ цвѣточкамъ
О красной веснѣ развѣдать:
Скоро-ль будетъ гостья дорогая,
Скороли луга зазеленѣютъ,
Распустятся клейкіе листочки,
Зацвѣтетъ черемуха душиста?.

3.

Румяной зарею
Покрылся востокъ,
Въ селѣ за рѣкою
Потухъ огонекъ.
Росой окропились
Цвѣты на поляхъ,
Стада пробудились
На мягкихъ лугахъ.
Туманы сѣдые
Плывутъ къ облакамъ...
Съ журчаньемъ стремится
Источникъ межъ горъ,
Вдали золотится
Во тьмѣ синій боръ...

4.

Осеннее утро.

Ужъ осени холодною рукою
Главы березъ и липъ обнажены;
Она шумитъ въ дубравахъ опустѣлыхъ:
Тамъ день и ночь кружится мертвый листъ,
Стоитъ туманъ на волнахъ пожелтѣлыхъ,
И слышится мгновенный вѣтра свистъ.
Поля, холмы, знакомыя дубравы,
Хранители священной тишины,
Свидѣтели моей тоски, забавы!
Забыты вы... до сладостной весны!

5.

Осень.

Октябрь ужъ наступилъ; ужъ роща отряхаетъ
Послѣдніе листы съ нагихъ своихъ вѣтвей;
Дохнулъ осенній хладъ, дорога промерзаетъ;
Журча еще бѣжитъ за мельницу ручей,
Но прудъ уже застылъ; сосѣдъ мой поспѣшаетъ
Въ отъѣзжія поля съ охотою своей—
И страждутъ озими отъ бѣшеной забавы,
И будитъ лай собакъ уснувшія дубравы.
Теперь—моя пора: я не люблю весны;
Скучна мнѣ оттепель: вонь, грязь; весной я боленъ:
Кровь бродитъ, чувства, умъ тоскою стѣснены;
Суровою зимой я болѣе доволенъ...

Какъ весело, обувъ желѣзомъ острымъ ноги,
Скользить по зеркалу стоячихъ, ровныхъ рѣкъ!
А зимнихъ праздниковъ блестящія тревоги?..
Но надо знать и честь; полгода снѣгъ да снѣгъ,
Вѣдь это, наконецъ, и жителю берлоги —
Медвѣдю — надоѣстъ...

Охъ, лѣто красное, любилъ бы я тебя,
Когда бъ не зной, да пыль, да комары, да мухи.
Ты, всѣ душевныя способности губя,
Насъ мучишь; какъ поля, мы страждемъ отъ засухи;
Лишь какъ бы напоить, да освѣжить себя—
Иной въ насъ мысли нѣтъ; и жаль зимы-старухи,
И, проводивъ ее блинами и виномъ,
Поминки ей творимъ мороженымъ и льдомъ.

Дни поздней осени бранятъ обыкновенно;
Но мнѣ она мила, читатель дорогой:
Красою тихою, блистающей смиренно,
Какъ нелюбимое дитя въ семьѣ родной,
Къ себѣ меня влечетъ. Сказать вамъ откровенно:
Изъ годовыхъ временъ я радъ лишь ей одной...

Унылая пора, очей очарованье,
Пріятна мнѣ твоя прощальная краса!
Люблю я пышное природы увяданье,
Въ багрецъ и въ золото одѣтые лѣса [1]),
Въ ихъ сѣняхъ вѣтра шумъ и свѣжее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И рѣдкій солнца лучъ, и первые морозы,
И отдаленныя сѣдой зимы угрозы...

И съ каждой осенью я расцвѣтаю вновь;
Здоровью моему полезенъ русскій холодъ;
Къ привычкамъ бытія вновь чувствую любовь:
Чредой слетаетъ сонъ, чредой находитъ голодъ;
Легко и радостно играетъ въ сердцѣ кровь,
Желанія кипятъ; я снова счастливъ, молодъ...

Ведутъ ко мнѣ коня; въ раздоліи открытомъ,
Махая гривою, онъ всадника несетъ—
И звонко подъ его блистающимъ копытомъ
Звенитъ промерзлый долъ, и трескается ледъ.
Но гаснетъ краткій день, и въ камелькѣ забытомъ
Огонь опять горитъ,—то яркій свѣтъ ліетъ,
То тлѣетъ медленно; а я надъ нимъ читаю,
Иль думы долгія въ душѣ моей питаю...

---

[1]) Лѣсъ осенью, когда листья принимаютъ красный (багровый) цвѣтъ и золотистую желтизну.

6.

ИЗЪ РОМАНА «ЕВГЕНІИ ОНѢГИНЪ».

Ужъ небо осенью дышало,
Ужъ рѣже солнышко блистало,
Короче становился день;
Лѣсовъ таинственная сѣнь
Съ печальнымъ шумомъ обнажалась;
Ложился на поля туманъ;
Гусей крикливыхъ караванъ
Тянулся къ югу: приближалась
Довольно скучная пора—
Стоялъ ноябрь ужъ у двора....

Встаетъ заря во мглѣ холодной;
На нивахъ шумъ работъ умолкъ;
Съ своей волчихою голодной
Выходитъ на дорогу волкъ;
Его почуя, конь дорожный
Храпитъ—и путникъ осторожный
Несется въ гору во весь духъ;
На утренней зарѣ пастухъ
Не гонитъ ужъ коровъ изъ хлѣва,
И въ часъ полуденный въ кружокъ
Ихъ не зоветъ его рожокъ:
Въ избушкѣ распѣвая, дѣва
Прядетъ, и, зимнихъ другъ ночей,
Трещитъ лучинка [1]) передъ ней. .

Опрятнѣй моднаго паркета,
Блистаетъ рѣчка, льдомъ одѣта;
Мальчишекъ радостный народъ

---

[1]) Когда свѣчи были дороги, крестьяне, вмѣсто свѣчъ, жгли лучину, которую вставляли въ желѣзный поставецъ,

Коньками звучно рѣжетъ ледъ;
На красныхъ лапкахъ гусь тяжелый,
Задумавъ плыть по лону водъ,
Ступаетъ бережно на ледъ,
Скользитъ и падаетъ; веселый
Мелькаетъ, вьется первый снѣгъ,
Звѣздами падая на брегъ...

Настала осень золотая.
Природа трепетна, блѣдна,
Какъ жертва, пышно убрана...
Вотъ сѣверъ, тучи нагоняя,
Дохнулъ, завылъ—и вотъ сама
Идетъ волшебница-зима.
Пришла, разсыпалась; клоками
Повисла на сукахъ дубовъ;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокругъ холмовъ;
Брега съ недвижною рѣкою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснулъ морозъ. И рады мы
Проказамъ матушки-зимы....

Въ тотъ годъ осенняя погода
Стояла долго на дворѣ;
Зимы ждала-ждала природа,
Снѣгъ выпалъ только въ январѣ,
На третье въ ночь. Проснувшись рано,
Въ окно увидѣла Татьяна
Поутру побѣлѣвшій дворъ,
Куртины, кровли и заборъ;
На стеклахъ легкіе узоры,
Деревья въ зимнемъ серебрѣ,
Сорокъ веселыхъ на дворѣ,
И мягко устланныя горы

Зимы блистательнымъ ковромъ.
Все ярко, все бѣло кругомъ.

Зима... Крестьянинъ, торжествуя,
На дровняхъ обновляетъ путь:
Его лошадка, снѣгъ почуя,
Плетется рысью какъ-нибудь;
Бразды пушистыя взрывая,
Летитъ кибитка удалая;
Ямщикъ сидитъ на облучкѣ
Въ тулупѣ, въ красномъ кушакѣ.
Вотъ бѣгаетъ дворовый мальчикъ,
Въ салазки жучку посадивъ,
Себя въ коня преобразивъ;
Шалунъ ужъ заморозилъ пальчикъ:
Ему и больно, и смѣшно,
А мать грозитъ ему въ окно...

7.

Зимняя дорога.

(1826 г.)

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальныя поляны
Льетъ печально свѣтъ она.
По дорогѣ зимней, скучной,
Тройка борзая бѣжитъ,
Колокольчикъ однозвучный,
Утомительно гремитъ.
Что-то слышится родное
Въ долгихъ пѣсняхъ ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...

Ни огня, ни черной хаты...
Глушь и снѣгъ... Навстрѣчу мнѣ
Только версты полосаты
Попадаются однѣ...

8.

Вѣсы.

(1829 г.)

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освѣщаетъ снѣгъ летучій;
Мутно небо, ночь мутна.
Ѣду, ѣду въ чистомъ полѣ,
Колокольчикъ динь-динь-динь...
Страшно, страшно поневолѣ
Средь невѣдомыхъ равнинъ!
— Эй, пошелъ, ямщикъ!..— „Нѣтъ мочи.
Конямъ, баринъ, тяжело;
Вьюга мнѣ слипаетъ очи;
Всѣ дороги занесло;
Хоть убей, слѣда не видно;
Сбились мы. Что дѣлать намъ?
Въ полѣ бѣсъ насъ водитъ, видно,
Да кружитъ по сторонамъ.
„Посмотри: вонъ, вонъ играетъ,
Дуетъ, плюетъ на меня;
Вонъ—теперь въ оврагъ толкаетъ
Одичалаго коня;
Тамъ верстою небывалой
Онъ торчалъ передо мной;
Тамъ сверкнулъ онъ искрой малой
И пропалъ во тьмѣ пустой.“
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освѣщаетъ снѣгъ летучій;
Мутно небо, ночь мутна.

Силъ намъ нѣтъ кружиться долѣ;
Колокольчикъ вдругъ умолкъ,
Кони стали...—Что тамъ въ полѣ?
„Кто ихъ знаетъ: пень иль волкъ?“
Вьюга злится, вьюга плачетъ;
Кони чуткіе храпятъ;
Вонъ ужъ онъ далече скачетъ,
Лишь глаза во мглѣ горятъ!
Кони снова понеслися;
Колокольчикъ динь-динь-динь...
Вижу: духи собралися
Средь бѣлѣющихъ равнинъ.
Безконечны, безобразны,
Въ мутной мѣсяца игрѣ
Закружились бѣсы разны,
Будто листья въ ноябрѣ...
Сколько ихъ! куда ихъ гонятъ?
Что такъ жалобно поютъ?
Домового ли хоронятъ,
Вѣдьму-ль замужъ выдаютъ?
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освѣщаетъ снѣгъ летучій;
Мутно небо, ночь мутна.
Мчатся бѣсы рой за роемъ
Въ безпредѣльной вышинѣ,
Визгомъ жалобнымъ и воемъ
Надрывая сердце мнѣ...

9.

Въ полѣ чистомъ серебрится
Снѣгъ волнистый и рябой,
Свѣтитъ мѣсяцъ, тройка мчится
По дорогѣ столбовой.
Пой: въ часы дорожной скуки,
На дорогѣ столбовой,

Сладки мнѣ родные звуки
Звонкой пѣсни удалой.
Пой, ямщикъ! Я молча, жадно
Буду слушать голосъ твой.
Мѣсяцъ блѣдный свѣтитъ хладно,
Грустенъ вѣтра дальній вой...
Знаешь пѣсню ты—лучина... [1])

10.

Какъ быстро въ полѣ, вкругъ открытомъ,
Подкованъ вновь, мой конь бѣжитъ!
Какъ звонко подъ его копытомъ
Земля промерзлая звучитъ!
Полезенъ русскому здоровью
Нашъ укрѣпительный морозъ;
Ланиты, ярче вешнихъ розъ,
Играютъ холодомъ и кровью.
Печальный лѣсъ и долъ завялый,
Проглянетъ день, и ужъ темно,
И, будто путникъ запоздалый,
Стучится буря къ намъ въ окно.

11.

Зимнее утро.

Морозъ и солнце—день чудесный!
Еще ты дремлешь, другъ прелестный;
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты нѣгой взоры
Навстрѣчу сѣверной Авроры [2]).
Звѣздою сѣвера явись!

---

[1]) См. стр. 303.
[2]) Аврора—заря.

Вечоръ, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутномъ небѣ мгла носилась;
Луна, какъ блѣдное пятно,
Сквозь тучи мрачныя желтѣла,
И ты, печальная, сидѣла—
А нынче... погляди въ окно:
Подъ голубыми небесами,
Великолѣпными коврами,
Блестя на солнцѣ, снѣгъ лежитъ;
Прозрачный лѣсъ одинъ чернѣетъ,
И ель сквозь иней зеленѣетъ,
И рѣчка подо льдомъ блеститъ.
Вся комната янтарнымъ блескомъ
Озарена. Веселымъ трескомъ
Трещитъ затопленная печь.
Пріятно думать у лежанки;
Но знаешь: не велѣть ли въ санки
Кобылку бурую запречь?
Скользя по утреннему снѣгу
Другъ милый, предадимся бѣгу
Нетерпѣливаго коня
И навѣстимъ поля пустыя,
Лѣса, недавно столь густые,
И берегъ, милый для меня.

12.

ЗИМНІЙ ВЕЧЕРЪ.

(1825 г.)

Буря мглою небо кроетъ,
Вихри снѣжные крутя:
То какъ звѣрь она завоетъ,
То заплачетъ какъ дитя,
То по кровлѣ обветшалой
Вдругъ соломой зашумитъ,

То какъ путникъ запоздалый,
Къ намъ въ окошко застучитъ.
Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна.
Что же ты, моя старушка,
Пріумолкла у окна?
Или бури завываньемъ
Ты, мой другъ, утомлена,
Или дремлешь подъ жужжаньемъ
Своего веретена?
Выпьемъ, добрая подружка
Бѣдной юности моей,
Выпьемъ съ горя, гдѣ же кружка?
Сердцу будетъ веселѣй.
Спой мнѣ пѣсню, какъ синица
Тихо за моремъ жила;
Спой мнѣ пѣсню, какъ дѣвица
За водой поутру шла!
Буря мглою небо кроетъ,
Вихри снѣжные крутя:
То какъ звѣрь она завоетъ,
То заплачетъ какъ дитя.
Выпьемъ, добрая подружка
Бѣдной юности моей,
Выпьемъ съ горя, гдѣ же кружка?
Сердцу будетъ веселѣй!

II.

ПОМѢЩИЧЬЯ ЖИЗНЬ.

1.

Зима. Что дѣлать намъ въ деревнѣ? Я встрѣчаю
Слугу, несущаго мнѣ утромъ чашку чаю,
Вопросами: тепло-ль? утихла ли метель?
Пороша есть иль нѣтъ? и можно ли постель
Покинуть для сѣдла, иль лучше до обѣда
Возиться съ старыми журналами сосѣда?—
Пороша.—Мы встаемъ, и тотчасъ на коня,
И рысью по полю при первомъ свѣтѣ дня;
Арапники въ рукахъ, собаки вслѣдъ за нами;
Глядимъ на блѣдный снѣгъ прилежными глазами;
Кружимся, рыскаемъ, и поздней ужъ порой,
Двухъ зайцевъ протравивъ, являемся домой.
Куда какъ весело! Вотъ вечеръ: вьюга воетъ,
Свѣча темно горитъ; стѣсняясь, сердце ноетъ;
По каплѣ, медленно, глотаю скуки ядъ,
Читать хочу—глаза надъ буквами скользятъ,
А мысли далеко... Я книгу закрываю;.....
Иду въ гостиную; тамъ слышу разговоръ
О близкихъ выборахъ, о сахарномъ заводѣ.
Хозяйка хмурится въ подобіе погодѣ,
Стальными спицами проворно шевеля,
Иль про червоннаго гадаетъ короля.
Тоска! Такъ день за днемъ идетъ въ уединеньи!
Но если подъ вечеръ въ печальное селенье,
Когда за шашками сижу я въ уголкѣ,
Пріѣдетъ издали въ кибиткѣ иль возкѣ
Нежданная семья: старушка, двѣ дѣвицы
(Двѣ бѣлокурыя, двѣ стройныя сестрицы),
Какъ оживляется глухая сторона!
Какъ жизнь, о Боже мой, становится полна!

2.

ИЗЪ РАЗСКАЗА «ГРАФЪ НУЛИНЪ».

Пора, пора! рога трубятъ;
Псари въ охотничьихъ уборахъ
Чѣмъ свѣтъ ужъ на коняхъ сидятъ;
Борзыя прыгаютъ на сворахъ.
Выходитъ баринъ на крыльцо,
Все, подбочась, обозрѣваетъ;
Его довольное лицо
Пріятной важностью сіяетъ.
Чекмень затянутый на немъ,
Турецкій ножъ за кушакомъ,
За пазухой во фляжкѣ ромъ
И рогъ на бронзовой цѣпочкѣ.
Въ ночномъ чепцѣ, въ одномъ платочкѣ,
Глазами сонными жена
Сердито смотритъ изъ окна
На сборъ, на псарную тревогу.
Вотъ мужу подвели коня,
Онъ холку хвать и въ стремя ногу,
Кричитъ женѣ: „Не жди меня!“
И выѣзжаетъ на дорогу.
Въ послѣднихъ числахъ сентября
Въ деревнѣ скучно, грязь, ненастье,
Осенній вѣтеръ, мелкій снѣгъ,
Да вой волковъ. Но то-то счастье
Охотнику! Не зная нѣгъ,
Въ отъѣзжемъ полѣ онъ гарцуетъ,
Вездѣ находитъ свой ночлегъ,
Бранится, мокнетъ и пируетъ
Опустошительный набѣгъ.
А что же дѣлаетъ супруга
Одна въ отсутствіи супруга?
Занятій мало ль есть у ней:
Грибы солить, кормить гусей,

Заказывать обѣдъ и ужинъ,
Въ амбаръ и въ погребъ заглянуть —
Хозяйки глазъ повсюду нуженъ:
Онъ вмигъ замѣтитъ что-нибудь...
Она сидитъ передъ окномъ;
Предъ ней открытъ четвертый томъ
Сентиментальнаго [1]) романа...
Наталья Павловна сначала
Его внимательно читала,
Но скоро какъ-то развлеклась
Передъ окномъ возникшей дракой
Козла съ дворовою собакой,
И ею тихо занялась.
Кругомъ мальчишки хохотали;
Межъ тѣмъ печально подъ окномъ
Индѣйки съ крикомъ выступали
Вослѣдъ за мокрымъ пѣтухомъ;
Три утки полоскались въ лужѣ;
Шла баба черезъ грязный дворъ
Бѣлье повѣсить на заборъ;
Погода становилась хуже:
Казалось, снѣгъ идти хотѣлъ...

3.

ИЗЪ РОМАНА «ЕВГЕНІЙ ОНѢГИНЪ».

Деревня, гдѣ скучалъ Евгеній [2]),
Была прелестный уголокъ;
Тамъ другъ невинныхъ наслажденій
Благословить бы небо могъ.
Господскій домъ уединенный,
Горой отъ вѣтровъ огражденный,
Стоялъ надъ рѣчкою; вдали

---

[1]) Сентиментальный—чувствительный.
[2]) Евгеній Онѣгинъ—молодой помѣщикъ.

Предъ нимъ пестрѣли и цвѣли
Луга и нивы золотыя,
Мелькали села здѣсь и тамъ,
Стада бродили по лугамъ,
И сѣни расширялъ густыя
Огромный, запущенный садъ.

Почтенный замокъ былъ построенъ,
Какъ замки строиться должны:
Отмѣнно проченъ и спокоенъ,
Во вкусѣ умной старины.
Вездѣ высокіе покои,
Въ гостиной штофные обои,
Царей портреты на стѣнахъ
И печи въ пестрыхъ изразцахъ.

Онъ въ томъ покоѣ поселился,
Гдѣ деревенскій старожилъ
Лѣтъ сорокъ съ ключницей бранился,
Въ окно смотрѣлъ и мухъ давилъ.
Все было просто: полъ дубовый,
Два шкафа, столъ, диванъ пуховый,
Нигдѣ ни пятнышка чернилъ.
Онѣгинъ шкафы отворилъ:
Въ одномъ нашелъ тетрадь расхода,
Въ другомъ—наливокъ цѣлый строй,
Кувшины съ яблочной водой
И календарь осьмого года:
Старикъ, имѣя много дѣлъ,
Въ иныя книги не глядѣлъ...
Два дня ему казались новы
Уединенныя поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихаго ручья;
На третій—роща, холмъ и поле
Его не занимали болѣ;

Потомъ ужъ наводили сонъ;
Потомъ увидѣлъ ясно онъ,
Что и въ деревнѣ скука та же,
Хоть нѣтъ ни улицъ, ни дворцовъ,
Ни картъ, ни баловъ, ни стиховъ...
Господъ сосѣдственныхъ селеній
Ему не нравились пиры;
Бѣжалъ онъ изъ бесѣды шумной!
Ихъ разговоръ благоразумный
О сѣнокосѣ, о винѣ,
О псарнѣ, о своей роднѣ,
Конечно, не блисталъ ни чувствомъ,
Ни поэтическимъ огнемъ,
Ни остротою, ни умомъ,
Ни общежитія искусствомъ;
Но разговоръ ихъ милыхъ женъ
Гораздо меньше былъ уменъ...

Но вотъ багряною рукою
Заря отъ утреннихъ долинъ
Выводитъ съ солнцемъ за собою
Веселый праздникъ именинъ.
Съ утра домъ Лариной [1]) гостями
Весь полонъ; цѣлыми семьями
Сосѣди съѣхались въ возкахъ,
Въ кибиткахъ, въ бричкахъ и въ саняхъ.
Въ передней толкотня, тревога;
Въ гостиной встрѣча новыхъ лицъ;
Лай мосекъ, чмоканье дѣвицъ,
Шумъ, хохотъ, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилицъ крикъ и плачъ дѣтей..
Обрядъ извѣстный угощенья:
Несутъ на блюдечкахъ варенья,

---

[1]) Семья Лариныхъ—сосѣди по имѣнію Онѣгина. Именины дочери Лариной—Татьяны.

На столикъ ставятъ вощаной
Кувшинъ съ брусничною водой...
...Ахъ, новость, да какая!
Музы́ка будетъ полковая!
Полковникъ самъ ее послалъ.
Какая радость: будетъ балъ!
Дѣвчонки прыгаютъ заранѣ...
Но кушать подали. Четой
Идутъ за столъ рука съ рукой;
Тѣснятся барышни къ Татьянѣ,
Мужчины противъ—и, крестясь,
Толпа жужжитъ, за столъ садясь.

На мигъ умолкли разговоры;
Уста жуютъ. Со всѣхъ сторонъ
Гремятъ тарелки и приборы,
Да рюмокъ раздается звонъ.
Но вскорѣ гости понемногу
Подъемлютъ общую тревогу.
Никто не слушаетъ, кричатъ,
Смѣются, спорятъ и пищатъ...
Гремятъ отдвинутые стулья;
Толпа въ гостиную валитъ:
Такъ пчелъ изъ лакомаго улья
На ниву шумный рой летитъ.
Довольный праздничнымъ обѣдомъ,
Сосѣдъ сопитъ передъ сосѣдомъ;
Подсѣли дамы къ комельку,
Дѣвицы шепчутъ въ уголку;
Столы зеленые раскрыты:
Зовутъ задорныхъ игроковъ
Бостонъ и ломберъ [1]) стариковъ,
И вистъ, донынѣ знаменитый.
Ужъ восемь робберовъ сыграли [2])

---

[1]) Старинныя карточныя игры.
[2]) Отдѣльная игра—(партія).

Герои виста; восемь разъ
Они мѣста перемѣняли...
Но чай несутъ: дѣвицы чинно
Едва за блюдечки взялись,
Вдругъ изъ-за двери въ залѣ длинной
Фаготъ и флейта [1]) раздались.
Обрадованъ музыки громомъ,
Оставя чашку чаю съ ромомъ,
Подходитъ къ Ольгѣ Пѣтушковъ,
Къ Татьянѣ—Ленскій. Харликову,
Невѣсту переспѣлыхъ лѣтъ,
Беретъ тамбовскій мой поэтъ;
Умчалъ Буяновъ Пустякову,
И въ залу высыпали всѣ,
И балъ блеститъ во всей красѣ...

Настали святки. То-то радость!
Гадаетъ вѣтреная младость,
Которой ничего не жаль,
Передъ которой жизни даль
Лежитъ свѣтла, необозрима;
Гадаетъ старость сквозь очки
У гробовой своей доски,
Все потерявъ невозвратимо;
И все равно: надежда имъ
Лжетъ дѣтскимъ лепетомъ своимъ...
Татьяна (русская душою,
Сама не зная почему)
Съ ея холодною красою
Любила русскую зиму,
На солнцѣ иней въ день морозный,
И сани, и зарею поздной
Сіянье розовыхъ снѣговъ,
И мглу крещенскихъ вечеровъ.
По старинѣ торжествовали

---

[1]) Фаготъ и флейта—духовые музыкальные инструменты.

Въ ихъ домѣ эти вечера:
Служанки со всего двора
Про барышень своихъ гадали,
И имъ сулили каждый годъ
Мужьевъ военныхъ и походъ.

Татьяна вѣрила преданьямъ
Простонародной старины,
И снамъ, и карточнымъ гаданьямъ
И предсказаніямъ луны.
Ее тревожили примѣты;
Таинственно ей всѣ предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствія тѣснили грудь.
Жеманный котъ, на печкѣ сидя,
Мурлыча, лапкой рыльцо мылъ:
То несомнѣнный знакъ ей былъ,
Что ѣдутъ гости. Вдругъ увидя
Младой двурогій ликъ луны
На небѣ съ лѣвой стороны,
Она дрожала и блѣднѣла;
Когда-жъ падучая звѣзда
По небу темному летѣла
И разсыпалася, тогда
Въ смятеньи Таня торопилась,
Пока звѣзда еще катилась,
Желанье сердца ей шепнуть.
Когда случалось гдѣ-нибудь
Ей встрѣтить чернаго монаха,
Иль быстрый заяцъ межъ полей
Перебѣгалъ дорогу ей —
Не зная, что начать со страха,
Предчувствій горестныхъ полна,
Ждала несчастій ужъ она...

Татьяна любопытнымъ взоромъ
На воскъ потопленный глядитъ.
Онъ чудно-вылитымъ узоромъ
Ей что-то чудное гласитъ;
Изъ блюда, полнаго водою,
Выходятъ кольца чередою;
И вынулось колечко ей
Подъ пѣсенку старинныхъ дней:
„Тамъ мужички-то все богаты,
Гребутъ лопатой серебро;
Кому поемъ, тому добро
И слава!“ Но сулитъ утраты
Сей пѣсни жалостный напѣвъ;
Милѣй кошурка сердцу дѣвъ.

Морозна ночь; все небо ясно;
Свѣтилъ небесныхъ дивный хоръ
Течетъ такъ тихо, такъ согласно...
Татьяна на широкій дворъ
Въ открытомъ платьицѣ выходитъ,
На мѣсяцъ зеркало наводитъ;
Но въ темномъ зеркалѣ одна
Дрожитъ печальная луна...
Чу! снѣгъ хруститъ... прохожій; дѣва
Къ нему на цыпочкахъ летитъ,
И голосокъ ея звучитъ
Нѣжнѣй свирѣльнаго напѣва:
„Какъ ваше имя?“—Смотритъ онъ
И отвѣчаетъ: —Агаѳонъ.

Татьяна, по совѣту няни,
Сбираясь ночью ворожить,
Тихонько приказала въ банѣ
На два прибора столъ накрыть;
Но стало страшно вдругъ Татьянѣ...
Татьяна поясокъ шелковый

Сняла, раздѣлась и въ постель
Легла. Надъ нею вьется Лель [1]).
А подъ подушкою пуховой
Дѣвичье зеркало лежитъ.
Утихло все. Татьяна спитъ.

И снится чудный сонъ Татьянѣ:
Ей снится, будто бы она
Идетъ по снѣговой полянѣ,
Печальной мглой окружена;
Въ сугробахъ снѣжныхъ передъ нею
Шумитъ, клубитъ волной своею
Кипучій, темный и сѣдой
Потокъ, не скованный зимой;
Двѣ жердочки, склеены льдиной,
Дрожащій, гибельный мостокъ,
Положены черезъ потокъ;
И предъ шумящею пучиной,
Недоумѣнія полна,
Остановилася она.

Какъ на досадную разлуку,
Татьяна ропщетъ на ручей,
Не видитъ никого, кто руку
Съ той стороны подалъ бы ей;
Но вдругъ сугробъ зашевелился,
И кто-жъ изъ-подъ него явился?—
Большой, взъерошенный медвѣдь;
Татьяна—ахъ!—а онъ ревѣть,
И лапу съ острыми когтями
Ей протянулъ; она, скрѣпясь,
Дрожащей ручкой оперлась
И боязливыми шагами

---

[1]) Славянскій языческій богъ сновъ, веселья и весны.

Перебралась черезъ ручей;
Пошла—и что-жъ? медвѣдь за ней.

Она, взглянуть назадъ не смѣя,
Поспѣшный ускоряетъ шагъ;
Но отъ косматаго лакея
Не можетъ убѣжать никакъ;
Кряхтя, валитъ медвѣдь несносный;
Предъ ними лѣсъ; недвижны сосны
Въ своей нахмуренной красѣ;
Отягчены ихъ вѣтви всѣ
Клоками снѣга; сквозь вершины
Осинъ, березъ и липъ нагихъ
Сіяетъ лучъ свѣтилъ ночныхъ;
Дороги нѣтъ; кусты, стремнины
Метелью всѣ занесены,
Глубоко въ снѣгъ погружены.

Татьяна въ лѣсъ; медвѣдь за нею;
Снѣгъ рыхлый по колѣно ей;
То длинный сукъ ее за шею
Зацѣпитъ вдругъ, то изъ ушей
Златыя серьги вырветъ силой;
То въ хрупкомъ снѣгѣ съ ножки милой
Увязнетъ мокрый башмачекъ;
То выронитъ она платокъ;
Поднять ей некогда; боится,
Медвѣдя слышитъ за собой,
И даже трепетной рукой
Одежды край поднять стыдится;
Она бѣжитъ, онъ все вослѣдъ;
И силъ уже бѣжать ей нѣтъ.

Упала въ снѣгъ; медвѣдь проворно
Ее хватаетъ и несетъ;

Она безчувственно-покорна;
Не шевелится, не дохнетъ;
Онъ мчитъ ее лѣсной дорогой.
Вдругъ межъ деревъ шалашъ убогій;
Кругомъ все глушь; отвсюду онъ
Пустыннымъ снѣгомъ занесенъ,
И ярко свѣтится окошко,
И въ шалашѣ и крикъ, и шумъ;
Медвѣдь промолвилъ: „Здѣсь мой кумъ —
Погрѣйся у него немножко!“
И въ сѣни прямо онъ идетъ
И на порогъ ее кладетъ.

Опомнилась, глядитъ Татьяна:
Медвѣдя нѣтъ; она въ сѣняхъ;
За дверью крикъ и звонъ стакана,
Какъ на большихъ похоронахъ;
Не видя тутъ ни капли толку,
Глядитъ она тихонько въ щелку,
И что же! видитъ... за столомъ
Сидятъ чудовища кругомъ;
Одинъ въ рогахъ съ собачьей мордой,
Другой съ пѣтушьей головой,
Здѣсь вѣдьма съ козьей бородой,
Тутъ остовъ чопорный и гордый,
Тамъ карла съ хвостикомъ, а вотъ
Полу-журавль и полу-котъ.

Еще страшнѣй, еще чуднѣе:
Вотъ ракъ верхомъ на паукѣ,
Вотъ черепъ на гусиной шеѣ
Вертится въ красномъ колпакѣ,
Вотъ мельница въ присядку пляшетъ
И крыльями трещитъ и машетъ;
Лай, хохотъ, пѣнье, свистъ и хлопъ,
Людская молвь и конскій топъ!

Но что подумала Татьяна,
Когда узнала межъ гостей
Того, кто милъ и страшенъ ей —
Героя нашего романа!
Онѣгинъ за столомъ сидитъ
И въ дверь украдкою глядитъ.

Онъ знакъ подастъ—и всѣ хлопочутъ;
Онъ пьетъ—всѣ пьютъ и всѣ кричатъ;
Онъ засмѣется—всѣ хохочутъ;
Нахмуритъ брови—всѣ молчатъ;
Онъ тамъ хозяинъ, это ясно.
И Танѣ ужъ не такъ ужасно,
И, любопытная, теперь
Немного растворила дверь...
Вдругъ вѣтеръ дунулъ, загашая
Огонь свѣтильниковъ ночныхъ;
Смутилась шайка домовыхъ;
Онѣгинъ, взорами сверкая,
Изъ-за стола, гремя, встаетъ;
Всѣ встали. Онъ къ дверямъ идетъ.

И страшно ей; и торопливо
Татьяна силится бѣжать —
Нельзя никакъ; нетерпѣливо
Метаясь, хочетъ закричать —
Не можетъ; дверь толкнулъ Евгеній:
И взорамъ адскихъ привидѣній
Явилась дѣва. Ярый смѣхъ
Раздался дико; очи всѣхъ,
Копыта, хоботы кривые,
Хвосты мохлатые, клыки,
Усы, кровавы языки,
Рога и пальцы костяные, —
Все указуетъ на нее,
И всѣ кричатъ: „мое! мое!“

И Таня въ ужасѣ проснулась...
Глядитъ, ужъ въ комнатѣ свѣтло;
Въ окнѣ сквозь мерзлое стекло
Зари багряный лучъ играетъ...
Простая, русская семья,
Къ гостямъ усердіе большое,
Варенье, вѣчный разговоръ
Про дождь, про ленъ, про скотный дворъ...
Супругъ—онъ звался Дмитрій Ларинъ—
И винокуръ, и хлѣбосолъ,
Ну, словомъ,—прямо русскій баринъ...
Она—ѣзжала по работамъ,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила въ баню по субботамъ,
Служанокъ била осердясь—
Все это мужа не спросясь...
Но мужъ любилъ ее сердечно,
Въ ея затѣи не входилъ,
Во всемъ ей вѣровалъ безпечно,
А самъ въ халатѣ ѣлъ и пилъ.
Покойно жизнь его катилась;
Подъ вечеръ иногда сходилась
Сосѣдей добрая семья,—
Нецеремонные друзья,—
И потужить, и позлословить,
И посмѣяться кой-о-чемъ.
Проходитъ время; между тѣмъ
Прикажутъ Ольгѣ [1]) чай готовить;
Тамъ ужинъ, тамъ и спать пора,
И гости ѣдутъ со двора...
Они хранили въ жизни мирной
Привычки милой старины:
У нихъ на масляницѣ жирной
Водились русскіе блины;
Два раза въ годъ они говѣли;

[1]) Ольга—вторая дочь Лариныхъ.

Любили круглыя качели,
Подблюдны пѣсни [1]), хороводъ;
Въ день Троицынъ, когда народъ,
Зѣвая, слушаетъ молебенъ;
Умильно на пучекъ зари
Они роняли слезки три;
Имъ квасъ, какъ воздухъ, былъ потребенъ,
И за столомъ у нихъ гостямъ
Носили блюда по чинамъ.
И такъ они старѣли оба.
И отворились, наконецъ,
Передъ супругомъ двери гроба,
И новый онъ пріялъ вѣнецъ.
Онъ умеръ въ часъ передъ обѣдомъ,
Оплаканный своимъ сосѣдомъ,
Дѣтьми и вѣрною женой
Чистосердечнѣй, чѣмъ иной.
Онъ былъ простой и добрый баринъ,
И тамъ, гдѣ прахъ его лежитъ,
Надгробный памятникъ гласитъ:
„Смиренный грѣшникъ, Дмитрій Ларинъ,
Господній рабъ и бригадиръ
Подъ камнемъ симъ вкушаетъ миръ".

---

[1]) Подблюдныя пѣсни пѣлись въ старину на святочныхъ вечерахъ. На столѣ среди комнаты ставилось блюдо, закрытое столечникомъ—скатертью, и въ него подъ пѣніе разныхъ пѣсенъ складывались кусочки хлѣба, соль, уголекъ, кольца, перстни, серьги, которые тутъ же снимали съ себя молодые люди, дѣвушки, старушки.—всѣ, кто принималъ участіе въ гаданіи. Во время пѣнія святочныхъ подблюдныхъ пѣсенъ сваха „разводила" въ блюдѣ, трясла имъ, а по окончаніи пѣнія вынимала вещь, какая попадалась подъ руку. Каждая пѣсня имѣла свое особое значеніе—одна пѣлась къ замужеству, другая—къ богатству, къ бѣдности и т. д. По окончаніи каждой пѣсни пѣлся особый припѣвъ:

„Да кому спѣли, тому добро
—Слава!
„Кому вынется, тому сбудется.
—Слава!"

Отъѣзда день давно просроченъ;
Приходитъ и послѣдній срокъ.
Осмотрѣнъ, вновь обитъ, упроченъ
Забвенью брошенный возокъ.
Обозъ обычный—три кибитки
Везутъ домашніе пожитки,
Кастрюльки, стулья, сундуки,
Варенья въ банкахъ, тюфяки,
Перины, клѣтки съ пѣтухами,
Горшки, тазы et cetera [1]),
Ну, много всякаго добра.
И вотъ, въ избѣ между слугами
Поднялся шумъ, прощальный плачъ:
Ведутъ на дворъ восьмнадцать клячъ.

Въ возокъ боярскій ихъ впрягаютъ;
Готовятъ завтракъ повара;
Горой кибитки нагружаютъ;
Бранятся бабы, кучера;
На клячѣ тощей и косматой
Сидитъ форейторъ бородатый;
Сбѣжалась челядь у воротъ
Прощаться съ барами. И вотъ,
Усѣлись, и возокъ почтенный,
Скользя, ползетъ за ворота...
Теперь у насъ дороги плохи,
Мосты забытые гніютъ,
На станціяхъ клопы да блохи
Заснуть минуты не даютъ;
Трактировъ нѣтъ. Въ избѣ холодной
Для виду прейскурантъ виситъ,
И тщетный дразнитъ аппетитъ...
Зато зимы порой холодной
Ѣзда пріятна и легка.
Какъ стихъ безъ мысли въ пѣснѣ модной,

---

[1]) *Этцетера*—латинскія слова, значатъ: и прочее, и прочее.

Дорога зимняя гладка.
Автомедоны [1]) наши бойки,
Неутомимы наши тройки,
И версты, тѣша праздный взоръ,
Въ глазахъ мелькаютъ, какъ заборъ.
Къ несчастью, Ларина тащилась,
Боясь прогоновъ дорогихъ,
Не на почтовыхъ, на своихъ—
И наша дѣва (Татьяна) насладилась
Дорожной скукою вполнѣ:
Семь сутокъ ѣхали онѣ...

4.

Домовому.

(1819 г.)

Помѣстья мирнаго незримый покровитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, лѣсъ и дикій садикъ мой
И скромную семьи моей обитель!
Да не вредятъ полямъ опасный хладъ дождей
И вѣтра поздняго осенніе набѣги;
Да въ пору благотворны снѣги
Покроютъ влажный тукъ полей!
Останься тайный стражъ въ наслѣдственной сѣни,
Постигни робостью полуночнаго вора,
И отъ недружескаго взора,
Счастливый домикъ охрани!
Ходи вокругъ него заботливымъ дозоромъ,
Люби мой милый садъ, и берегъ сонныхъ водъ,
И сей укромный огородъ
Съ калиткой ветхою, съ обрушеннымъ заборомъ!
Люби зеленый скатъ холмовъ,

[1]) Автомедонъ—хорошій кучеръ.

Луга, измятые моей бродящей лѣнью,
Прохладу липъ и кленовъ шумный кровъ:
Они знакомы вдохновенью.

III.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ЖИЗНЬ.

1.

ИЗЪ СТИХОТВОРЕНІЯ «ШАЛОСТЬ».

Смотри, какой здѣсь видъ: избушекъ рядъ убогій;
За ними черноземъ: равнины скатъ отлогій,
Надъ ними сѣрыхъ тучъ густая полоса.
Гдѣ-жъ нивы свѣтлыя? Гдѣ темные лѣса?
Гдѣ рѣчка?... На дворѣ, у низкаго забора,
Два бѣдныхъ деревца стоятъ въ отраду взора,
Два только деревца, и то изъ нихъ одно
Дождливой осенью совсѣмъ обнажено,
А листья на другомъ размокли и, желтѣя,
Чтобъ лужу засорить, ждутъ перваго Борея [1]),
И только... На дворѣ живой собаки нѣтъ.

2.

Люблю песчаный косогоръ,
Передъ избушкой двѣ рябины,
Калитку, сломанный заборъ,
На небѣ сѣренькія тучи,
Передъ гумномъ соломы кучи,
Да прудъ подъ сѣнью ивъ густыхъ,
Раздолье утокъ молодыхъ...

---

[1]) Борей—сѣверный вѣтеръ.

3.

УТРО, ИЗЪ СТИХОТВОРЕНІЯ «СОНЪ».

Друзья мои, какъ утро здѣсь прекрасно!
Въ тиши полей, сквозь тайну сѣнь дубравъ,
Какъ юный день сіяетъ гордо, ясно!
Свѣтлѣетъ все: другъ друга перегнавъ,
Журчатъ ручьи, блестятъ брега безмолвны;
Еще роса надъ свѣжей муравой,
Златыхъ озеръ недвижно дремлютъ волны.
Друзья мои! возьмите посохъ свой,
Идите въ лѣсъ, бродите по долинѣ,
Крутыхъ холмовъ устаньте на вершинѣ—
И въ долгу ночь глубокъ вашъ будетъ сонъ....

4.

Деревня [1]).

Привѣтствую тебя, пустынный уголокъ,
Пріютъ спокойствія, трудовъ и вдохновенья,
Гдѣ льется дней моихъ невидимый потокъ
На лонѣ счастья и забвенья!
Я—твой! я промѣнялъ роскошный дворъ царей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья,
На мирный шумъ дубравъ, на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья.
Я—твой! люблю сей темный садъ
Съ его прохладой и цвѣтами,
Сей лугъ, уставленный душистыми скирдами,

[1]) Стихотвореніе написано въ 1819 году, въ селѣ Михайловскомъ, гдѣ Пушкинъ отдыхалъ отъ шумной городской жизни, читая писателей, которыхъ онъ назвалъ „оракулами вѣковъ“, т.-е. наставниками. Въ то время, за 42 года до освобожденія крестьянъ, 19-го февраля 1861 г., царемъ освободителемъ Александромъ II, еще существовало крѣпостное право, когда у иныхъ помѣщиковъ крестьянамъ было тяжело жить.

Гдѣ свѣтлые ручьи въ кустарникахъ шумятъ.
Вездѣ передо мной подвижныя картины,
Здѣсь вижу двухъ озеръ лазурныя равнины,
Гдѣ парусъ рыбаря бѣлѣетъ иногда;
За ними рядъ холмовъ и нивы полосаты,
Вдали разсыпанныя хаты,
На влажныхъ берегахъ бродящія стада,
Овины дымные и мельницы крылаты;
Вездѣ слѣды довольства и труда.
Я здѣсь, отъ суетныхъ оковъ освобожденный,
Учуся въ истинѣ блаженство находить,
Свободною душой законъ боготворить,
Роптанью не внимать толпы непросвѣщенной,
Участьемъ отвѣчать застѣнчивой мольбѣ
И не завидовать судьбѣ
Злодѣя иль глупца, въ величіи неправомъ.
Оракулы вѣковъ, здѣсь вопрошаю васъ!
Въ уединеньи величавомъ
Слышнѣе вашъ отрадный гласъ:
Онъ гонитъ лѣни сонъ угрюмый,
Къ трудамъ рождаетъ жаръ во мнѣ,
И ваши творческія думы
Въ душевной зрѣютъ глубинѣ.
Но мысль ужасная здѣсь душу омрачаетъ:
Среди цвѣтущихъ нивъ и горъ
Другъ человѣчества печально замѣчаетъ
Вездѣ невѣжества губительный позоръ.
Не видя слезъ, не внемля стона,
На пагубу людей, избранное судьбой,
Здѣсь барство дикое, безъ чувства, безъ закона,
Присвоило себѣ насильственной лозой
И трудъ, и собственность, и время земледѣльца.
Склонясь на чуждый плугъ, покорствуя бичамъ,
Здѣсь рабство тощее тащится по браздамъ
Неумолимаго владѣльца....
Опора милая старѣющихъ отцовъ —
Младые сыновья, товарищи трудовъ,
Изъ хижины родной идутъ собою множить

Дворовыя толпы измученныхъ рабовъ.
О, еслибъ голосъ мой умѣлъ сердца тревожить!
Почто въ груди моей горитъ безплодный жаръ,
И не анъ мнѣ въ удѣлъ витійства грозный даръ?
Увижу-ль я, друзья, народъ неугнетенный
И рабство, падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря?

5.

ПѢСНЯ ДѢВУШЕКЪ, ИЗЪ РОМАНА «ЕВГЕНІЙ ОНѢГИНЪ».

Въ саду служанки, на грядахъ,
Сбирали ягоды въ кустахъ
И хоромъ по наказу пѣли
(Наказъ, основанный на томъ,
Чтобъ барской ягоды тайкомъ
Уста лукавыя не ѣли,
И пѣньемъ были заняты:
Затѣя сельской остроты!);

„Дѣвицы-красавицы,
Душеньки-подруженьки,
Разыграйтесь, дѣвицы,
Разгуляйтесь, милыя!
Затяните пѣсенку,
Пѣсенку завѣтную,
Заманите молодца
Къ хороводу нашему.
Какъ заманимъ молодца,
Какъ завидимъ издали,
Разбѣжимтесь милыя,
Закидаемъ вишеньемъ,
Вишеньемъ, малиною,
Красною смородиной.
Не ходи подслушивать
Пѣсенки завѣтныя,

Не ходи подсматривать
Игры наши дѣвичьи!“

6.

СВАДЕБНАЯ ПѢСНЯ, ИЗЪ «РУСАЛКИ».

Сватушка, сватушка,
Безтолковый сватушка!
По невѣсту ѣхали —
Въ огородъ заѣхали,
Пива бочку пролили,
Всю капусту полили,
Тыну поклонилися,
Вереѣ [1]) молилися:
„Верея-ль, вереюшка,
Укажи дороженьку
По невѣсту ѣхати“...
Сватушка, догадайся,
За мошоночку [2]) принимайся:
Въ мошнѣ денежка шевелится,
Краснымъ дѣвушкамъ норовится.

7.

МАМУШКА, ИЗЪ СТИХОТВОРЕНІЯ «СОНЪ».

Ахъ, умолчу-ль о мамушкѣ моей,
О прелести таинственныхъ ночей,
Когда, въ чепцѣ, въ старинномъ одѣяньи,
Она, духовъ молитвой уклоня,
Съ усердіемъ перекреститъ меня
И шопотомъ разсказывать мнѣ станетъ
О мертвецахъ, о подвигахъ Бовы...

---

[1]) Верея—воротный столбъ.
Мошоночка, мошна—кошель.

Отъ ужаса не шелохнусь, бывало;
Едва дыша, прижмусь подъ одѣяло,
Не чувствуя ни ногъ, ни головы.
Подъ образомъ простой ночникъ изъ глины
Чуть освѣщалъ глубокія морщины,
Драгой антикъ [1]), прабабушкинъ чепецъ,
И длинный ротъ, гдѣ зуба два стучало —
Все въ душу страхъ невольный поселяло;
Я трепеталъ, и тихо наконецъ
Томленье сна на очи упадало.
Тогда, толпой, съ лазурной высоты,
На ложе розъ крылатыя мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сонъ обворожали:
Терялся я, въ порывѣ сладкихъ думъ,
Въ глуши лѣсной, средь Муромскихъ пустыней,
Встрѣчалъ лихихъ Полкановъ и Добрыней—
И въ вымыслахъ носился юный умъ...

8.

РАЗСКАЗЪ НЯНИ, ИЗЪ РОМАНА «ЕВГЕНІЙ ОНѢГИНЪ».

Татьяна въ темнотѣ не спитъ
И тихо съ няней говоритъ:
„Не спится, няня: здѣсь такъ душно!
Открой окно, да сядь ко мнѣ".
—Что, Таня, что съ тобой?—„Мнѣ скучно;
Поговоримъ о старинѣ".
—О чемъ же, Таня? Я, бывало,
Хранила въ памяти не мало
Старинныхъ былей, небылицъ
Про злыхъ духовъ, и про дѣвицъ;
А нынѣ все мнѣ темно, Таня:
Что знала, то забыла. Да,

[1]) Антикъ—старинная вещь.

Пришла худая череда!
Зашибло...—„Разскажи мнѣ, няня,
Про ваши старые года:
Была ты влюблена тогда?“
—И, полно Таня! Въ эти лѣта
Мы не слыхали про любовь;
А то бы согнала со свѣта
Меня покойница свекровь—
„Да какъ же ты вѣнчалась, няня?“
— Такъ, видно, Богъ велѣлъ! Мой Ваня
Моложе былъ меня, мой свѣтъ,
А было мнѣ тринадцать лѣтъ.
Недѣли двѣ ходила сваха
Къ моей роднѣ, и наконецъ
Благословилъ меня отецъ.
Я горько плакала со страха;
Мнѣ съ плачемъ косу расплели,
И съ пѣньемъ въ церковь повели.
И вотъ, ввели въ семью чужую...

9.

Утопленникъ.

(1828 г.)

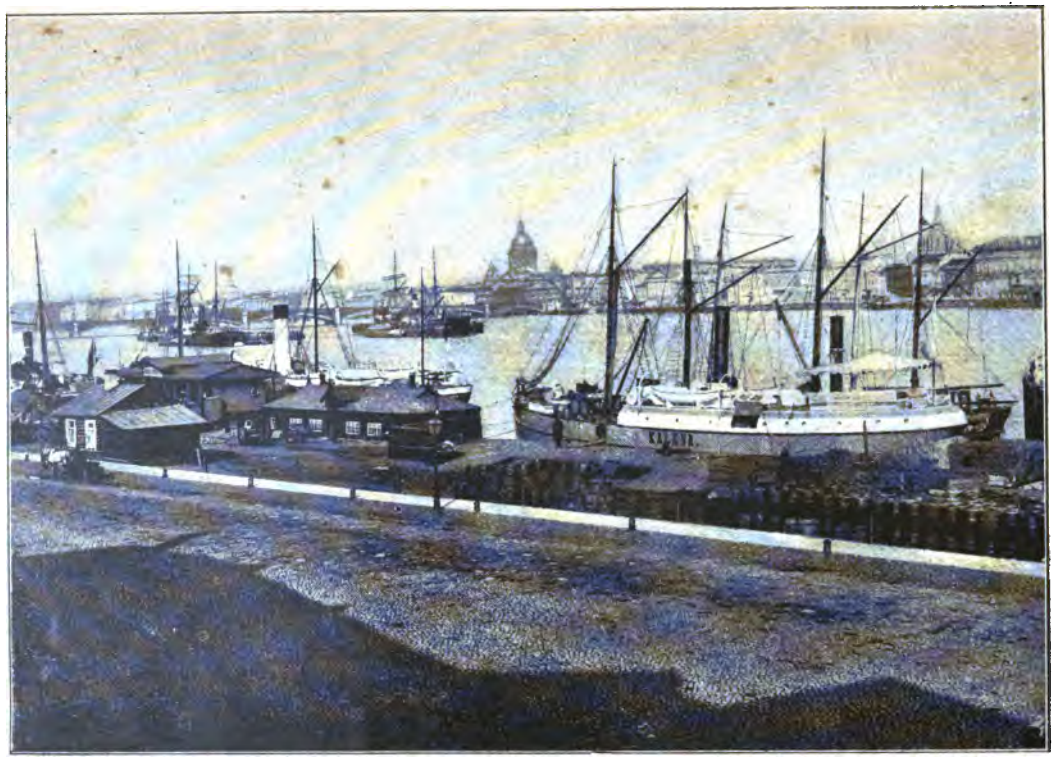
Прибѣжали въ избу дѣти,
Второпяхъ зовутъ отца:
„Тятя! тятя! наши сѣти
Притащили мертвеца“.
— Врите, врите, бѣсенята,
Заворчалъ на нихъ отецъ:
— Охъ ужъ эти мнѣ ребята!
Будетъ вамъ ужо мертвецъ!
Судъ наѣдетъ, отвѣчай-ка;
Съ нимъ я ввѣкъ не разберусь...
Дѣлать нечего! Хозяйка,

Дай кафтанъ: ужъ поплетусь...
— Гдѣ-жъ мертвецъ?— „Вонъ, тятя, э-вотъ!"
Въ самомъ дѣлѣ, при рѣкѣ,
Гдѣ разостланъ мокрый неводъ,
Мертвый виденъ на пескѣ.
Безобразно трупъ ужасный
Посинѣлъ и весь распухъ.
Горемыка ли несчастный
Погубилъ свой грѣшный духъ,
Рыболовъ ли взятъ волнами,
Аль ограбленный ворами
Недогадливый купецъ—
Мужику какое дѣло?
Озираясь, онъ спѣшитъ...
Онъ потопленное тѣло
Въ воду за ноги тащитъ,
И отъ берега крутова
Оттолкнулъ его весломъ,
И мертвецъ внизъ поплылъ снова
За могилой и крестомъ.
Долго мертвый межъ волнами
Плылъ, качаясь, какъ живой;
Проводивъ его глазами,
Нашъ мужикъ пошелъ домой:
„Вы, щенки, за мной ступайте!
Будетъ вамъ по калачу,
Да смотрите-жъ, не болтайте,
А нето поколочу".
Въ ночь погода зашумѣла,
Взволновалася рѣка;
Ужъ лучина [1]) догорѣла
Въ дымной хатѣ мужика;
Дѣти спятъ, хозяйка дремлетъ,
На полатяхъ мужъ лежитъ;
Буря воетъ; вдругъ онъ внемлетъ:
Кто-то тамъ въ окно стучитъ.

---

[1]) См. стр. 303.

—Кто тамъ?—„Эй, впусти, хозяинъ!“
—Ну, какая тамъ бѣда?
Что ты ночью бродишь, Каинъ?
Чортъ занесъ тебя сюда;
Гдѣ возиться мнѣ съ тобою?
Дома тѣсно и темно“.
И лѣнивою рукою
Подымаетъ онъ окно.
Изъ-за тучъ луна катится—
Что же? голый передъ нимъ:
Съ бороды вода струится,
Взоръ открытъ и недвижимъ;
Все въ немъ страшно онѣмѣло,
Опустились руки внизъ,
И въ распухнувшее тѣло
Раки черные впились.
И мужикъ окно захлопнулъ;
Гостя голаго узнавъ,
Такъ и обмеръ.—Чтобъ ты лопнулъ!—
Прошепталъ онъ, задрожавъ.
Страшно мысли въ немъ мѣшались,
Трясся ночь онъ напролетъ,
И до утра все стучались
Подъ окномъ и у воротъ.
Есть въ народѣ слухъ ужасный:
Говорятъ, что каждый годъ
Съ той поры мужикъ несчастный
Въ день урочный гостя ждетъ;
Ужъ съ утра погода злится,
Ночью буря настаетъ,
И утопленникъ стучится
Подъ окномъ и у воротъ.



Видъ Петербурга
съ пристаней на набережной Васильевскаго Острова.

Отдѣлъ седьмой:

ПЕТЕРБУРГЪ—МОСКВА и ЮЖНАЯ РОССІЯ.

I.

ПЕТЕРБУРГЪ.

1.

УТРО, ИЗЪ РОМАНА „ЕВГЕНІЙ ОНѢГИНЪ“.

...А Петербургъ неугомонный
Ужъ барабаномъ пробужденъ.
Встаетъ купецъ, идетъ разносчикъ,
На биржу тянется извозчикъ,
Съ кувшиномъ охтенка спѣшитъ,
Подъ ней снѣгъ утренній хруститъ.
Проснулся утра шумъ пріятный;
Открыты ставни; трубный дымъ
Столбомъ восходитъ голубымъ,—
И хлѣбникъ, нѣмецъ аккуратный,
Въ бумажномъ колпакѣ, не разъ
Ужъ отворялъ свой „васисдасъ“ [1])...

2.

ИЗЪ ПОЭМЫ «МѢДНЫЙ ВСАДНИКЪ».

Люблю тебя, Петра творенье;
Люблю твой строгій, стройный видъ,
Невы державное теченье,
Береговой ея гранитъ,

---

[1]) Форточка, черезъ которую въ булочной прежде продавали булки.

Твоихъ оградъ узоръ чугунный,
Твоихъ задумчивыхъ ночей
Прозрачный сумракъ, блескъ безлунный,
Когда я въ комнатѣ моей
Пишу, читаю безъ лампады,
И ясны спящія громады
Пустынныхъ улицъ, и свѣтла
Адмиралтейская игла [1]).
И не пуская тьму ночную
На золотыя небеса,
Одна заря смѣнить другую
Спѣшитъ, давъ ночи полчаса.
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздухъ и морозъ,
Бѣгъ санокъ, вдоль Невы широкой,
Дѣвичьи лица ярче розъ,
И блескъ, и шумъ, и говоръ баловъ,
А въ часъ пирушки холостой—
Шипѣнье пѣнистыхъ бокаловъ
И пунша пламень голубой.
Люблю воинственную живость
Потѣшныхъ Марсовыхъ полей,
Пѣхотныхъ ратей и коней
Однообразную красивость;
Въ ихъ стройно-зыблемомъ строю,
Лоскутья сихъ знаменъ побѣдныхъ,
Сіянье шапокъ этихъ мѣдныхъ,
Насквозь прострѣленныхъ въ бою.
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дымъ и громъ,
Когда полнощная царица
Даруетъ сына въ царскій домъ,
Или побѣду надъ врагомъ
Россія снова торжествуетъ,
Или, взломавъ свой синій ледъ,
Нева къ морямъ его несетъ
И, чуя вешни дни, ликуетъ.

[1]) Остроконечная металлическая вершина адмиралтейской башни.

Красуйся, градъ Петровъ, и стой
Неколебимо, какъ Россія!
Да умирится же съ тобой
И побѣжденная стихія:
Вражду и плѣнъ старинный свой
Пусть волны Финскія забудутъ
И тщетной злобою не будутъ
Тревожить вѣчный сонъ Петра!

3.

НАВОДНЕНІЕ, ИЗЪ ПОЭМЫ «МѢДНЫЙ ВСАДНИКЪ» [1]).

Была ужасная пора:
Объ ней свѣжо воспоминанье...
Объ ней, друзья мои, для васъ
Начну свое повѣствованье.
Печаленъ будетъ мой разсказъ...

Надъ омраченнымъ Петроградомъ
Дышалъ ноябрь осеннимъ хладомъ;
Плеская шумною волной
Въ края своей ограды стройной,
Нева металась, какъ больной
Въ своей постели безпокойной.
Ужъ было поздно и темно;
Сердито бился дождь въ окно,
И вѣтеръ дулъ, печально воя....
Рѣдѣетъ мгла ненастной ночи,
И блѣдный день ужъ настаетъ...
Ужасный день!
Нева всю ночь
Рвалася къ морю противъ бури,
Не одолѣвъ ихъ буйной дури...
И спорить стало ей не въ мочь..

---

[1]) 7-го ноября 1824 года, въ Петербургѣ, при императорѣ Александрѣ I.

Поутру надъ ея брегами
Тѣснился кучами народъ,
Любуясь брызгами, горами
И пѣной разъяренныхъ водъ.
Но силой вѣтра отъ залива
Перегражденная Нева
Обратно шла гнѣвна, бурлива,
И затопляла острова;
Погода пуще свирѣпѣла;
Нева вздувалась и ревѣла,
Котломъ клокоча и клубясь—
И вдругъ, какъ звѣрь остервенясь,
На городъ кинулась. Предъ нею
Все побѣжало, все вокругъ
Вдругъ опустѣло... Воды вдругъ
Втекли въ подземные подвалы;
Къ рѣшеткамъ хлынули каналы—
И всплылъ Петрополь [1]), какъ Тритонъ [2]),
По поясъ въ воду погруженъ.
Осада! приступъ! Злыя волны,
Какъ воры, лѣзутъ въ окна; чолны
Съ разбѣга стекла бьютъ кормой;
Садки подъ мокрой пеленой,
Обломки хижинъ, бревна, кровли,
Товаръ запасливой торговли,
Пожитки блѣдной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба съ размытаго кладбища
Плывутъ по улицамъ!..
Народъ
Зритъ Божій гнѣвъ и казни ждетъ.
Увы! все гибнетъ: кровъ и пища.
Гдѣ будетъ взять?
Въ тотъ грозный годъ
Покойный царь еще Россіей

---

[1]) Петрополь—Петербургъ.
[2]) Тритонъ—греческій богъ моря.

Со славой правилъ. На балконъ
Печаленъ, смутенъ, вышелъ онъ,
И молвилъ: „Съ Божіей стихіей
Царямъ не совладать“. Онъ сѣлъ
И въ думѣ скорбными очами
На злое бѣдствіе глядѣлъ.
Стояли стогны [1]) озерами,
И въ нихъ широкими рѣками
Вливались улицы. Дворецъ
Казался островомъ печальнымъ.
Царь молвилъ—изъ конца въ конецъ,
По ближнимъ улицамъ и дальнымъ,
Въ опасный путь средь бурныхъ водъ
Его пустились генералы
Спасать и страхомъ обуялый,
И дома тонущій народъ....
Но, вотъ, насытясь разрушеньемъ
И наглымъ буйствомъ утомясь,
Нева обратно повлеклась,
Своимъ любуясь возмущеньемъ
И покидая съ небреженьемъ
Свою добычу. Такъ злодѣй,
Съ свирѣпой шайкою своей
Въ село ворвавшись, ловитъ, рѣжетъ,
Крушитъ и грабитъ; вопли, скрежетъ,
Насилье, брань, тревога, вой!...
И грабежомъ отягощенны,
Боясь погони, утомленны,
Спѣшатъ разбойники домой,
Добычу на пути роняя....
Но, торжествомъ побѣды полны,
Еще кипѣли злобно волны,
Какъ бы подъ ними тлѣлъ огонь;
Еще ихъ пѣна покрывала,
И тяжело Нева дышала,
Какъ съ битвы прибѣжавшій конь....

---

[1]) Площади.

...Ночная мгла
На городъ трепетный сошла;
Но долго жители не спали
И межъ собою толковали
О днѣ минувшемъ.
Утра лучъ
Изъ-за усталыхъ, блѣдныхъ тучъ
Блеснулъ надъ тихою столицей—
И не нашелъ уже слѣдовъ
Бѣды вчерашней. Багряницей
Уже покрыто было зло.
Въ порядокъ прежній все вошло.
Уже по улицамъ свободнымъ,
Съ своимъ безчувствіемъ холоднымъ,
Ходилъ народъ. Чиновный людъ,
Покинувъ свой ночной пріютъ,
На службу шелъ. Торгашъ отважный,
Не унывая, открывалъ
Невой ограбленный подвалъ,
Сбираясь свой убытокъ важный
На ближнемъ вымѣстить. Съ дворовъ
Свозили лодки....

4.

ВИДѢНІЕ, ИЗЪ ПОЭМЫ «МѢДНЫЙ ВСАДНИКЪ».

Въ «Мѣдномъ Всадникѣ» Пушкинъ разсказываетъ о молодомъ мелкомъ чиновникѣ Евгеніи, который сошелъ съума съ горя, послѣ того, какъ невѣста его погибла во время наводненія 7 ноября 1824 г. Сумасшедшимъ бродилъ онъ по Петербургу, безъ пристанища, ночевалъ на улицахъ и нечаянно попалъ на то мѣсто, гдѣ спасся самъ отъ наводненія. Это мѣсто—зданіе военнаго министерства на Адмиралтейской площади; по краямъ высокаго крыльца его стоятъ два каменныхъ льва; на одного изъ нихъ Евгеній взобрался и просидѣлъ, пока не сбыла вода. Съ этого крыльца былъ хорошо виденъ памятникъ Петру Великому—«гигантъ на

Петръ Великій на берегу Невы.

ПАМЯТНИКЪ
Петру Великому.
„Мѣдный Всадникъ“, Пушкина, въ С.-Петербургѣ; на Сенатской площади.

бронзовомъ конѣ» [1]).—Тогда на площади не было еще сада, изъ-за деревьевъ котораго теперь памятника не видно.

В. О.

Разъ онъ спалъ
У невской пристани. Дни лѣта
Клонились къ осени. Дышалъ
Ненастный вѣтеръ. Мрачный валъ
Плескалъ на пристань, ропща пени
И бьясь о гладкія ступени,
Какъ челобитчикъ у дверей
Ему не внемлющихъ судей.
Бѣднякъ проснулся. Мрачно было;
Дождь капалъ; вѣтеръ выдъ уныло—
И съ нимъ вдали, во тьмѣ ночной,
Перекликался часовой....
Вскочилъ Евгеній, вспомнилъ живо
Онъ прошлый ужасъ; торопливо
Онъ всталъ, пошелъ бродить, и вдругъ
Остановился, и вокругъ
Тихонько сталъ водить очами
Съ боязнью дикой на лицѣ.
Онъ очутился подъ столбами
Большого дома. На крыльцѣ
Съ подъятой лапой, какъ живые,
Стояли львы сторожевые,
И прямо въ темной вышинѣ,
Надъ огражденною скалою,
Гигантъ съ простертою рукою
Сидѣлъ на бронзовомъ конѣ.
Евгеній вдрогнулъ. Прояснились
Въ немъ страшно мысли. Онъ узналъ
И мѣсто, гдѣ потопъ игралъ,
Гдѣ волны хищныя толпились,

---

[1]) Памятникъ этотъ сдѣланъ по заказу Императрицы Екатерины II скульпторомъ Фальконетомъ.

Бунтуя злобно вкругъ него,
И львовъ, и площадь, и того,
Кто неподвижно возвышался
Во мракѣ мѣдною главой,
Того, чьей волей роковой
Надъ моремъ городъ основался....
Кругомъ подножія кумира
Безумецъ бѣдный обошелъ,
И взоры дикіе навелъ
На ликъ державца полуміра.
Стѣснилась грудь его. Чело
Къ рѣшеткѣ хладной прилегло,
Глаза подернулись туманомъ,
По сердцу пламень пробѣжалъ,
Вскипѣла кровь; онъ мрачно сталъ
Предъ горделивымъ истуканомъ—
И зубы стиснувъ, пальцы сжавъ,
Какъ обуянный силой черной:
„Добро, строитель чудотворный!“
Шепнулъ онъ, злобно задрожавъ:
„Ужо тебѣ!..“ И вдругъ стремглавъ
Бѣжать пустился. Показалось
Ему, что грознаго царя,
Мгновенно гнѣвомъ возгоря,
Лицо тихонько обращалось...
И онъ по площади пустой
Бѣжитъ, и слышитъ за собой,
Какъ будто грома грохотанье,—
Тяжело звонкое скаканье
По потрясенной мостовой—
И, озаренъ луною блѣдной,
Простерши руку въ вышинѣ,
За нимъ несется Всадникъ Мѣдный
На звонко-скачущемъ конѣ....

II.

МОСКВА.

1.

ИЗЪ ПОСЛАНІЯ къ Н. В. ВСЕВОЛОЖСКОМУ.

Ты скачешь въ мирную Москву,
Гдѣ наслажденьямъ знаютъ цѣну,
Безпечно дремлютъ наяву
И въ жизни любятъ перемѣну.
Въ сей азіатской сторонѣ,
Насъ увѣряютъ, жизнь—игрушка!
Въ почтенной кичкѣ, шушунѣ,
Москва—премилая старушка.
Разнообразной и живой
Она плѣняетъ пестротой,
Старинной роскошью, пирами,
Невѣстами, колоколами,
Забавной, легкой суетой,
Невинной прозой и стихами.
Ты тамъ на шумныхъ вечерахъ
Увидишь важное бездѣлье,
Жеманство въ тонкихъ кружевахъ
И глупость въ золотыхъ очкахъ,
И тучной знатности похмелье,
И скуку съ картами въ рукахъ. . .

2.

ИЗЪ РОМАНА «ЕВГЕНІЙ ОНѢГИНЪ».

Но вотъ, ужъ близко. Передъ ними
Ужъ бѣлокаменной Москвы,
Какъ жаръ, крестами золотыми
Горятъ старинныя главы.

Ахъ, братцы! какъ я былъ доволенъ,
Когда церквей и колоколенъ,
Садовъ, чертоговъ полукругъ
Открылся предо мною вдругъ!
Какъ часто въ горестной разлукѣ,
Въ моей блуждающей судьбѣ,
Москва, я думалъ о тебѣ!
Москва... какъ много въ этомъ звукѣ
Для сердца русскаго слилось!
Какъ много въ немъ отозвалось!

Вотъ, окруженъ своей дубравой,
Петровскій замокъ. Мрачно онъ
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждалъ Наполеонъ,
Послѣднимъ счастьемъ упоенный,
Москвы колѣнопреклоненной
Съ ключами стараго Кремля:
Нѣтъ, не пошла Москва моя
Къ нему съ повинной головою.
Не праздникъ, не пріемный даръ, —
Она готовила пожаръ
Нетерпѣливому герою!
Отселѣ, въ думу погруженъ,
Глядѣлъ на грозный пламень онъ.

Прощай, свидѣтель падшей славы,
Петровскій замокъ.... Ну! не стой,
Пошелъ! Уже столпы заставы
Бѣлѣютъ; вотъ ужъ по Тверской
Возокъ несется чрезъ ухабы.
Мелькаютъ мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,

Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины, моды,
Балконы, львы на воротахъ
И стаи галокъ на крестахъ....

III.

ЮЖНАЯ РОССІЯ.

1.

Донъ.

Блеща средь полей широкихъ,
Вонъ онъ льется!.. Здравствуй, Донъ!
Отъ сыновъ твоихъ далекихъ
Я привезъ тебѣ поклонъ...
Какъ прославленнаго брата,
Рѣки знаютъ тихій Донъ,—
Отъ Аракса [1]) и Евфрата
Я привезъ тебѣ поклонъ.
Отдохнувъ отъ злой погони,
Чуя родину свою,
Пьютъ уже донскіе кони
Арпачайскую струю [2]).
Приготовь же, Донъ завѣтный,
Для наѣздниковъ лихихъ
Сокъ кипучій, искрометный
Виноградниковъ твоихъ.

---

[1]) Араксъ—рѣка пограничная съ Персіей, впадаетъ въ рѣку Куру.
[2]) Арпачай—граница Арменіи.

2.

Цыганы въ Бессарабіи.

Надъ лѣсистыми брегами,
Въ часъ вечерней тишины,
Шумъ и пѣсни подъ шатрами,
И огни разложены.
Здравствуй, счастливое племя!
Узнаю твои костры;
Я бы самъ въ иное время
Провожалъ сіи шатры.
Завтра съ первыми лучами
Вашъ исчезнетъ вольный слѣдъ,
Вы уйдете—но за вами
Не пойдетъ ужъ вашъ поэтъ.
Онъ бродящіе ночлеги
И проказы старины
Позабылъ для сельской нѣги
И домашней тишины....

Цыганы шумною толпой
По Бессарабіи кочуютъ.
Они сегодня надъ рѣкой
Въ шатрахъ изодранныхъ ночуютъ.
Какъ вольность, веселъ ихъ ночлегъ
И мирный сонъ подъ небесами.
Между колесами телѣгъ,
Полузавѣшанныхъ коврами,
Горитъ огонь; семья кругомъ
Готовитъ ужинъ; въ чистомъ полѣ
Пасутся кони; за шатромъ
Ручной медвѣдь лежитъ на волѣ.
Все живо посреди степей:
Заботы мирныя семей,
Готовыхъ съ утромъ въ путь недальній,

И пѣсни женъ, и крикъ дѣтей,
И звонъ походной наковальни.
Но вотъ на таборъ кочевой
Нисходитъ сонное молчанье,
И слышно въ тишинѣ степной
Лишь лай собакъ, да коней ржанье.....
И съ шумомъ высыпалъ народъ;
Шатры разобраны; телѣги
Готовы двинуться въ походъ;
Все вмѣстѣ тронулось—и вотъ
Толпа валитъ въ пустыхъ равнинахъ.
Ослы въ перекидныхъ корзинахъ
Дѣтей играющихъ несутъ;
Мужья и братья, жены, дѣвы,
И старъ, и младъ, вослѣдъ идутъ;
Крикъ, шумъ, цыганскіе припѣвы,
Медвѣдя ревъ, его цѣпей
Нетерпѣливое бряцанье,
Лохмотьевъ яркихъ пестрота,
Дѣтей и старцевъ нагота,
Собакъ и лай, и завыванье,
Волынки говоръ, скрипъ телѣгъ—
Все скудно, дико, все нестройно,
Но все такъ живо-непокойно,
Такъ чуждо мертвыхъ нашихъ нѣгъ,
Такъ чуждо этой жизни праздной,
Какъ пѣснь рабовъ однообразной...

3.

Въ Крыму.

Кто видѣлъ край, гдѣ роскошью природы
Оживлены дубровы и луга,
Гдѣ весело шумятъ и блещутъ воды
И мирные ласкаютъ берега,
Гдѣ на холмы, подъ лавровые своды,

Не смѣютъ лечь угрюмые снѣга?
Скажите мнѣ: кто видѣлъ край прелестный,
Гдѣ я любилъ, изгнанникъ неизвѣстный?..
Я помню горъ прибрежныя стремнины,
Прозрачныхъ водъ веселыя струи,
И тѣнь, и шумъ, и красныя долины,
Гдѣ бѣдныя простыхъ татаръ семьи,
Среди заботъ и съ дружбою взаимной,
Подъ кровлею живутъ гостепріимной.
Все мило тамъ красою безмятежной,
Все путника плѣняетъ и манитъ,
Какъ въ ясный день дорогою прибрежной
Привычный конь по склону горъ бѣжитъ.
Повсюду трудъ веселый и прилежный
Сады татаръ и нивы богатитъ;
Холмы цвѣтутъ, и въ листьяхъ винограда
Виситъ янтарь, ночныхъ пировъ отрада.
Все живо тамъ, все тамъ—очей отрада:
Въ тѣни оливъ уснувшія стада,
Вокругъ домовъ рѣшетки винограда,
Монастыри, селенья, города,
И моря шумъ, и говоръ водопада,
И средь валовъ бѣгущія суда,
И яркіе лучи златого Феба [1]),
И синій сводъ полуденнаго неба.

Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда.
Звѣзда печальная, вечерняя звѣзда!
Твой лучъ осеребрилъ увядшія равнины,
И дремлющій заливъ, и черныхъ скалъ вершины.
Люблю твой слабый свѣтъ въ небесной вышинѣ:
Онъ думы разбудилъ уснувшія во мнѣ.
Я помню твой восходъ, знакомое свѣтило,
Надъ мирною страной, гдѣ все для сердца мило,
Гдѣ стройно тополи въ долинахъ вознеслись,

---

[1]) Фебъ—Солнце.

Гурзуфъ, съ дороги въ Ялту.

На Кавказѣ.

Гдѣ дремлетъ нѣжный миртъ и темный кипарисъ,
И сладостно шумятъ таврическія волны.
Тамъ нѣкогда въ горахъ, сердечной думы полный,
Надъ моремъ я влачилъ задумчивую лѣнь,
Когда на хижины сходила ночи тѣнь....

Волшебный край, очей отрада!
Все живо тамъ: холмы, лѣса,
Янтарь и яхонтъ винограда,
Долинъ пріютная краса,
И струй, и тополей прохлада —
Все чувство путника манитъ,
Когда, въ часъ утра безмятежный,
Въ горахъ, дорогою прибрежной,
Привычный конь его бѣжитъ,
И зеленѣющая влага
Предъ нимъ и блещетъ, и шумитъ
Вокругъ утесовъ Аю-дага...

4.

На Кавказѣ.

(1829 г.)

Кавказъ подо мною. Одинъ въ вышинѣ
Стою надъ снѣгами у края стремнины:
Орелъ, съ отдаленной поднявшись вершины,
Паритъ неподвижно со мной наравнѣ.
Отселѣ я вижу потоковъ рожденье
И первое грозныхъ обваловъ движенье.
Здѣсь тучи смиренно идутъ подо мной;
Сквозь нихъ низвергаясь, шумятъ водопады;
Подъ ними утесовъ нагія громады,
Тамъ, ниже, мохъ тощій, кустарникъ сухой;
А тамъ, уже рощи, зеленыя сѣни,
Гдѣ птицы щебечутъ, гдѣ скачутъ олени.

А тамъ ужъ и люди гнѣздятся въ горахъ,
И ползаютъ овцы по злачнымъ стремнинамъ,
И пастырь нисходитъ къ веселымъ долинамъ,
Гдѣ мчится Арагва [1]) въ тѣнистыхъ брегахъ,
И нищій наѣздникъ таится въ ущельѣ,
Гдѣ Терекъ играетъ въ свирѣпомъ весельѣ.
Играетъ и воетъ, какъ звѣрь молодой,
Завидѣвшій пищу изъ клѣтки желѣзной,
И бьется о берегъ въ враждѣ безполезной,
И лижетъ утесы голодной волной....
Вотще! Нѣтъ ни пищи ему, ни отрады:
Тѣснятъ его грозно нѣмыя громады....

5.

Обвалъ.

Дробясь о мрачныя скалы,
Шумятъ и пѣнятся валы,
И надо мной кричатъ орлы,
И ропщетъ боръ,
И блещутъ средь волнистой мглы
Вершины горъ.
Оттоль сорвался разъ обвалъ,
И съ тяжкимъ грохотомъ упалъ,
И всю тѣснину между скалъ
Загородилъ,
И Терека могущій валъ
Остановилъ.
Вдругъ, истощась и присмирѣвъ,
О, Терекъ, ты прервалъ свой ревъ;
Но заднихъ волнъ упорный гнѣвъ
Прошибъ снѣга...
Ты затопилъ, освирѣпѣвъ,
Свои брега.

---

[1]) Арагва и Терекъ—кавказскія рѣки.

И долго прорванный обвалъ
Неталой грудою лежалъ,
И Терекъ злой подъ нимъ бѣжалъ,
И пылью водъ,
И шумной пѣной орошалъ
Ледяный сводъ.
И путь по немъ широкій шелъ,
И конь скакалъ, и влекся волъ,
И своего верблюда велъ
Степной купецъ,
Гдѣ нынѣ мчится лишь Эолъ [1]),
Небесъ жилецъ.

Высоко надъ семьею горъ,
Казбекъ [2]), твой царственный шатеръ
Сіяетъ вѣчными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Какъ въ небѣ рѣющій ковчегъ,
Паритъ, чуть видный надъ горами.
Далекій, вожделѣнный брегъ!
Туда-бъ, сказавъ прости ущелью,
Подняться къ вольной вышинѣ;
Туда бъ, въ заоблачную келью,
Въ сосѣдство Бога, скрыться мнѣ!

....Терекъ своенравный
Крутые роетъ берега;
Предъ нимъ паритъ орелъ державный,
Стоитъ олень, склонивъ рога,
Верблюдъ лежитъ въ тѣни утеса,
Въ лугахъ несется конь черкеса,
И вкругъ кочующихъ шатровъ
Пасутся овцы калмыковъ.

---

[1]) Вѣтеръ.
[2]) Казбекъ—высокая гора на Кавказѣ.

Вдали—кавказскія громады:
Къ нимъ путь открытъ. Пробилась брань
За ихъ естественную грань,
Чрезъ ихъ опасныя преграды:
Брега Арагвы и Куры [1])
Узрѣли русскіе шатры.
Уже пустыни сторожъ вѣчный,
Стѣсненный холмами вокругъ,
Стоитъ Бешту [2]) остроконечный
И зеленѣющій Машукъ,—
Машукъ, податель струй цѣлебныхъ;
Вокругъ ручьевъ его волшебныхъ
Больныхъ тѣснится блѣдный рой.

Перестрѣлка за холмами;
Смотритъ лагерь ихъ и нашъ;
На холмѣ предъ казаками
Вьется красный делибашъ [3]).
Делибашъ, не суйся къ лавѣ [4])!
Пожалѣй свое житье;
Вмигъ аминь лихой забавѣ:
Попадешься на копье.
Эй, казакъ, не рвися къ бою!
Делибашъ на всемъ скаку
Срѣжетъ саблею кривою
Съ плечъ удалую башку.
Мчатся, сшиблись въ общемъ крикѣ...
Посмотрите, каковы!..
Делибашъ уже на пикѣ,
А казакъ безъ головы.

---

[1]) Кура—кавказская рѣка.
[2]) Бешту и Машукъ—вершины кавказскихъ горъ.
[3]) Делибашъ—удалой наѣздникъ.
[4]) Лава—казачья сотня, выстроившаяся въ одинъ рядъ для атаки.

Въ царствованіе Императора Александра II, въ 1859 г., Кавказъ окончательно присоединенъ къ Россіи. До тѣхъ поръ кавказскіе народы—чеченцы, черкесы—постоянно воевали съ русскими и нерѣдко забирали въ плѣнъ русскихъ офицеровъ. Про одного изъ такихъ плѣнныхъ офицеровъ и разсказываетъ Пушкинъ въ «Кавказскомъ плѣнникѣ».

В. О.

Ужъ меркнетъ солнце за горами;
Вдали раздался шумный гулъ;
Съ полей народъ идетъ въ аулъ [1]),
Сверкая свѣтлыми косами.
Пришли; въ домахъ зажглись огни,
И постепенно шумъ нестройный
Умолкнулъ; все въ ночной тѣни
Объято нѣгою спокойной;
Вдали сверкаетъ горный ключъ,
Сбѣгая съ каменной стремнины;
Одѣлись пеленою тучъ
Кавказа спящія вершины...
Въ часъ ранней утренней прохлады,
Вперялъ онъ неподвижный взоръ
На отдаленныя громады
Сѣдыхъ, румяныхъ, синихъ горъ,
Великолѣпныя картины!
Престолы вѣчные снѣговъ,
Очамъ казались ихъ вершины
Недвижной цѣпью облаковъ,
И въ ихъ кругу колоссъ двуглавый,
Въ вѣнцѣ блистая ледяномъ,
Эльбрусъ [2]) огромный, величавый,
Бѣлѣлъ на небѣ голубомъ.
Когда, съ глухимъ сливаясь гуломъ,
Предтеча бури, громъ гремѣлъ,
Какъ часто плѣнникъ предъ ауломъ

---

[1]) Аулъ—селеніе горцевъ.
[2]) Эльбрусъ—высочайшая кавказская гора.

Недвижимъ на горѣ сидѣлъ.
У ногъ его дымились тучи,
Въ степи взвивался паръ летучій;
Уже пріюта между скалъ
Олень испуганный искалъ;
Орлы съ утесовъ подымались
И въ небесахъ перекликались;
Шумъ табуновъ, мычанье стадъ
Ужъ гласомъ бури заглушались...
И вдругъ на долы—дождь и градъ
Изъ тучъ сквозь молній извергались;
Волнами роя крутизны,
Сдвигая камни вѣковые,
Текли потоки дождевые—
А плѣнникъ, съ горной вышины,
Одинъ, за тучей громовою,
Возврата солнечнаго ждалъ,
Недосягаемый грозою,
И бури немощному вою
Съ какой-то радостью внималъ.
Но европейца все вниманье
Народъ сей чудный привлекалъ.
Межъ горцевъ плѣнникъ наблюдалъ
Ихъ вѣру, нравы, воспитанье,
Любилъ ихъ жизни простоту,
Гостепріимство, жажду брани,
Движеній вольныхъ быстроту,
И легкость ногъ, и силу длани;
Смотрѣлъ по цѣлымъ онъ часамъ,
Какъ иногда черкесъ проворный,
Широкой степью, по горамъ,
Въ косматой шапкѣ, въ буркѣ черной,
Къ лукѣ склонясь, на стремена
Ногою стройной опираясь,
Леталъ по волѣ скакуна,
Къ войнѣ заранѣ пріучаясь.
Онъ любовался красотой
Одежды бранной и простой.

Черкесъ оружіемъ обвѣшенъ;
Онъ имъ гордится, имъ утѣшенъ:
На немъ броня, пищаль, колчанъ.
Кубанскій лукъ, кинжалъ, арканъ.
И шашка, вѣчная подруга
Его трудовъ, его досуга.
Ничто его не тяготитъ,
Ничто не брякнетъ: пѣшій, конный—
Все тотъ же онъ, все тотъ же видъ
Непобѣдимый, непреклонный.
Гроза безпечныхъ казаковъ,
Его богатство—конь ретивый,
Питомецъ горскихъ табуновъ,
Товарищъ вѣрный, терпѣливый.
Въ пещерѣ иль въ травѣ глухой
Коварный хищникъ съ нимъ таится,—
И вдругъ, внезапною стрѣлой,
Завидя путника стремится;
Въ одно мгновенье вѣрный бой
Рѣшитъ ударъ его могучій,
И странника въ ущелья горъ
Уже влечетъ арканъ летучій.
Стремится конь во весь опоръ,
Исполненъ огненной отваги,
Все путь ему—болото, боръ,
Кусты, утесы и овраги;
Кровавый слѣдъ за нимъ бѣжитъ,
Въ пустынѣ топотъ раздается;
Сѣдой потокъ предъ нимъ шумитъ—
Онъ въ глубь кипящую несется,
И путникъ, брошенный ко дну,
Глотаетъ мутную волну,
Изнемогая, смерти проситъ
И зритъ ее передъ собой...
Но мощный конь—его стрѣлой
На берегъ пѣнистый выноситъ.
Иль, ухвативъ рогатый пень,
Въ рѣку низверженный грозою,

Когда на холмахъ пеленою
Лежитъ безлунной ночи тѣнь,
Черкесъ на корни вѣковые,
На вѣтви вѣшаетъ кругомъ
Свои доспѣхи боевые—
Щитъ, бурку, панцырь и шеломъ,
Колчанъ и лукъ—и въ быстры волны
За нимъ бросается потомъ,
Неутомимый и безмолвный.
Глухая ночь. Рѣка реветъ,
Могучій токъ его несетъ
Вдоль береговъ уединенныхъ,
Гдѣ на курганахъ возвышенныхъ,
Склонясь на копья, казаки
Глядятъ на темный бѣгъ рѣки—
И мимо ихъ, во мглѣ чернѣя,
Плыветъ оружіе злодѣя...
О чемъ ты думаешь, казакъ?
Воспоминаешь прежни битвы,
На смертномъ полѣ свой бивакъ,
Полковъ хвалебныя молитвы
И родину?.. Коварный сонъ!
Простите, вольныя станицы,
И домъ отцовъ, и тихій Донъ,
Война и красныя дѣвицы!
Къ брегамъ причалилъ тайный врагъ,
Стрѣла выходитъ изъ колчана,
Взвилась—и падаетъ казакъ
Съ окровавленнаго кургана.
Когда же съ мирною семьей
Черкесъ въ отеческомъ жилищѣ
Сидитъ ненастною порой,
И тлѣютъ угли въ пепелищѣ;
И спрянувъ съ вѣрнаго коня,
Въ горахъ пустынныхъ запоздалый,
Къ нему войдетъ пришлецъ усталый
И робко сядетъ у огня—
Тогда хозяинъ благосклонный

Съ привѣтомъ ласково встаетъ
И гостю въ чашѣ благовонной
Чихирь [1]) отрадный подаетъ.
Подъ влажной буркой, въ саклѣ дымной,
Вкушаетъ путникъ мирный сонъ,
И утромъ оставляетъ онъ
Ночлега кровъ гостепріимный.
Бывало, въ свѣтлый Баиранъ [2]),
Сберутся юноши толпою;
Игра смѣняется игрою:
То, полный разобравъ колчанъ,
Они крылатыми стрѣлами
Цронзаютъ въ облакахъ орловъ;
То съ высоты крутыхъ холмовъ,
Нетерпѣливыми рядами
При данномъ знакѣ вдругъ падутъ,
Какъ лани, землю поражаютъ,
Равнину пылью покрываютъ
И съ дружнымъ топотомъ бѣгутъ.
Но скученъ миръ однообразный
Сердцамъ, рожденнымъ для войны,
И часто игры воли праздной
Игрой жестокой смущены.
Нерѣдко шашки грозно блещутъ
Въ безумной рѣзвости пировъ,
И въ прахъ летятъ главы рабовъ,
И въ радости младенцы плещутъ.

Въ рѣкѣ бѣжитъ гремучій валъ;
Въ горахъ безмолвіе ночное;
Казакъ усталый задремалъ,
Склонясь на копіе стальное.
Не спи, казакъ: во тьмѣ ночной
Чеченецъ ходитъ за рѣкой.

---

[1]) Чихирь—вино.
[2]) Мусульманскій праздникъ.

Казакъ плыветъ на челнокѣ,
Влача по дну рѣчному сѣти;
Казакъ, утонешь ты въ рѣкѣ,
Какъ тонутъ маленькія дѣти,
Купаясь жаркою порой:
Чеченецъ ходитъ за рѣкой.
На берегу завѣтныхъ водъ
Цвѣтутъ богатыя станицы;
Веселый пляшетъ хороводъ.
Бѣгите, русскія пѣвицы,
Спѣшите, красныя, домой:
Чеченецъ ходитъ за рѣкой.

6.

Галубъ.

(1829 г.)

Не для бесѣдъ и ликованій,
Не для кровавыхъ совѣщаній,
Не для распросовъ кунака [1]),
Не для разбойничьей потѣхи
Такъ рано съѣхались адехи [2])
На дворъ Галуба, старика.
Въ нежданной встрѣчѣ сынъ Галуба
Рукой завистника убитъ
Вблизи развалинъ Татартуба.
Въ родимой саклѣ онъ лежитъ;
Обрядъ творится погребальный;
Звучитъ уныло пѣснь муллы...
Въ арбу впряженные волы
Стоятъ предъ саклею печальной.
Дворъ полонъ тѣсною толпой;
Подъемлютъ гости скорбный вой

[1]) Пріятель.
[2]) Такъ называютъ себя черкесы.

И съ плачемъ бьютъ въ нагрудны брони;
И внемля шумъ не боевой,
Мятутся спутанные кони.
Всѣ ждутъ. Изъ сакли наконецъ
Выходитъ между женъ отецъ;
Два узденя [1]) за нимъ выносятъ
На буркѣ хладный трупъ. Толпу
По сторонамъ раздаться просятъ,
Слагаютъ тѣло на арбу
И съ нимъ кладутъ снарядъ воинскій:
Неразряженную пищаль,
Колчанъ и лукъ, кинжалъ грузинскій
И шашки крестовую сталь, —
Чтобы крѣпка была могила,
Гдѣ храбрый ляжетъ почивать,
Чтобъ могъ на зовъ онъ Азраила [2])
Исправнымъ воиномъ возстать.
Въ дорогу шествіе готово,
И тронулась арба. За ней
Адехи слѣдуютъ сурово,
Смиряя молча пылъ коней.
Ужъ потухалъ закатъ огнистый,
Златя нагорныя скалы,
Когда долины каменистой
Достигли тихіе волы.
Въ долинѣ той враждою жадной
Сраженъ наѣздникъ молодой—
Тамъ нынѣ въ тѣнь могилы хладной
Онъ ляжетъ, блѣдный и нѣмой...
Ужъ трупъ землею взятъ. Могила
Завалена. Толпа вокругъ
Мольбы послѣднія творила...
Изъ-за горы явились вдругъ
Старикъ сѣдой и отрокъ стройный,
Даютъ дорогу пришлецу,

---

[1]) Наѣздники.
[2]) Ангелъ смерти.

И скорбному старикъ отцу
Такъ молвилъ, важный и спокойный:
„Тому прошло тринадцать лѣтъ,
Какъ ты, въ аулъ чужой пришедъ,
Вручилъ мнѣ слабаго младенца,
Чтобъ воспитаньемъ изъ него
Я сдѣлалъ храбраго чеченца.
Сегодня сына одного
Ты преждевременно хоронишь.
Галубъ, покоренъ будь судьбѣ!
Другого я привелъ тебѣ—
Вотъ онъ. Ты голову преклонишь
Къ его могучему плечу,
Свою потерю имъ замѣнишь;
Труды мои ты самъ оцѣнишь—
Хвалиться ими не хочу“.
Умолкнулъ. Смотритъ торопливо
Галубъ на отрока. Тазитъ,
Главу потупя, молчаливо
Ему недвижимъ предстоитъ.
И въ горѣ имъ Галубъ любуясь,
Влеченью сердца повинуясь,
Объемлетъ ласково его.
Потомъ наставника ласкаетъ,
Благодаритъ и приглашаетъ
Подъ кровлю дома своего.
Три дня, три ночи съ кунаками
Его онъ хочетъ угощать,
И послѣ съ честью провожать,
Съ благословеньемъ и дарами.
Ему-жъ, отецъ печальный мнитъ,
Обязанъ благомъ я безцѣннымъ:
Слугой и другомъ неизмѣннымъ,
Могучимъ мстителемъ обидъ.
Проходятъ дни. Печаль заснула
Въ душѣ Галуба. Но Тазитъ
Все дикость прежнюю хранитъ:
Среди родимаго аула

Онъ какъ чужой; онъ цѣлый день
Въ горахъ одинъ, молчитъ и бродитъ.
Такъ въ саклѣ пойманный олень
Все въ лѣсъ глядитъ, все въ глушь уходитъ.
Онъ любитъ по крутымъ скаламъ
Скользить, ползти тропой кремнистой,
Внимая бури голосистой
И въ безднѣ воющимъ волнамъ;
Онъ иногда до поздней ночи
Сидитъ, печаленъ, надъ горой,
Недвижно въ даль уставя очи,
Опершись на руку главой.
Какія мысли въ немъ проходятъ?
Чего желаетъ онъ тогда?
Изъ міра дольнаго куда
Младые сны его уводятъ?....
Какъ знать? Незрима глубь сердецъ!
Въ мечтаньяхъ отрокъ своеволенъ,
Какъ вѣтеръ въ небѣ...
Но отецъ
Уже Тазитомъ недоволенъ.
„Гдѣ-жъ, мыслитъ онъ, въ немъ плодъ наукъ,—
Отважность, хитрость и проворство;
Лукавый умъ и сила рукъ?
Въ немъ только лѣнь и непокорство...
Иль сына взоръ мой не проникъ,
Иль обманулъ меня старикъ?“
Тазитъ изъ табуна выводитъ
Коня, любимца своего.
Два дня въ аулѣ нѣтъ его;
На третій онъ домой приходитъ.
Отецъ.—Гдѣ былъ ты, сынъ?
Сынъ.—Въ ущельѣ скалъ,
Гдѣ прорванъ каменистый берегъ
И путь открытъ на Даріалъ.
Отецъ.—Что дѣлалъ тамъ?
Сынъ.—Я слушалъ Терекъ.

Отецъ.—А не видалъ ли ты грузинъ,
Иль русскихъ?
Сынъ.—Видѣлъ я, съ товаромъ
Тифлисскій ѣхалъ армянинъ.
Отецъ.—Онъ былъ со стражей?
Сынъ.—Нѣтъ, одинъ.
Отецъ.—Зачѣмъ нечаяннымъ ударомъ
Не вздумалъ ты свалить его,
И не прыгнулъ къ нему съ утеса?

Потупилъ очи сынъ черкеса,
Не отвѣчая ничего.
Тазитъ опять коня сѣдлаетъ,
Два дня, двѣ ночи пропадаетъ,
Потомъ является домой.
Отецъ.—Гдѣ былъ?
Сынъ.—За Бѣлою горой.
Отецъ.—Кого ты встрѣтилъ?
Сынъ.—На курганѣ
Отъ насъ бѣжавшаго раба.
Отецъ.—О, милосердая судьба!
Гдѣ-жъ онъ? Ужели на арканѣ
Ты бѣглеца не притащилъ?

Тазитъ опять главу склонилъ.
Галубъ нахмурился въ молчаньѣ,
Но скрылъ свое негодованье.
„Нѣтъ, мыслитъ онъ, не замѣнитъ
Онъ никогда другого брата!
Не научился мой Тазитъ,
Какъ шашкой добываютъ злата;
Ни стадъ моихъ, ни табуновъ
Не надѣлятъ его разъѣзды,—
Онъ только знаетъ безъ трудовъ
Внимать волнамъ, глядѣть на звѣзды,
А не въ набѣгахъ отбивать
Коней съ ногайскими быками,

И съ боя взятыми рабами
Суда въ Анапѣ нагружать".
Тазитъ опять коня сѣдлаетъ,
Два дня, двѣ ночи пропадаетъ;
На третій, блѣденъ какъ мертвецъ,
Приходитъ онъ домой. Отецъ,
Его увидя, вопрошаетъ:
Гдѣ былъ ты?
Сынъ.—Около станицъ
Кубани, близъ лѣсныхъ границъ...
Отецъ.—Кого ты видѣлъ?
Сынъ.—Супостата.
Отецъ.—Кого, кого?
Сынъ.—Убійцу брата.
Отецъ.—Убійцу сына моего?...
Тазитъ! гдѣ голова его?
Подай, мнѣ черепъ этотъ нуженъ...
Дай, нагляжусь!
Сынъ.—Убійца былъ
Одинъ, израненъ, безоруженъ...
Отецъ.—Ты долга крови не забылъ...
Врага ты навзничь опрокинулъ...
Не правда ли? Ты шашку вынулъ,
Ты въ горло сталь ему воткнулъ
И трижды тихо повернулъ?
Упился ты его стенаньемъ,
Его змѣинымъ издыханьемъ?..
Гдѣ-жъ голова? Подай!.. Нѣтъ силъ...

Но сынъ молчитъ, потупя очи.
И сталъ Галубъ чернѣе ночи,
И сыну грозно возопилъ:
„Поди ты прочь: ты мнѣ—не сынъ,
Ты—не чеченецъ, ты—старуха,
Ты—трусъ, ты—рабъ, ты—армянинъ...
Будь проклятъ мной!—Поди, чтобъ слуха
Никто о робкомъ не имѣлъ,
Чтобъ вѣчно ждалъ ты грозной встрѣчи,

Чтобъ мертвый братъ тебѣ на плечи
Окровавленной кошкой сѣлъ,
И къ безднѣ гналъ тебя нещадно;
Чтобъ ты, какъ раненый олень,
Бѣжалъ, тоскуя безотрадно;
Чтобъ дѣти русскихъ деревень
Тебя веревкою поймали,
И, какъ волченка, затерзали—
Чтобъ ты... Бѣги, бѣги скорѣй!
Не оскверняй моихъ очей!"
Сказалъ, и наземь легъ—и очи
Закрылъ, и такъ лежалъ до ночи.
Когда же приподнялся онъ,
Былъ теменъ синій небосклонъ...
Ущелій горныхъ поселенцы
Въ долинѣ шумно собрались;
Привычны игры начались:
Верхами юные чеченцы,
Въ пыли несясь во весь опоръ,
Стрѣлою шапку пробиваютъ,
Иль трижды сложенный коверъ
Булатомъ сразу разсѣкаютъ,
То скользкой тѣшатся борьбой,
То пляской быстрой. Жены, дѣвы
Межъ тѣмъ поютъ—и гулъ лѣсной
Далече вторитъ ихъ напѣвы.
Но между юношей—одинъ
Забавъ наѣздничьихъ не дѣлитъ,
Верхомъ не мчится вдоль стремнинъ,
Изъ лука звонкаго не цѣлитъ.
Но между дѣвами—одна
Молчитъ, уныла и блѣдна.
Они въ толпѣ четою странной
Стоятъ, не видя ничего.
О, было время! Съ ней украдкой
Видался юноша въ горахъ;
Онъ пилъ огонь отравы сладкой
Въ ея смятеньи, въ рѣчи краткой,

Въ ея потупленныхъ очахъ,
Когда съ домашняго порогу
Она смотрѣла на дорогу,
Съ подружкой рѣзвой говоря,
И вдругъ садилась и блѣднѣла,
И, отвѣчая, не глядѣла,
И разгоралась, какъ заря;
Или у водъ когда стояла,
Текущихъ съ каменныхъ вершинъ,
И долго кованый кувшинъ
Волною звонкой наполняла...
И онъ, не властный превозмочь
Волненій сердца, разъ приходитъ
Къ ея отцу, его отводитъ
И говоритъ: „Твоя мнѣ дочь
Давно мила; по ней тоскуя,
Одинъ и сиръ давно живу я;
Благослови любовь мою.
Я бѣденъ—но могучъ и молодъ,
Мнѣ трудъ легокъ. Я удалю
Отъ нашей саклй тощій голодъ.
Тебѣ я буду сынъ и другъ
Послушный, преданный и нѣжный,
Твоимъ сынамъ—кунакъ надежный,
А ей—приверженный супругъ...“

Отдѣлъ восьмой:

ВѢНОКЪ ИЗЪ ПОЭЗІИ ПУШКИНА.

1.

Птичка [1]).

(1822 г.)

Въ чужбинѣ свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При свѣтломъ праздникѣ весны.
Я сталъ доступенъ утѣшенью;
За что на Бога мнѣ роптать,
Когда хоть одному творенью
Я могъ свободу даровать?

Птичка Божія не знаетъ [2])
Ни заботы, ни труда;
Хлопотливо не свиваетъ
Долговѣчнаго гнѣзда;
Въ долгу ночь на вѣткѣ дремлетъ;
Солнце красное взойдетъ—
Птичка гласу Бога внемлетъ,—
Встрепенется и поетъ.

---

[1]) Прислано въ письмѣ съ юга отъ 12 мая 1822 г. другу поэта Н. И. Гнѣдичу съ припиской: „Знаете ли вы трогательный обычай русскаго мужика въ Свѣтлое Воскресеніе выпускать на волю птичку? Вотъ вамъ стихотвореніе на это“.

[2]) Этотъ отрывокъ взятъ изъ поэмы „Цыгане“.

За весной, красой природы,
Лѣто знойное пройдетъ—
И туманъ, и непогоды
Осень поздняя несетъ:
Людямъ скучно, людямъ горе;
Птичка въ дальнія страны,
Въ теплый край, за сине море,
Улетаетъ до весны.

2.

Шотландская пѣсня.

Воронъ къ ворону летитъ,
Воронъ ворону кричитъ:
Воронъ, гдѣ-бъ намъ отобѣдать?
Какъ бы намъ о томъ провѣдать?
Воронъ ворону въ отвѣтъ:
Знаю, будетъ намъ обѣдъ:
Въ чистомъ полѣ, подъ ракитой,
Богатырь лежитъ убитый.
Кѣмъ убитъ и отчего,
Знаетъ соколъ лишь его,
Да кобылка вороная,
Да хозяйка молодая.
Соколъ въ рощу улетѣлъ,
На кобылку недругъ сѣлъ,
А хозяйка ждетъ милова,
Не убитаго, живова.

3.

Эхо.

(1831 г.)

Реветъ ли звѣрь въ лѣсу глухомъ,
Трубитъ ли рогъ, гремитъ ли громъ,
Поетъ ли дѣва за холмомъ—

На всякій звукъ
Свой откликъ въ воздухѣ пустомъ
Родишь ты вдругъ.
Ты внемлешь грохоту громовъ
И гласу бури и валовъ,
И крику сельскихъ пастуховъ—
И шлешь отвѣтъ;
Тебѣ-жъ нѣтъ отзыва... Таковъ
И ты, поэтъ!

4.

Золото и булатъ.

Все мое, сказало злато;
Все мое, сказалъ булатъ.
Все куплю, сказало злато;
Все возьму, сказалъ булатъ.

5.

Узникъ.

(1822 г.)

Сижу за рѣшеткой въ темницѣ сырой.
Вскормленный на волѣ орелъ молодой,
Мой грустный товарищъ, махая крыломъ,
Кровавую пищу клюетъ подъ окномъ.
Клюетъ и бросаетъ, и смотритъ въ окно,
Какъ будто со мною задумалъ одно;
Зоветъ меня взглядомъ и крикомъ своимъ,
И вымолвить хочетъ: „давай улетимъ!
„Мы вольныя птицы; пора, братъ, пора!
Туда, гдѣ за тучей бѣлѣетъ гора,
Туда, гдѣ синѣютъ морскіе края,
Туда, гдѣ гуляемъ... лишь вѣтеръ да я!..“

6.

Анчаръ.

ДРЕВО ЯДА.

Въ пустынѣ чахлой и скупой,
На почвѣ, зноемъ раскаленной,
Анчаръ, какъ грозный часовой,
Стоитъ, одинъ во всей вселенной.
Природа жаждущихъ степей
Его въ день гнѣва породила
И зелень мертвую вѣтвей
И корни ядомъ напоила.
Ядъ каплетъ сквозь его кору,
Къ полудню растопясь отъ зною,
И застываетъ ввечеру
Густой, прозрачною смолою.
Къ нему и птица не летитъ,
И тигръ нейдетъ: лишь вихорь черный
На древо смерти набѣжитъ—
И мчится прочь уже тлетворный.
И если туча оросить,
Блуждая, листъ его дремучій,
Съ его вѣтвей ужъ ядовитъ
Стекаетъ дождь въ песокъ горючій.
Но человѣка человѣкъ
Послалъ къ Анчару властнымъ взглядомъ:
И тотъ послушно въ путь потекъ,
И къ утру возвратился съ ядомъ.
Принесъ онъ смертную смолу,
Да вѣтвь съ увядшими листами—
И потъ по блѣдному челу
Струился хладными ручьями;
Принесъ—и ослабѣлъ, и легъ
Подъ сводомъ шалаша, на лыки,
И умеръ бѣдный рабъ у ногъ
Непобѣдимаго владыки.

А царь тѣмъ ядомъ напиталъ
Свои послушливыя стрѣлы,
И съ ними гибель разослалъ
Къ сосѣдямъ въ чуждые предѣлы.

7.

Туча.

Послѣдняя туча разсѣянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тѣнь,
Одна ты печалишь ликующій день.
Ты небо недавно кругомъ облегала,
И молнія грозно тебя обвивала,
И ты издавала таинственный громъ,
И алчную землю поила дождемъ.
Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освѣжилась, и буря промчалась,
И вѣтеръ, лаская листочки древесъ,
Тебя съ успокоенныхъ гонитъ небесъ.

8.

Къ морю.

Прощай, свободная стихія!
Въ послѣдній разъ передо мной
Ты катишь волны голубыя
И блещешь гордою красой.
Какъ друга ропотъ заунывный,
Какъ зовъ его прощальный часъ,
Твой грустный шумъ, твой шумъ призывный
Услышалъ я въ послѣдній разъ.
Моей души предѣлъ желанный!
Какъ часто по брегамъ твоимъ

Бродилъ я, тихій и туманный,
Завѣтнымъ умысломъ томимъ.
Какъ я любилъ твои отзывы,
Глухіе звуки, бездны гласъ,
И тишину въ вечерній часъ,
И своенравные порывы.
Смиренный парусъ рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользитъ отважно средь зыбей—
Но ты взыгралъ, неодолимый,
И стая тонетъ кораблей!
Не удалось навѣкъ оставить
Мнѣ скучный, неподвижный брегъ,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтамъ твоимъ направить
Мой поэтическій побѣгъ.
Ты ждалъ, ты звалъ... я былъ окованъ;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарованъ,
У береговъ остался я.
О чемъ жалѣть? Куда бы нынѣ
Я путь безпечный устремилъ?
Одинъ предметъ въ твоей пустынѣ
Мою бы душу поразилъ.
Одна скала, гробница славы...
Тамъ погружались въ хладный сонъ
Воспоминанья величавы:
Тамъ угасалъ Наполеонъ.
Тамъ онъ почилъ среди мученій...
И вслѣдъ за нимъ, какъ бури шумъ,
Другой отъ насъ умчался геній,
Другой властитель нашихъ думъ [1]).
Исчезъ, оплаканный свободой,
Оставя міру свой вѣнецъ.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Онъ былъ, о море! твой пѣвецъ.

---

[1]) Англійскій поэтъ Байронъ.

Твой образъ былъ на немъ означенъ;
Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ:
Какъ ты, могущъ, глубокъ и мраченъ,
Какъ ты, ничѣмъ неукротимъ.
Міръ опустѣлъ... Теперь куда же
Меня бъ ты вынесъ, океанъ?
Судьба людей повсюду та же:
Гдѣ капля блага, тамъ на стражѣ
Иль самовластье, иль тиранъ.
Прощай же, море! не забуду
Твоей торжественной красы,
И долго, долго слышать буду
Твой гулъ въ вечерніе часы.
Въ лѣса, въ пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полнъ,
Твои скалы, твои заливы,
И блескъ, и тѣнь, и говоръ волнъ.

9.

Земля и море.

Когда по синевѣ морей
Зефиръ [1]) скользитъ и тихо вѣетъ
Въ вѣтрила [2]) гордыхъ кораблей
И челны на волнахъ лелѣетъ,—
Заботъ и думъ слагая грузъ,
Тогда лѣнюсь я веселѣе
И забываю пѣсни музъ:
Мнѣ моря сладкій шумъ милѣе.
Когда же волны по брегамъ
Ревутъ, кипятъ и пѣной плещутъ
И громъ гремитъ по небесамъ,
И молніи во мракѣ блещутъ,—

[1]) Легкій теплый вѣтеръ.
[2]) Паруса.

Я удаляюсь отъ морей
Въ гостепріимныя дубровы:
Земля мнѣ кажется вѣрнѣй
И жалокъ мнѣ рыбакъ суровый:
Живетъ на утломъ онъ челнѣ,
Игралище слѣпой пучины,
А я въ надежной тишинѣ
Внимаю шумъ ручья долины.

10.

Аквилонъ [1]).

Зачѣмъ ты, грозный аквилонъ,
Тростникъ болотный долу клонишь?
Зачѣмъ на дальній небосклонъ
Ты облако столь гнѣвно гонишь?
Недавно черныхъ тучъ грядой
Сводъ неба глухо облекался,
Недавно дубъ надъ высотой
Въ красѣ надменной величался.
Но ты поднялся, ты взыгралъ,
Ты прошумѣлъ грозой и славой
И бурны тучи разогналъ,
И дубъ низвергнулъ величавый.
Пускай же солнца ясный ликъ,
Отнынѣ радостью блистаетъ,
И облакомъ зефиръ играетъ,
И тихо зыблется тростникъ.

---

[1]) Сѣверный холодный вѣтеръ.

11.

Овидій [1]).

РАЗСКАЗЪ СТАРАГО ЦЫГАНА ИЗЪ ПОЭМЫ „ЦЫГАНЕ“.

Межъ нами есть одно преданье:
Царемъ когда-то сосланъ былъ
Полудня житель къ намъ въ изгнанье
(Я прежде зналъ, но позабылъ
Его мудреное прозванье).
Онъ былъ уже лѣтами старъ,
Но младъ и живъ душой незлобной;
Имѣлъ онъ пѣсенъ дивный даръ
И голосъ, шуму водъ подобный.
И полюбили всѣ его,
И жилъ онъ на брегахъ Дуная,
Не обижая никого,
Людей разсказами плѣняя.
Не разумѣлъ онъ ничего,
И слабъ, и робокъ былъ, какъ дѣти;
Чужіе люди за него
Звѣрей и рыбъ ловили въ сѣти;
Какъ мерзла быстрая рѣка
И зимни вихри бушевали,
Пушистой кожей покрывали
Они святого старика;
Но онъ къ заботамъ жизни бѣдной
Привыкнуть никогда не могъ;
Скитался онъ изсохшій, блѣдный,
Онъ говорилъ, что гнѣвный Богъ
Его каралъ за преступленье,
Онъ ждалъ: придетъ ли избавленье,
И все несчастный тосковалъ,

[1]) Овидій, римскій поэтъ, сосланный императоромъ Августомъ на берегъ Чернаго моря, гдѣ и умеръ въ 17 году по Рождествѣ Христовомъ.

Бродя по берегамъ Дуная,
Да горьки слезы проливалъ,
Свой дальній градъ воспоминая...
И завѣщалъ онъ, умирая,
Чтобы на югъ перенесли
Его тоскующія кости,
И смертью—чуждой сей земли —
Неуспокоенные гости.

12.

Пѣвецъ.

Слыхали-ль вы за рощей гласъ ночной
Пѣвца любви, пѣвца своей печали?
Когда поля въ часъ утренній молчали,
Свирѣли звукъ унылый и простой
Слыхали-ль вы?
Встрѣчали-ль вы въ пустынной тьмѣ лѣсной
Пѣвца любви, пѣвца своей печали?
Слѣды ли слезъ, улыбку-ль замѣчали,
Иль тихій взоръ, исполненный тоской?
Встрѣчали-ль вы?
Вздохнули-ль вы, внимая тихій гласъ
Пѣвца любви, пѣвца своей печали?
Когда въ лѣсахъ вы юношу видали,
Встрѣчая взоръ его потухшихъ глазъ,
Вздохнули-ль вы?

13.

Если жизнь тебя обманетъ,
Не печалься, не сердись!
Въ день унынія смирись:
День веселья, вѣрь, настанетъ.

Сердце въ будущемъ живетъ;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдетъ;
Что пройдетъ, то будетъ мило.

14.

Послѣдніе цвѣты.

ВЪ АЛЬБОМЪ П. А. ОСИПОВОЙ.

Цвѣты послѣдніе милѣй
Роскошныхъ первенцевъ полей.
Они унылыя мечтанья
Живѣе пробуждаютъ въ насъ:
Такъ иногда разлуки часъ
Живѣе самаго свиданья.

15.

Цвѣтокъ.

Цвѣтокъ засохшій, безуханный,
Забытый въ книгѣ, вижу я;
И вотъ, уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:
Гдѣ цвѣлъ? когда? какой весною?
И долго-ль цвѣлъ? и сорванъ кѣмъ,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положенъ сюда зачѣмъ?
На память нѣжнаго-ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокаго гулянья
Въ тиши полей, въ тѣни лѣсной?
И живъ ли тотъ, и та жива ли?
И нынче гдѣ ихъ уголокъ?
Или уже они увяли,
Какъ сей невѣдомый цвѣтокъ?

16.

Въ альбомъ.

Что въ имени тебѣ моемъ?
Оно умретъ, какъ шумъ печальный
Волны, плеснувшей въ берегъ дальный,
Какъ звукъ ночной въ лѣсу глухомъ.
Оно на памятномъ листкѣ
Оставитъ мертвый слѣдъ, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятномъ языкѣ.
Что въ немъ? Забытое давно
Въ волненьяхъ новыхъ и мятежныхъ,
Твоей душѣ не дастъ оно
Воспоминаній чистыхъ, нѣжныхъ.
Но въ день печали, въ тишинѣ
Произнеси его, тоскуя,
Скажи: есть память обо мнѣ,
Есть въ мірѣ сердце, гдѣ живу я!

17.

Къ портрету Жуковскаго.

(1818 г.)

Его стиховъ плѣнительная сладость
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль,
И, внемля имъ, вздохнетъ о славѣ младость,
Утѣшится безмолвная печаль,
И рѣзвая задумается радость.

18.

Ив. Ив. Пущину.

Мой первый другъ, мой другъ безцѣнный!
И я судьбу благословилъ,
Когда мой дворъ уединенный,
Печальнымъ снѣгомъ занесенный,
Твой колокольчикъ огласилъ.
Молю святое Провидѣнье,
Да голосъ мой душѣ твоей
Даруетъ то же утѣшенье,
Да озаритъ онъ заточенье
Лучемъ лицейскихъ ясныхъ дней!

19.

Молитва.

(1836 г.)

Отцы-пустынники и жены непорочны,
Чтобъ сердцемъ возлетать во области заочны,
Чтобъ укрѣплять его средь дольнихъ бурь и битвъ,
Сложили множество божественныхъ молитвъ;
Но ни одна изъ нихъ меня не умиляетъ,
Какъ та, которую священникъ повторяетъ
Во дни печальные великаго поста;
Всѣхъ чаще мнѣ она приходитъ на уста—
И падшаго свѣжитъ невѣдомою силой:
„Владыко дней моихъ! духъ праздности унылой,
Любоначалія, змѣи сокрытой сей,
И празднословія не дай душѣ моей;
Но дай мнѣ зрѣть мои, о Боже! прегрѣшенья,
Да братъ мой отъ меня не приметъ осужденья,
И духъ смиренія, терпѣнія, любви
И цѣломудрія мнѣ въ сердцѣ оживи.“

20.

Возрожденіе.

(1819 г.)

Художникъ-варваръ кистью сонной
Картину генія чернитъ,
И свой рисунокъ беззаконный
Надъ ней безсмысленно чертитъ.
Но краски чуждыя, съ лѣтами,
Спадаютъ ветхой чешуей;
Созданье генія предъ нами
Выходитъ съ прежней красотой.
Такъ исчезаютъ заблужденья
Съ измученной души моей,
И возникаютъ въ ней видѣнья
Первоначальныхъ, чистыхъ дней.

21.

Предчувствіе.

(1828 г.)

Снова тучи надо мною
Собралися въ тишинѣ:
Рокъ завистливый бѣдою
Угрожаетъ снова мнѣ...
Сохраню-ль къ судьбѣ презрѣнье?
Понесу-ль навстрѣчу ей
Непреклонность и терпѣнье
Гордой юности моей?
Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду:
Можетъ быть, еще спасенный,
Снова пристань я найду...

Но, предчувствуя разлуку,
Неизбѣжный, грозный часъ,
Сжать твою, мой ангелъ, руку
Я спѣшу въ послѣдній разъ.
Ангелъ кроткій, безмятежный,
Тихо молви мнѣ:—прости!
Опечалься, взоръ свой нѣжный
Подыми, иль опусти.
И твое воспоминанье
Замѣнитъ душѣ моей
Силу, гордость, упованье
И отвагу юныхъ дней.

22.

Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье
Мнѣ тяжело, какъ смутное похмелье,
Но, какъ вино, печаль минувшихъ дней
Въ моей душѣ чѣмъ старѣ, тѣмъ сильнѣй.
Мой путь унылъ. Сулитъ мнѣ трудъ и горе
Грядущаго волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать!
Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать;
И вѣдаю, мнѣ будутъ наслажденья
Межъ горестей, заботъ и треволненья:
Порой опять гармоніей упьюсь,
Надъ вымысломъ слезами обольюсь,
И, можетъ быть, на мой закатъ печальный
Блеснетъ любовь улыбкою прощальной.

23.

Изъ посланія къ князю А. М. Горчакову.

Душа полна невольной, грустной думой;
Мнѣ кажется, на жизненномъ пиру

Одинъ, съ тоской, явлюсь я—гость угрюмый,
Явлюсь на часъ, и одинокъ умру.
И не придетъ другъ сердца незабвенный
Въ послѣдній мигъ мой томный взоръ сомкнуть,
И не придетъ на холмъ уединенный
Въ послѣдній разъ любовію вздохнуть!
Ужель моя пройдетъ пустынно младость?
Иль мнѣ чужда счастливая любовь?
Ужель умру, не вѣдая, что радость?
Зачѣмъ же жизнь дана мнѣ отъ боговъ?
Чего мнѣ ждать? Въ рядахъ забытый воинъ,
Среди толпы затерянный пѣвецъ—
Какихъ наградъ я въ будущемъ достоинъ,
И счастія какой возьму вѣнецъ?

24.

Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ,
Вхожу-ль во многолюдный храмъ,
Сижу-ль межъ юношей безумныхъ,
Я предаюсь моимъ мечтамъ.
Я говорю: промчатся годы,
И сколько здѣсь ни видно насъ,
Мы всѣ сойдемъ подъ вѣчны своды—
И чей-нибудь ужъ близокъ часъ.
Гляжу-ль на дубъ уединенный,
Я мыслю: патріархъ лѣсовъ
Переживетъ мой вѣкъ забвенный,
Какъ пережилъ онъ вѣкъ отцовъ.
Младенца-ль милаго ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебѣ я мѣсто уступаю:
Мнѣ время тлѣть, тебѣ цвѣсти.
День каждый, каждую годину
Привыкъ я думой провожать,
Грядущей смерти годовщину
Межъ нихъ стараясь угадать.

И гдѣ мнѣ смерть пошлетъ судьбина:
Въ бою ли, въ странствіи, въ волнахъ?
Или сосѣдняя долина
Мой приметъ охладѣлый прахъ?
И хоть безчувственному тѣлу
Равно повсюду истлѣвать,
Но ближе къ милому предѣлу
Мнѣ все бъ хотѣлось почивать.
И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять.

25.

Когда за городомъ задумчивъ я брожу
И на публичное кладбище захожу—
Рѣшетки, столбики, нарядныя гробницы,
Подъ коими гніютъ всѣ мертвецы столицы,
Въ болотѣ кое-какъ стѣсненные кругомъ,
Какъ гости жадные за нищенскимъ столомъ;
Купцовъ, чиновниковъ усопшихъ мавзолеи
(Дешеваго рѣзца нелѣпыя затѣи!),
Надъ ними надписи и въ прозѣ, и въ стихахъ,
О добродѣтеляхъ, о службѣ, о чинахъ...
Могилы склизкія, зѣвающія тутъ,
Которыя жильцовъ къ себѣ наутро ждутъ—
Такія смутныя мнѣ мысли все наводитъ,
Что злое на меня уныніе находитъ,
Хоть плюнуть, да бѣжать.
Но какъ же любо мнѣ
Осеннею порой, въ вечерней тишинѣ,
Въ деревнѣ посѣщать кладбище родовое,
Гдѣ дремлютъ мертвые въ торжественномъ покоѣ:
Тамъ неукрашеннымъ могиламъ есть просторъ!
Къ нимъ ночью темною не лѣзетъ блѣдный воръ;
Близъ камней вѣковыхъ, покрытыхъ желтымъ мохомъ,

Проходитъ селянинъ съ молитвой и со вздохомъ;
Намѣсто праздныхъ урнъ и мелкихъ пирамидъ,
Безносыхъ геніевъ, растрепанныхъ харитъ [1]),
Стоитъ широкій дубъ надъ важными гробами,
Колеблясь и шумя...

26.

Три ключа.

Въ степи мірской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробились три ключа:
Ключъ юности—ключъ быстрый и мятежный,
Кипитъ, бѣжитъ, сверкая и журча;
Кастальскій ключъ [2]) волною вдохновенья
Въ степи мірской изгнанниковъ поитъ;
Послѣдній ключъ—холодный ключъ забвенья,
Онъ слаще всѣхъ жаръ сердца утолитъ.

27.

Телѣга жизни.

Хоть тяжело подъ-часъ въ ней бремя,
Телѣга на ходу легка:
Ямщикъ лихой, сѣдое время,
Везетъ, не слѣзетъ съ облучка.
Съ утра садимся мы въ телѣгу;
Мы рады голову сломать,
И, презирая лѣнь и нѣгу,
Кричимъ: пошелъ!..
Но въ полдень нѣтъ ужъ той отваги—
Порастрясло насъ, намъ страшнѣй
И косогоры, и овраги;
Кричимъ: полегче, дуралей!

---

[1]) Греческія богини радости.

[2]) Ключъ на скатѣ горы Парнаса въ Греціи, вода котораго, по мнѣнію грековъ, вдохновляла поэтовъ.

Катитъ попрежнему телѣга;
Подъ вечеръ мы привыкли къ ней,
И, дремля, ѣдемъ до ночлега,
А время гонитъ лошадей.

28.

19 октября 1831.

Чѣмъ чаще празднуетъ Лицей
Свою святую годовщину,
Тѣмъ робче старый кругъ друзей
Въ семью стѣсняется едину;
Тѣмъ рѣже онъ; тѣмъ праздникъ нашъ
Въ своемъ веселіи мрачнѣе;
Тѣмъ глуше звонъ заздравныхъ чашъ,
И наши пѣсни тѣмъ грустнѣе.

Шесть мѣстъ упраздненныхъ стоятъ;
Шести друзей не узримъ болѣ;
Они, разбросанные, спятъ
Кто здѣсь, кто тамъ, на ратномъ полѣ;
Кто дома, кто въ землѣ чужой;
Кого недугъ, кого печали
Свели во мракъ земли сырой—
И всѣхъ мы братски поминали.
И, мнится, очередь за мной...
Зоветъ меня мой Дельвигъ милый [1]),
Товарищъ юности живой,
Товарищъ юности унылой,
Товарищъ пѣсенъ молодыхъ,
Пировъ и чистыхъ помышленій,

---

[1]) Баронъ Антонъ Антоновичъ Дельвигъ, род. 1798 г., скончался въ 1731 г.; любимый товарищъ Пушкина по Лицею; талантливый поэтъ, писалъ народныя пѣсни; издавалъ сборникъ „Сѣверные цвѣты.“

Туда, въ толпу тѣней родныхъ,
Навѣкъ отъ насъ ушедшій геній.

29.

19 октября 1836.

Была пора: нашъ праздникъ молодой
Сіялъ, шумѣлъ и розами вѣнчался,
И съ пѣснями бокаловъ звонъ мѣшался,
И тѣсною сидѣли мы толпой.
Тогда, душой безпечные невѣжды,
Мы жили всѣ и легче, и смѣлѣй,
Мы пили всѣ за здравіе надежды
И юности, и всѣхъ ея затѣй.
Теперь не то: разгульный праздникъ нашъ
Съ приходомъ лѣтъ, какъ мы, перебѣсился:
Онъ присмирѣлъ, утихъ, остепенился,
Сталъ глуше звонъ его заздравныхъ чашъ,
Межъ нами рѣчь не такъ игриво льется;
Просторнѣе, грустнѣе мы сидимъ,
И рѣже смѣхъ средь пѣсенъ раздается,
И чаще мы вздыхаемъ и молчимъ.
Всему пора. Ужъ двадцать пятый разъ
Мы празднуемъ Лицея день завѣтный;
Прошли года чредою незамѣтной,—
И какъ они перемѣнили насъ!
Не даромъ, нѣтъ, промчалась четверть вѣка!
Не сѣтуйте: таковъ судьбы законъ;
Вращается весь міръ вкругъ человѣка,
Ужель одинъ недвижимъ будетъ онъ?
Припомните, о други! съ той поры,
Когда нашъ кругъ судьбы соединили,
Чему, чему свидѣтели мы были!..
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы,
И высились, и падали цари,

И кровь людей—то славы, то свободы,
То гордости—багрила алтари [1]).
Вы помните: когда возникъ Лицей,
Какъ царь для насъ открылъ чертогъ царицынъ—
И мы пришли, и встрѣтилъ насъ Куницынъ [2])
Привѣтствіемъ межъ царственныхъ гостей.
Тогда гроза двѣнадцатаго года
Еще спала; еще Наполеонъ
Не испыталъ великаго народа—
Еще грозилъ и колебался онъ.
Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались,
И въ сѣнь наукъ съ досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шелъ мимо насъ... И племена сразились,
Русь обняла кичливаго врага,
И заревомъ московскимъ озарились
Его полкамъ готовые снѣга.
Вы помните, какъ нашъ Агамемнонъ [3])
Изъ плѣннаго Парижа къ намъ примчался:
Какой восторгъ тогда предъ нимъ раздался!
Какъ былъ великъ, какъ былъ прекрасенъ онъ,
Народовъ другъ, спаситель ихъ свободы!
Вы помните, какъ оживились вдругъ
Сіи сады, сіи живыя воды,
Гдѣ проводилъ онъ славный свой досугъ!
И нѣтъ его—и Русь оставилъ онъ,
Взнесенну имъ надъ міромъ изумленнымъ,
И на скалѣ, изгнанникомъ забвеннымъ,
Всему чужой, угасъ Наполеонъ.

---

[1]) Говоритъ про Наполеоновскія войны 1812—1815 гг.

[2]) Любимый учитель въ Лицеѣ, произнесшій на актѣ 1811 года рѣчь о значеніи новаго учебнаго заведенія, устроеннаго тогда во дворцѣ Екатерины II, въ Царскомъ Селѣ.

[3]) Агамемнономъ называетъ Пушкинъ императора Александра I, уподобляя его главному вождю греческихъ царей, пошедшихъ на малоазійскій городъ Трою, о чемъ разсказывается въ старинной греческой народной повѣсти, Иліадѣ.

И новый царь, суровый и могучій [1]),
На рубежѣ Европы бодро сталъ,
И надъ землей сошлися новы тучи...

30.

Друзьямъ.

(1828 г.)

Нѣтъ я не льстецъ, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смѣло чувства выражаю,
Языкомъ сердца говорю.
Его я просто полюбилъ:
Онъ бодро, честно правитъ нами.
Россію вдругъ онъ оживилъ
Войной, надеждами, трудами.
О нѣтъ, хоть юность въ немъ кипитъ,
Но не жестокъ въ немъ духъ державный:
Тому, кого караетъ явно,
Онъ втайнѣ милости творитъ.
Текла въ изгнаньѣ жизнь моя,
Влачилъ я съ милыми разлуку,
Но онъ мнѣ царственную руку
Подалъ, и съ вами снова я.
Во мнѣ почтилъ онъ вдохновенье,
Освободилъ онъ мысль мою,
И я-ль въ сердечномъ умиленьѣ
Ему хвалы не воспою?
Я льстецъ? Нѣтъ, братья, льстецъ лукавъ:
Онъ горе на царя накличетъ,
Онъ изъ его державныхъ правъ
Одну лишь милость ограничитъ.

---

[1]) Николай I; см. раньше стихотвореніе „Стансы," стр. 201, гдѣ говорится объ Императорѣ Николаѣ I.

Онъ скажетъ: презирай народъ,
Гнети природы голосъ нѣжный!
Онъ скажетъ: просвѣщенья плодъ—
Развратъ и нѣкій духъ мятежный!
Бѣда странѣ, гдѣ рабъ и льстецъ—
Одни приближены къ престолу,
А небомъ избранный пѣвецъ
Молчитъ, потупя очи долу [1]).

31.

Къ женѣ.

Пора, мой другъ, пора! Покоя сердце проситъ,
Летятъ за днями дни, и каждый день уноситъ
Частицу бытія, а мы съ тобой вдвоемъ
Располагаемъ жить. И глядь—все прахъ: умремъ!
На свѣтѣ счастья нѣтъ, а есть покой и воля.
Давно, усталый рабъ, замыслилъ я побѣгъ
Въ обитель дальнюю трудовъ и чистыхъ нѣгъ...

32.

Я пережилъ свои желанья,
Я разлюбилъ свои мечты!
Остались мнѣ одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.
Подъ бурями судьбы жестокой
Увялъ цвѣтущій мой вѣнецъ!

---

[1]) Стихотвореніе это, какъ и „Стансы“ (см. стр. 201) относится къ Императору Николаю Павловичу, котораго поэтъ любилъ и который самъ также очень любилъ поэта до самой смерти послѣдняго и не мало оказалъ милостей ему и его осиротѣлой семьѣ. Стихи вызваны недовѣріемъ нѣкоторыхъ лицъ къ искренности чувствъ, выраженныхъ въ Стансахъ, и представляютъ какъ бы отвѣтъ на эти подозрѣнія.

Живу печальный, одинокій,
И жду: придетъ ли мой конецъ?
Такъ, позднимъ хладомъ пораженный,
Какъ бури слышенъ зимній свистъ,
Одинъ на вѣткѣ обнаженной
Трепещетъ запоздалый листъ.

33.

Соловей.

Соловей мой, соловейко!
Птица малая, лѣсная!
У тебя-ль, у малой птицы,
Неизмѣнныя три пѣсни;
У меня ли, у молодца,
Три великія заботы:
Какъ ужъ первая забота—
Рано молодца женили;
А вторая-то забота—
Воронъ конь мой притомился;
Какъ ужъ третья-то забота—
Красну дѣвицу со мною
Разлучили злые люди.
Вы копайте мнѣ могилу
Во полѣ, полѣ широкомъ,
Въ головахъ мнѣ посадите
Алы цвѣтики-цвѣточки,
А въ ногахъ мнѣ проведите
Чисту воду ключевую.
Пройдутъ мимо красны дѣвки,
Такъ сплетутъ себѣ вѣночки;
Пойдутъ мимо стары люди,
Такъ воды себѣ зачерпнутъ.

34.

Вурдалакъ [1]).

Трусоватъ былъ Ваня бѣдный:
Разъ онъ позднею порой,
Весь въ поту, отъ страха, блѣдный,
Чрезъ кладбище шелъ домой.
Бѣдный Ваня еле дышитъ,
Спотыкаясь, чуть бредетъ
По могиламъ; вдругъ онъ слышитъ—
Кто-то кость, ворча, грызетъ.
Ваня сталъ—шагнуть не можетъ.
Боже! думаетъ бѣднякъ,
Это, вѣрно, кости гложетъ
Красногубый вурдалакъ.
Горе! малый я не сильный:
Съѣстъ упырь меня совсѣмъ,
Если самъ земли могильной
Я съ молитвою не съѣмъ.
Что же? вмѣсто вурдалака,
(Вы представьте Вани злость!)—
Въ темнотѣ предъ нимъ собака.
На могилѣ гложетъ кость.

35.

Женихъ.

Три дня купеческая дочь
Наташа пропадала,
Она на дворъ на третью ночь
Безъ памяти вбѣжала.

---

[1]) Вурдалакъ,—упырь или вампиръ, простонародное фантастическое существо:—мертвецъ будто бы высасывающій кровь у спящихъ.

Съ вопросами отецъ и мать
Къ Наташѣ стали приступать.
Наташа ихъ не слышитъ,
Дрожитъ и еле дишитъ.
Тужила мать, тужилъ отецъ,
И долго приступали,
И отступились наконецъ,
А тайны не узнали.
Наташа стала какъ была,
Опять румяна, весела,
Опять пошла съ сестрами
Сидѣть за воротами.
Разъ у тесовыхъ у воротъ
Съ подружками своими
Сидѣла дѣвица—и вотъ
Промчалась передъ ними
Лихая тройка съ молодцомъ,
Конями, крытыми ковромъ;
Въ саняхъ онъ стоя правитъ
И гонитъ всѣхъ, и давитъ.
Онъ, поровнявшись, поглядѣлъ,
Наташа поглядѣла;
Онъ вихремъ мимо пролетѣлъ,
Наташа помертвѣла.
Стремглавъ домой она бѣжитъ:
—„Онъ! онъ! узнала!—говоритъ:—
Онъ, точно онъ! держите,
Друзья мои, спасите!“
Печально слушаетъ семья,
Качая головою;
Отецъ ей: —„Милая моя,
Откройся предо мною,
Обидѣлъ кто тебя, скажи,
Хоть только слѣдъ намъ укажи“.
Наташа плачетъ снова,
И болѣе ни слова.
Наутро сваха къ нимъ на дворъ
Нежданная приходитъ,

Наташу хвалитъ, разговоръ
Съ отцомъ ея заводитъ:
—„У васъ товаръ, у насъ купецъ;
Собою парень молодецъ,
И статный, и проворный,
Не вздорный, незазорный.
Богатъ, уменъ, ни передъ кѣмъ
Не кланяется въ поясъ,
А, какъ бояринъ, между тѣмъ
Живетъ, не безпокоясь;
А подаритъ невѣстѣ вдругъ
И лисью шубу, и жемчугъ,
И перстни золотые,
И платья парчевыя.
Катаясь, видѣлъ онъ вчера
Ее за воротами;
Не по рукамъ ли, да съ двора,
Да въ церковь съ образами!“
Она сидитъ за пирогомъ,
Да рѣчь ведетъ обинякомъ;
А бѣдная невѣста
Себѣ не видитъ мѣста.
—„Согласенъ, говоритъ отецъ:
Ступай благополучно;
Моя Наташа, подъ вѣнецъ—
Одной въ свѣтелкѣ скучно.
Не вѣкъ дѣвицей вѣковать,
Не все касаткѣ распѣвать:
Пора гнѣздо устроить,
Чтобъ дѣтушекъ покоить“.
Наташа къ стѣнкѣ уперлась
И слово молвить хочетъ—
Вдругъ зарыдала, затряслась,
И плачетъ, и хохочетъ.
Въ смятеньи сваха къ ней бѣжитъ,
Водой студеною поитъ
И льетъ остатокъ чаши
На голову Наташи.

Крушится, охаетъ семья.
Опомнилась Наташа
И говоритъ:—„Послушна я,
Святая воля ваша.
Зовите жениха на пиръ,
Пеките хлѣбы на весь міръ,
На славу медъ варите,
Да судъ на пиръ зовите“.
—„Изволь, Наташа, ангелъ мой!
Готовъ тебѣ въ забаву
И жизнь отдать!“—И пиръ горой;
Пекутъ, варятъ на славу.
Вотъ гости честные нашли;
За столъ невѣсту повели;
Поютъ подружки, плачутъ;
А вотъ и сани скачутъ.
Вотъ и женихъ—и всѣ за столъ.
Звенятъ, гремятъ стаканы;
Заздравный ковшъ кругомъ пошелъ;
Все шумно, гости пьяны.
Женихъ.—А что же, милые друзья,
Невѣста красная моя
Не пьетъ, не ѣстъ, не служитъ?
О чемъ невѣста тужитъ?
Невѣста жениху въ отвѣтъ:
—„Откроюсь наудачу.
Душѣ моей покоя нѣтъ,
И день, и ночь я плачу:
Недобрый сонъ меня крушитъ“.
Отецъ ей:—„Что-жъ твой сонъ гласитъ?
Скажи намъ, что такое,
Дитя мое родное?“
—„Мнѣ снилось, говоритъ она:
Зашла я въ лѣсъ дремучій,
И было поздно; чуть луна
Свѣтила изъ-за тучи;
Съ тропинки сбилась я: въ глуши
Не слышно было ни души,

И сосны лишь да ели
Вершинами шумѣли.
И вдругъ, какъ будто наяву,
Изба передо мною.
Я къ ней; стучу—молчатъ; зову—
Отвѣта нѣтъ; съ мольбою
Дверь отворила я. Вхожу—
Въ избѣ свѣча горитъ; гляжу—
Вездѣ сребро, да злато,
Все свѣтло и богато".

Женихъ.—А чѣмъ же худъ, скажи твой сонъ?
Знать, жить тебѣ богато.

Невѣста.—Постой, сударь, не конченъ онъ.
На серебро, на злато,
На сукна, коврики, парчу,
На новгородскую камчу
Я молча любовалась
И диву дивовалась.
Вдругъ слышу крикъ и конскій топъ.
Подъѣхали къ крылечку.
Я поскорѣе дверью хлопъ,
И спряталась за печку.
Вотъ слышу много голосовъ...
Взошли двѣнадцать молодцовъ
И съ ними голубица,
Красавица-дѣвица.
Взошли толпой, не поклонясь,
Иконъ не замѣчая;
За столъ садятся, не молясь
И шапокъ не снимая.
На первомъ мѣстѣ—братъ большой,
По праву руку—братъ меньшой,
По лѣву—голубица,
Красавица-дѣвица.
Крикъ, хохотъ, пѣсни, шумъ и звонъ,
Разгульное похмелье..."

Женихъ.—А чѣмъ же худъ, скажи твой сонъ?
Вѣщаетъ онъ веселье.

Невѣста.—Постой, сударь, не конченъ онъ.
Идетъ похмелье, громъ и звонъ,
Пиръ весело бушуетъ,
Лишь дѣвица горюетъ:
Сидитъ, молчитъ, не ѣстъ, не пьетъ,
И токомъ слезы точитъ,
А старшій братъ свой ножъ беретъ,
Присвистывая точитъ;
Глядитъ на дѣвицу-красу
И вдругъ хватаетъ за косу:
Злодѣй дѣвицу губитъ,
Ей праву руку рубитъ.
—„Ну, это,—говоритъ женихъ,—
Прямая небылица!
Но не тужи, твой сонъ не лихъ,
Повѣрь, душа дѣвица“.
Она глядитъ ему въ лицо.
—„А это съ чьей руки кольцо?“—
Вдругъ молвила невѣста,—
И всѣ привстали съ мѣста.
Кольцо катится и звенитъ,
Женихъ дрожитъ, блѣднѣя;
Смутились гости—судъ гласитъ:
„Держи, вязать злодѣя!“
Злодѣй окованъ, обличенъ,
И скоро смертію казненъ.
Прославилась Наташа!
И вся тутъ пѣсня наша.

36.

Конь.

Что ты ржешь, мой конь ретивый,
Что ты шею опустилъ,
Не потряхиваешь гривой,
Не грызешь своихъ удилъ?

Али я тебя не холю?
Али ѣшь овса не въ волю?
Али сбруя не красна?
Аль поводья не шелковы,
Не серебряны подковы,
Не злачены стремена?
Отвѣчаетъ конь печальный:
„Оттого я присмирѣлъ,
Что я слышу топотъ дальный,
Трубный звукъ и пѣнье стрѣлъ;
Оттого я ржу, что въ полѣ
Ужъ недолго мнѣ гулять,
Проживать въ красѣ и въ холѣ,
Свѣтлой сбруей щеголять;
Что ужъ скоро врагъ суровый
Сбрую всю мою возьметъ,
И серебряны подковы
Съ легкихъ ногъ моихъ сдеретъ.
Оттого мой духъ и ноетъ,
Что намѣсто чапрака,
Кожей онъ твоей покроетъ
Мнѣ вспотѣвшіе бока“...

37.

Пророкъ.

Духовной жаждою томимъ,
Въ пустынѣ мрачной я влачился,
И шестикрылый Серафимъ
На перепутьѣ мнѣ явился;
Перстами, легкими какъ сонъ,
Моихъ зѣницъ коснулся онъ:
Отверзлись вѣщія зѣницы,
Какъ у испуганной орлицы.
Моихъ ушей коснулся онъ,
И ихъ наполнилъ шумъ и звонъ:

И внялъ я неба содроганье,
И горній ангеловъ полетъ,
И гадъ морскихъ подводный ходъ,
И дольней лозы прозябанье.
И онъ къ устамъ моимъ приникъ,
И вырвалъ грѣшный мой языкъ,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змѣи
Въ уста замерзшія мои
Вложилъ десницею кровавой.
И онъ мнѣ грудь разсѣкъ мечемъ,
И сердце трепетное вынулъ,
И угль, пылающій огнемъ,
Во грудь отверстую водвинулъ.
Какъ трупъ, въ пустынѣ я лежалъ,
И Бога гласъ ко мнѣ воззвалъ:
„Возстань, пророкъ, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголомъ жги сердца людей!“

38.

Памятникъ.

Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный;
Къ нему не заростетъ народная тропа;
Вознесся выше онъ главою непокорной
Наполеонова столпа [1]).
Нѣтъ! весь я не умру! Душа въ завѣтной лирѣ
Мой прахъ переживетъ и тлѣнья убѣжитъ—
И славенъ буду я, доколь въ подлунномъ мірѣ
Живъ будетъ хоть одинъ піитъ [2]).

---

[1]) Наполеоновымъ столпомъ называется здѣсь большая Вандомская колонна, поставленная въ 1805 году въ Парижѣ Наполеономъ I въ честь его побѣдъ и вылитая изъ 425 пушекъ, отнятыхъ отъ непріятеля.

[2]) Піитъ—поэтъ.

Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой,
И назоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ:
И гордый внукъ славянъ, и финнъ, и нынѣ дикій
Тунгузъ, и другъ степей калмыкъ.
И долго буду тѣмъ народу я любезенъ,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ,
И милость къ падшимъ призывалъ.
Велѣнью Божію, о Муза! будь послушна:
Обиды не страшась, не требуя вѣнца,
Хвалу и клевету пріемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

MAR 1943